

Анатолий Санжаровский
Поленька
Роман

18+

Анатолий Никифорович Санжаровский Поленька

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68974206

SelfPub; 2023

Аннотация

«Поленька» – первый роман Анатолия Санжаровского из трилогии «Мёртвым друзья не нужны», в которой рассказывается о полувеквой истории раскулаченной крестьянской семьи.

Содержание

1	4
2	20
3	37
4	54
5	76
6	98
7	109
8	136
9	176
10	194
11	214
12	235
13	272
14	293
15	334
16	347
17	384
Примечания	427

Анатолий Санжаровский

Поленька

1

*Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется;
Разгорелся день
Огнем солнечным,
Подобрал туман
Вьше темя гор.¹*

Алексей Кольцов

В крайний день недели, в субботу 17 апреля 1926 года, Владимир Долгов проснулся ещё до зоревых часов, не в пример как рано, третьи петухи едва пробовали голосить. Тотчас по обычаю схватился на локоть, разготов был уже встать, но не встал, глаза задержались на жене. Она улыбалась во сне.

«Во кому житышко развэсэла малинка. Бач!..² Шо бабе хотелося, то и наснилося! Ит ты, як мало дитё цвэтэ-лыбить-

¹ Все стихотворные эпиграфы в романе «Поленька» принадлежат великому воронежцу, поэту Алексею Кольцову.

² **Бач** (украинское) – вишь (ты), ишь (ты), каково, поди, вот, смотри, эк метнул!

ся!...»

Эта улыбка немало подивила Владимира. Раньше он не знал этой лучезарной улыбки своей Сашони; Сашоня никогда так цветасто не улыбалась, разве что ещё, может, в давешнюю предвенечную сладкую пору, так с той поры сколько слилось снегов, сколько отцвело садов... Всё то далече отошло, позабылось совсем, и Володьша привык, просыпаясь всегда первым, видеть кроткое, тихое, какое-то страдальчески виноватое выражение на её сонном яблочно-круглявом лице. В этой виноватости Владимиру виделась и покорность, и благодарность ему, и принимал Владимир ту благодарность за должное, дёргал себя за вислый ус, довольно хмыкал, мол-де, за моей за спинушкой эо ты, красёха, просторно разбежалась в теле, раздобрела – не перескакнуть одним духом, и, неслышно, ладясь не разбудить Сашоню, вставал.

Владимир не увидел на угнетённом женином лице привычной виноватости, на зыбком свету видел он улыбку-цветок, и это не то что срезало его с толку – качнуло в замешательство, в обиду. При ней, говорил себе Володьша, ты, короткотелый обрубыш с петушачьей грудкой, ну слитый казачок на посылках как при той барыне, так и подумают, казачок, кто не знает, покажись только на чужие глаза, ткнись куда из хуторка из своего Собацкого,³ толь выскочи за по-

³ Много лет назад дикое местечко в логу, окружённое лесами, стали заселять беглые крестьяне. Свободной жизни в богатой воронежской степи мало дал им

рог Собацкого, и ты уже не Владимир Арсеньев Долгов, а казачок в красной свитке. (Владимир уважал красный цвет, у него с полдюжины красных рубах, три красных кепки.) Уничтожение возымело злую силу, и Владимиру, смотревшему на бессловесную в миру свою Павловну, казалось, принимают его за казачонка не только сторонние люди, но и она сама, преподобная, иначе на что б ей так ехидностно трунить-лыбиться? И застит ещё свет, ничего с-за этой горы не доходит от окна, лежишь у стены за ней, как в тёмном в колодеце! Покуда лежишь, вроде темно, ночь, а высунься за этот бугор – день!

Владимир приподнялся – окно и впрямь мутно белело.

– А-а! Шоб оно скисло манэсэнким! – распалённо проворчал Владимир. В спешке перескакивая через жену, задел её ногою и ковырнулся на пол.

– Ит ты, махра сыра! Выставила свою ярманку! Шоб тебя в раны разбило!

– Не горюйте, тату, жива кость обрастае... Тату, ну чого ото Вы схватились и буркочете в таку раницу? Черти с угла щэ не лазили та не билися нав кулачки... Пол новисинький, ту весну перестилали, а Вы – зволь радоваться! – головой... Пробьётé...

– Этой голове да чугунную шею, ей ба износу... избою не

Господь. Первым о вольных поселенцах пронюхал пан Собацкий и поджал их под свой ноготь. За строгий, злой нрав крестьяне звали его за глаза Собакой. Имя пана Собацкого и прикипело к хуторку.

было... Радуйсе, козье племя, крепкой голове!

– Радуйтесь и Вы, шо жинка у Вас... Сами ж похвалялись, помы вокруг мене обийдэшъ – калач съешь, така стала я ото вся справна...

– Справная!.. Ни рыба ни мясо и в раки не годисся! – вщё-пот подкрикнул Володыша.

Одевшись, он вышел во двор, вышел не как-нибудь, скребсь, почёсываясь, зевая; не-е, так не выходит из дому работник, так выходит байбак, приживала, шалопут, наперёд которого сама лень родилась; такой спозаранку от подушки не оторвётся, а если и оторвётся, да и то тогда, как малая нужда в насмешку погонит на минуту за ригу иль в лозинки цыгану долг отдать; сбежать он сбегает и бух дозорёвывать; такой совсем не встанет разом с ветром, а встанет в одночасье с ребятнёй, закурит ещё в постели, будет с пол-утра всласть дымить, утолкав под себя на татарский лад босые ноги; век будет потом одеваться и совсем нехотя, будто делает человечеству развеликое одолжение; посмотрите, как он выходит: идёт едва не спотыкаясь, прикрывая обеими руками зевающий рот; не-е, такой в утро не работник, он ещё весь там, под тёплым одеялом, под боком у разомлелой бабы, весь там, а тут его одна тень, а какой из тени хозяин, домовит наконец? Оттого у такого в поле урожай на сурепку, и двор если когда и ломится, так только от шально-богатого снега, и сам дом у него крив, на подпругах, и в самом доме катни шаром, на мёртвую мышь разве и наткнёшься, не нашла и малой мало-

сти на разживу... Такой до обеда еле раскачается, а там уже снова клонит в тепло, в разомлелость...

Но вы посмотрите, вы только посмотрите, как поутру выходит первый раз из дому Владимир! Это стоит того, это может как-то почувствовать хозяйскую силу этого маленького человечка, на чьих плечах весь дом стоит, даст силу воображению уяснить, какой великий порядок держится и в голове и в душе этого человечка, подаст ключик к пониманию достатка в его доме...

Каков зачин, такова и песня.

Почин дня у Владимира своеобразный, панасковский (его зовут по-уличному Панасок): выходит он за порог сановито, с сознанием святости момента, выходит как великий воин к своему войску, которое уже готово к делу; поверх всего выходит и с той быстротой и радостью во всей фигуре, в лице, в походке, с какой покидает темницу не по делам, а по злому навету попавший в неё человек: срок вот сошёл, темница уже за спиной, и он, содрав с головы шапку перед этим новым днём, перед этим небом в барашках, сулящим утро доброе, раскидывает руки до хруста в плечах.

С непокрытой головой, с малахаем в руке Володыша входит перво-наперво в денник.

– Ну, шо тут наш Панасок? – спрашивает глянецвито-седого жеребца в чёрных шикозных носочках. – Драстуйте Вам!

С лёгким ржанием жеребец поворачивает на голос голо-

ву, Владимир прислоняет её в ласке себе к груди, сатиновой подкладкой малахая вытирает жеребцу низ глаз.

– Вот и мы умылись... Спрашуешь, а где наш завтрак? Вот наш завтрак... Поспел наш завтрак...

Владимир достаёт из ублещённой в работе стёганки горсть тёплого – ватник висел на печке – овса, припасённого ещё с вечера, и не без восторга наблюдает, как зерно старательно подбирается толстыми радостными губами.

Склочные сухие голоса грачей скрипят в лозняке за хатой. Не переставая есть, конь наставляет самолетиком уши на грачиный брѣх, как бы вслушиваясь, про что это там грачи судачат, и Владимиру думается про весну, про то, что вот через неделю какую и в поле, про то, как тяжело будет им обоим, и Панаску, и самому Волику, и надо, разнепрременно надо молодцом управиться с севом...

Володыша приносит жеребцу овса в ведре, воды.

Усмехается:

– Накорми коня, он и видок подаст...

Сделав одно, он без внешней спешки, обстоятельно наваливается на другое, ладит грабли, уталкивает сани в глубь двора, под навес, берётся насаживать колѣсный обруч...

И мелькает юркая фигурка то в одном конце двора, то в другом.

Малахай у Владимира на самом затылке. Жарко! Наконец малахай ему кажется вовсе ни к чему, и он вжимает его под соломенную стреху амбара на удивленье воробьям.

Ростом Володьша не взял по той простой причине, как он сам пояснял с присмешкой, мало на меня дождя шло, того и присох на корню. При встрече незнакомые глядят ему вслед, дивятся, как он мал. Дивится и сам Волька. В лице, в тонких его чертах, особенно в глазах – восхищение, удивление такое, что его и скрыть не скроешь, как ни пожелай. На что бы он ни смотрел, он воспринимал всё весьма значительным, порядочным, таким, чему не подивиться просто нельзя. Серые маленькие удивлённые глаза посажены так глубоко, что целиком их и не видать из-под нависших кустов тёмных бровей; нередко детское удивление сменяется в них испугом и тогда кажется, что глаза очень сторожко выжидают под космами метёлок, когда же отшумит гроза, вогнавшая их так далеко.

Владимир не бреется. Окладистая борода весьма кстати зимой утепляет лицо, делает его несколько старше его сорока двух лет.

Но, пожалуй, самое занятное в Володьше его походка. Ходит он так, что сразу и не поймёшь, то ли он собирается бежать, уже срывается на бег, то ли он уже бежит-идёт. Голова, верх корпуса всегда сильно наклонены вперёд, как у бегуна; ноги, обутые в кирзовые сапоги, в которые заправлены домотканые штаны, как будто отстают, где-то сзади, отчего чудится, не пойдя он быстрее, вприбег – упадёт лицом. Со стороны его походка похожа на ту, из детства, когда, набрав по жадности полное, с пупком, ведро воды, пытаешься нести

его впереди себя, и тогда не понять, то ли ты его несёшь, то ли оно тебя тащит, и ты летишь боком за ним, боясь от него отстать, боясь упасть.

Если слегка поцарапать голову, подумать, отчасти можно уяснить торопливую походку Владимира. Тяжела шапка у отца семейства, в котором помимо жены, семнадцатилетней дочки Пелагии, сынов Петра десяти лет и Егорки, минул вот на Сретенье второй годочек, развязал третий, ещё с полк неспособных уже к хлебному делу стариков: 95-летний дед Кузьма, его сын Арсений, Владимиров отец, мать Владимира Оксана, её брат, больной дядька Арсюха, тёзка Владимирову отцу. Эко ноев ковчег! За них на том свете уже давно хороший получают пенсион, но кормить всех надо ещё на этом; да всякого накорми, напои, а дела не спроси. Куда ж там спросишь, раз он стар, раздавлен долгими трудами, долгими годами, а не стар, так мал, там и вовсе со спросом проезжай мимо. Как тут не забегаешь, как тут проспишь зарю? И как тут первым не выскочишь поутру из дома?.. Того-то Волику часов и не нужно, сам проспит, так зорька поднимет.

Мало-помалу утро разгорается.

Насаживая обруч на тележное колесо, Владимир вошёл в пот. Облокотился на тележную грядку из вяза, рукавом собирает пот со лба и ясно улыбается из-под ладошки жене. Степенно переваливаясь с ноги на ногу, как хорошая гуска, круглявая Сашоня медленно шествует с подойником к корове, нарочито не видя в упор своего Володяшу... С кизяком,

с ботвиньем на топку прожгла Поля.

Владимиру не стоитя у телеги в молодое, в погожее утро, и он, то ли жмурясь от первых золотых лучей, то ли улыбаясь им, идёт посмотреть на своих *пансионеров*. Всех неработающих мужиков, – и ребят своих, и стариков – навеличивал он *пансионерами*, намекая в пошутилку, мол, живёте, как панове, и отвёл им одну дальнюю глухую комнату *пансион*. В дом заходить не хочется, он семенит к неплотно занавешенному окну и видит в глазок Петра с Егоркой на одной кровати. Ручонки разбросали как не свои, у Егорки ножка свесилась... Старчики – сами с ноготок, а белые бороды с локоток – лежат по-одному, лица, как у святых с икон.

Сравнение легло Володыше к душе; к глазам живо поднесло вчерашнюю картинку, и он тихо рассмеялся, боясь побудить кого из *панов*, пускай те и спали крепко, хоть огня подложи.

А свертелось вот что.

Дед Кузьма с сыном Арсюхой, Владимировым отцом, сели на приступках погреться. Кузьма, давешний мастак по черевикам, взялся вроде того и поработать на первом после долгой зимы тёплом солнушке, стал шить да, на беду, в дрёме вальнулся со ступеньки. Арсюха, вместо с выговаривавший *т*, вскричал в сердцах на своего отца:

– Тато! Татана! Та куда ж ты падаешь?! Не бачишь – близко край!

Кузьме не с руки было сознаваться при правнуках, что-

де во какой дряхлый, сам с приступок хмельным мешком валится, он и съябедничай, навороти на своего же семидесятилетнего сынаша:

– Не-е... Сам я не мог... Комусь будэ грех от Бога и стыдно от людэй... Не мог я сам своим путём кувыркнуться... Якась чортяка штовхнула...

– Яка ж, тато?

– А яка спрашуе...

– На шо ж Вы на мене брехню кладете?.. Та за цэ, тато, малых быють! А Вы... За мое жито та мене ж и бито... Я не подывлють, шо Вы мени батько. Я там двичи батько!.. У мене борода довше Вашои!

– Ой, Арсюха... Арсюха... Дуб ты, дуб, та щэ зэлэнэнький... Розум у тебе чистэсэнъкий, як стекло... Найшов чем хвалытысь! Да у козла тэж е борода!

Это был предел дерзости, и каждый почёл своим долгом смертно постоять за себя, тем более уже никто из посторонних поблизости не топтался. Вдвое согнутые неподъёмной ношей долгих лет стареники слепились, но силёнок у них только на то и сподобилось, что схватиться друг за дружку. В дрожи обнявшись и зыбко упёршись друг в дружку, ни тот, ни другой больше не выказывал никаких злодейских поползновений; со стороны глядя, можно было подумать (так так оно и было), что они с копылков сбились, выдохлись от минутной возни и теперь просто отдыхают, копят дух для мамаева побоища. Неизвестно, как бы всё оно и сварилось, не

появись на ту минуту Владимир.

– Эгэй! – крикнул Владимир. – Казаки! Вы чего мне песок по двору рассыпаете? Достукаетесь... Вы у меня впознаете, почём ковшик лиха!

Разом оттолкнувшись друг от друга, воители разом и посмотрели себе под ноги и лишь тогда догадались, на что это намекал Волька.

– Схватись петушаки-голяки Петро с Егошкой, я б живо-два расклеил, толь ремешком ш-ш-шелкани. А тут люди на возрасте... можно сказать, на краю лет...

– Полуветер!⁴ А шоб тебя намочило да не высушило, в прах расшиби! – с обиды пальнул Арсюхе дед Кузьма и пошёл лёг, лёг с самого полдника.

Вечером они всегда ели пшённую кашу с молоком из одной из обливной миски. На этот раз Кузьма лежал носом к стенке, без сна сопел, будто воз сена вёз, вполуха слушал Арсюхины молитвы встать поужинать, но так и не встал. Арсюха ел против обычного плохо, вполаппетита, зато вывершил миску каши Кузьме и, отходя ко сну, поставил её на тумбочку у изголовья отца.

– Ничё, душа не балабайка, пить-етть протить... Прокинетья на голоде, щэ тпатибошко ткаже плохому Артютке.

А подъехал-таки хитруша Арсюха летом на санях!

Заглядывая теперь в окно, Владимир с улыбкой отмечает – миска пуста, а раскрашенная деревянная ложка так и

⁴ **Полуветер** – молодой легкомысленный человек.

осталась в руке у деда Кузьмы, забыл положить после дела, так и спит с нею, держа её поверх одеяла на груди...

Утро ещё раннее; наворочено довольно; чувствует Владимир, что на роздых вполне заработал, и он садится на широкую неструганую лавку под старой разлапой грушей, в бережи достаёт из красного кисета на пояске тяжёлую чёрную, как голенище, от дыма, от времени люльку, втыкает в уголок рта.

Владимир сроду не курил и не курит, но вы бы посмотрели, как с важностью завязанного казацкого атамана первой руки он посасывает сейчас эту трубку без табака, без дыма, без огня! Всё счастье Владимира не в дыме, а вовсе в другом, в том, что эта трубка случилась именно в его руках...

О, если бы вы знали, как много может рассказать эта трубка, родившаяся под ножом где-нибудь на Днепре... Никто не скажет, сколько ей лет. На худой конец могут наперёд заверить, что ей, как и казацкому роду, нет переводу. Владимиру на его свадьбе эту трубку преподнёс отец. Было у него пятеро сыновей, а вот выбрал Вольку и преподнёс этот знак запорожской казацкой вольницы. Отцу трубка досталась от деда, деду от прадеда и так она в роду шла-кочевала из поколения в поколение.

Память...

По истории, в глухую старину на Воронежье жили «неразумные хазары», печенег, половцы, татары. Уже потом, позже пришли великорусы с зимней, полночной, – с северной

стороны. Алексей Михайлович и Пётр Алексеевич выселяли сюда мастеровых, стрельцов, военный и работный люд, боярских детей, не пожелавших служить.

Правились сюда переселенцы и с утренней, где восходит солнце, с восточной стороны, и с вечерней, где оно заходит, – с западной, и с летней, полуденной – с южной.

Море понабилось черкасов (так в былые времена здесь зывали украинцев) после слома в 1775 году Запорожской Сечи и украинского самостоятельного казачества. Сплошь всю Украину подвели, поджали под одну струну, пригнетая ещё вчера независимых, вольных казаков – казак из пригоршни напьётся, на ладони пообедает! – к оседлой тоске хлебопашца да внабавок к тому ж в краю, где земли кругом нехват, и вешними шалыми потоками схлынул и на воронежские благодати весь клокочущий, безземельный люд, и «опрятные, чисто снаружи выбеленные мелким мучнистым мелом хаты с голубыми, жёлтыми, серыми, зелёными и реже красными каймами вокруг дверей и окон, не отступающие ни на ноготь от линии-плана узкой, тесной, но всегда чистой и ровной улицы вовнутрь, в глубь двора, что, к слову, у черкасов за обычай, эти белее снега хаты медлительных, сострадательных к беде ближнего, доверчивых поселян плотно усеяли попервости берега рек, лога, а там и подмяли, забелили собой – с неба сёла виделись застывшими белыми мазками иль разбросанными в спехе белыми казацкими саблями, – заняли – черкасу дай простор, в чистом поле ему теснота: один кашу

варит, да и ту прольёт, доставая огня на люльку и опрокинув котелок на треножнике, – заняли, если смотреть по карте, весь низ Воронежья едва ли не до самой середины, места с богатой землёй, места тёплые. Этот раностав на морозе не жилек и подавней того не работник. Он никогда долго не думает и решительно не любит вечеровать, сидеть по ночам при деле. Единственное, до чего черкас большой охотник, так это малярничать. Хлебом его не корми, дай только краски да кисть, вот где ключ к опрятности и живописности его жилища».

И любил черкас чумаковать.

Умей Владимирова люлька говорить, какую бездну занятого и жуткого поведала б она о своих хозяевах, чумаках-скитальцах, которые обозом в сотню воловьих фур да при выборном обозном атамане смело хаживали в дальние дальности, одолевая в сутки по двадцать пять вёрст. Сам Волька ещё в парубках ходил с обозом и в Царицын за рыбой, и в Бахмут за солью, а уж про Воронеж да про Елец, куда возили пшеницу на ссыпки, лучше помолчать. Очень часто, чаще, чем в церковь ходили.

Случалось, с дороги чумаки, весь в дёгте, весь в смоле, возвращался не при барыше, а в полном накладе, да при молодой жене.

Смешанные браки благоприятствовали обрусению; и что ещё само спешит-просится в строку – мужики первые приклонялись к русскому и корень того был в долгих дорогах.

Как-то уже так оно само выплясывалось, что, вернувшись домой, чумак и не замечал, что прилипшие в скитаниях чужие глянувшиеся слова лезли на язык, толклись на языке и дома.

Зато баба... На миру, на выездах, она никогда не бывала, дальше поля своего не выскакивала. Пришлому слову она не торопилась кланяться. На ней держался дом, на ней держался и язык дома.

Однако тот давний запорожский казак, точнее, его потомок ощутимо подрусел на Воронежье, но при всём притом в языке его что-то да и зацепилось, уцелело, выжило такое, что всё-таки напоминает пускай и отдаленно украинскую речь.

Заговори сегодня воронежский степняк с чистокровным запорожцем – вряд ли поймут в доподлинности друг друга с первых глаз, а вот крючковатые слова, живописно перекрученные судьбой вдали от днепровской сини, непременно расколдуют союзом, уяснят себе в тот же час; зато манера слушать, лучезарно светясь и сияя и загодя в искренности радуясь каждому звуку, каждому жесту рассказчика, зато манера говорить, говорить пленительно-певуче, доверительно-мягко, говорить светло-доброжелательно – Боже праведный, да всё это духом сполна выкажет родство, хоть и разделённое пропастью веков.

Мне почему-то кажется, всяк говорящий на украинском не горазд на злое, настолько младенчески чист этот язык. Холодный ум скажет – вздор, я перемолчу, я ничего не отвечу, но в мыслях я ещё с бóльшим убеждением встану на сторону

своих слов, а отчего – я и себе не объясню.

Я лишь прошепчу вслед за поэтом:⁵

«Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что всё на свете – только песня
На украинском языке».

Всё в мире тлен, бессмертен лишь язык. Богатеет, разжигается он новыми словами и в то же время постепенно лишается чего-то устарелого, отжилого, но никогда не умирает, как не умирает сам народ.

– Тату! А я никак тебя не побачу по-за дымом. Думала, горишь. А цэ ты так куришь...

Владимир обернулся на шутливый голос; тяжело, кошёлкой, шла от дома жена; тихая, затаённая улыбка конфузливо плыла по её праведно-покорному полному лицу.

– Бросай-но окуривать грушу. Иди-но завтракать. Пора подвеселить зубки... Завтрик уже поспел.

Владимир нехотя прячет люльку в расшитый кисет.

⁵ Леонид Киселёв (1946 – 1968).

2

*Для чего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?*

Запоздавший Егорка небрежно молился в плутоватой спешке.

– Что мотаешь рукой, как цепом! – подструнил его Владимир и с поклоном поздоровался со стариками, уже сидели за столом: – Здорово себе ночевали.

Старики степенно в ответ закивали.

Все они ждали его одного, без хозяина никто не смел начать против обычая. Но вот хозяин занял свое место за столом, заждавшимся ложкам дана воля. Как заведено, каждый молча, обстоятельно черпает непременно полную ложку, будто взаймы.

Поев, старики так же без слов выходят друг за дружкой из-за стола с той стороны, с какой и заходили, это чтоб беседу не ломать, идут оттаивать свои косточки на солнышке, уже тёплом с самой рани.

Кузьма предусмотрительно угнезвился на низкой приступочке у самой у земли – вознесла даве нелёгкая на верхоту-

рину, будь она неладна, поплатили своими боками. А потому нынче мы умней противу вчера, при падении дурость первая расшибается и идёт из головы впрах, поумнели мы, стал быть, вот так, говорит весь торжествующий вид деда.

– Тато, – с нарочитой унылостью подтирается Арсюха, – як надумаете падать, так ткажить мени, я толочки ридному татови кину. А не утпеете крикнуть, так хватайтеть за мэнэ. А то вжэ за атмосферу не вдержитэтэ – ре-едкий таки в нат воздух, не то шо каша т дымком, – сетует Арсюха, садясь-таки плечо в плечо с отцом и подымая с земли клок сухого хрусткого сена, упал с навильника утром, когда проносил Володыша от стога к яслям.

– Торохтишь, як лопух... Який же ты, хлопче, таранта... Пустый тарантас! Наторохтишь – на трёх фурах не вывезешь. Ты у мене ще засмиешься на кутний зуб!⁶ – беззлобно грозит Кузьма насмешнику и толкает того локтем в бок. – Ой, засмиешься!..

Старики весело захохотали, точно ссора и не ночевала.

А солнце между тем подпекало; жарко уже; старики снимают овчинные шапки, расстегивают на верхние петельки тулупы и даже ворота полотняных толстовок; наконец жара окончательно подломила; упрели, устали они от неподвижного сиденья.

– За плечьми як ангелы сидять, – говорит Кузьма. – Пишлы по двору поспотыкаемось...

⁶ Засмеяться на кутний (коренной, жерновой) зуб – заплакать.

– А чего ж не пойтить, – соглашается Арсюха.

Оставив на порошках шапки, тулупы, они утягиваются размять ноги в безмолвном, в грустном путешествии по двору.

Манит стариков наотмашь распахнутая амбарная дверь, не сговариваясь, медленно подскребаются к ней, приставляют сухие ладошки козырьками к глазам – с улицы, с солнца, с такой яркости сразу и не разберёшь, кто там хлопочет в амбарном сумраке; но через минуту какую глаза свыкаются с темнотой и совсем ясно видят, как Волик пересыпает ковшом семенную гирьку (сорт пшеницы) из сусеки в мешок, и Петро, мелконький, вёрткий, жилистый – вот отлиток отца! – помогает бате широко держать мешок.

– Ну шо, Петро, колы будэ тепло? – с подвохом щурится дед Арсюха. – Колы нам можно будэ везти кожухи на ярманку? А?

Петро хмурится, поджимает губы; с обиды начинает сопеть.

– Чего топишь? Иля много знашь?... Шо за музыка – обижатьтя... Ну-ну, молчу... Работай! Може, – тердце мое чуе, туттавы мои говорят, – може, и заработаешь на воду к хлебу иля на шнурочек от бублика...

Кузьма метнул колкий быстрый взгляд на Арсения, собиравшего хиловатые смешинки в жидкий кулачок.

– Арсюха, шоб ты лихоманка затрепала!.. Хотешко и довго живёшь... Як стара халява заваялась под лавкой... А умок

дитячий... Знову ругаться, делить с тобой шутовы яблоки, не рука. Но я напрямую искажу: попридержи язычок на привязи. Дурна ото привычка подкусывать малого! Кабы ты не боялся смерти, надвое б разорвался, только дай помудровать над кем другим... Той же Петуша! Вин робитнык, не то шо мы... Напару поотпускали били борода до самого до греха и рады!!.. Можем щэ свить кнут та собак дражнить, а на соль к селёдке уже и не заробымо. Куда нам до Петра!? Петру за добру роботу батько нови штаны справил. Молодец, Володик, гарна обновка!

– Да какая там обновка, – отзывается Владимир, сдувая в мешок вслед за льющимся из ковша зерном тяжёлые ядрышки пота. – В обед сто лет! Как бы там у него монастырь уже не прогорел.⁷

– Наскажешь! – возражает дед Кузьма. – Ну да, обновочка... Сзади, на подушечках, и не блещать. Як ненадёваны!.. Не думают и протираться.

– Того и не думают... – куражливо пускается Володыша в пояснения. – Наверши мне Петруха чего непотребного, я аккуратненько штанчата сдери да и по голому делу разогрею ремешок... Так оно экономней, правда, Петро? И дело варится, и штаники повсегдатошно новёхоньки!

Петро теряется. Ну зачем отец заради ловкого словца высыпает перед дедами кучу неправды?

Мальчик не знает, что сказать, и зачем-то ещё ниже уги-

⁷ Монастырь прогорел – брюки протёрлись.

нает голову; и без того мелкорослый, как бы сказал дед Кузьма, раку по плечишки, он, Петро, становится ещё мельче, сутулее, как-то виноватее, что ли; и далёкие детские голоса игравших в лапту одногодков где-то на самом на отлете Криничного яра заглушаются учащённым стуком маленького хлопотливого сердечка.

– Ну что, горит душа поточить копытца на выгоне? – участливо спрашивает Владимир сына, качнув головой в сторону ребячьих голосов.

Мальчик придавленно молчит, краснеет.

– Ну, бежи, бежи. На сёгодня будэ.

Мальчика как радостным ветром уносит.

В шесть рук завязав полный чувал с зерном, мужики усаживаются на лавке у амбара; сам собой настёгивается раздумчивый разговор о весне, о севе, о погоде, о будущем урожае, и за всеми словами, за вздохами одна мольба-слезница: уроди, Боже, дай-подай хлеба: солома в оглоблю, колос в дугу, зерно в набалдашник. Ах, их бы речи да Богу в уши!

– Не допутти Готподь и в это лето накажет урожай... Вот где запоём матушку репку...

– А может, – перебивает Владимир отца, – и то снова крутнуться... С Богом не подерёшься... Давешнее лето беда... Ни тучки, ни дождинки... Пылука по полю танцевала под ветром, как за дурным колесом. Уродило – Вам ли слушать? – колос от колоса не слышать и голоса... У нас того нынче и семеннику нехват. Где б его да у кого разжиться, обменять

там на что иль занять до новины с возвратом?

– Как у кого, – очнулся было задремавший дед Кузьма, сквозь кисею легкой дрёмы слышавший, о чём это так достоверительно толковали сын с внуком. – Как у кого... А забудь... На Спас гостювала у нас новокриушанская тётка Олена, так казалась-хвалилась, у них, Бог миловал, дожжи способные перепадали, так что с хлебом они. Даже говорила, гирька местами удалась крупная, як той горох.

– Ит ты! Так чего ж, ляпалки, дело бобами кормить! – ожил Владимир. – В непременно, дедове, сей же мент треба засылать послов к Олене!.. Мать, а мать! – окликнул он Сашоню, наливала из деревянной кружки воду в сковородку для кур; те тут же смело окружили её плотным белым шатающимся кольцом, занялись пить, с вельможной важностью поднимая головы, как бы распробывая воду на вкус, и тут же стремительно опуская клювы к сковороде. – Где у нас Полька?

– Полька? У криницы⁸ холсты полоще. Сбегать позвать?

– Сам схожу.

За долгое потное утро Владимир весь изломался в этой бесконечной беличьей круговерти по двору: тут подтяни,

⁸ Криницей в хуторе называли чёрный колодец. Он так глубок, что, глядя в него сверху, вода всегда виделась чёрной. Его питал могучий родник, который, дай ему только волю, мог залить весь хутор, как считали когда-то. Вот почему его подзабил один купец шерстью, а потом землёй. Имени купца никто не помнит, зато криница до сих пор жива. (*Примечание автора.*)

там вон подбей, там переложи, а там, а там, а там... Батеньки, да нешто у Володьши тыща рук, не какая же он не индусская танцующая Шива, он всего-то и есть что Волик Долгов, всё то и богатства у него, что две руки православные, и всё ж доволен, что не ляпал спозаранок в две сонные руки – сработал, и то, может быть, вдесятеро против себя, сработал влад, дорого теперь глянуть с улицы посверх плетня, утыканного банками, на двор свой, крепкий, хозяйский, в холе.

Ему подумалось, а не так уж и кисло тянет он свой воз, раз на хуторе старые мужики в зависти покачивают головами. Ай да молодец, Панасок! Ай да молодец, Волик!

Усталый Владимир вmale подобрался и ещё раз, уже с налётом не то удивления, не то сановитости, глянул с улицы на свой двор поверх низкого, вровень с Петром, плетня и невесть чему улыбнулся несмело, рассеянно. Улыбнулся своим делам? Эти дела были дитя его рук, его души; он видел, что дитя его не хуже чем у кого хошь сравни по соседям в Криничном яру, и стыдливая радость распустилась розой на его по-мальчишески веснушчатом лице, будто кто сегодня на заре сыпанул в лицо горсть веснушек, сыпанул кучкой, в одно место, веснушки не успели разбежаться от носа далеко, да теперь и не разбегутся: облило их утреннее солнце глазурью, теперь не смоят ни одна роса, не выест ни один пот, пускай и седьмой; ему сдавалось, небо сегодня не в пример выше вчерашнего; звенел птичьими голосами и весь лог Лозовой, приютивший два века назад первых выходцев из Но-

вой Криуши, приютивший и весь отселок, хуторок Собацкий; проснувшийся, умывшийся, наевшийся хуторок стучал, точил, отбивал, пел металлом – в этих извечных предпосевных весенних хлопотах всяк слышал могучую музыку пробуждения; хоть и велика зима наша, а и та прошла, и весна нам не чужая, и лето нам родич большой, и осень-панночка не зла к нам, а шапку пред ней ломишь да на колени валишься, до тех степеней любя каждому, и осень каждому своя, богатейским сыпнёт урожаем, только дай всему ум, дай всему простор.

Владимир шёл по своей улочке и все с ним здоровались по-особенному почитательно. В ответ он кланялся и старикам и детям без разбору: с поклона голова не отвалится.

Нечаянно застигнув Полю в болтовне с Серёгой Горбылёвым, Володьша в изумлении примёр у плетня. Вот так так! Докатилась до грязи девка! В день, при народе свиданничать!.. И холстину наполаскивает, и шуры-мурничает!.. Ой, девонько, наряду я тебе на кривое веретено!

Увидела Поля отца, ещё круче наклонилась к корыту, ожесточенней навалилась на стирку. Руки у неё красно горели, холодна родниковая лёд-вода.

Не ускользнуло от Долгова и то, как горбылёвский бычок, заметив его, по-скорому черпнул в вёдра, может, на вершок всего и стриганул Володьше навстречу, норовисто угнув голову, будто собирался его боднуть, но вместо всего того с

благочинностью в голосе, важегато, мудрёно так поздоровался:

– Путь Вам чистый на дороженьку... Счастливо!

Долгов зачем-то улыбнулся ему в полупоклоне, чинно даже оглянулся в улыбке, дивясь неожиданно хитрому и отрадному приветному слову; и чем долее смотрел он парню вслед, тем приметней сияние на его лице вытеснялось недоумением, а там уже и гневом.

«Ах ты, козий потрох! – пустил в тыщи, обругал себя Владимир. – Кому ж ты лыбился?.. Горбылю-козлу! Воистину, козёл козла видя издаля... Крепше гляди, Володыха, как бы этот козёл не навертел хлопот, что не станет у девки сбегаться капот...»

Раскипелся Владимир, разозлился на себя за то, что вот в срам себе на голову раскланялся – и раскланялся-то как? – почитай не ломал шапку перед этим шалопаем, которого смертно не терпел, и не только его одного, а и всю горбылёвскую рать.

Долгов свирепо повернулся и вцепился взглядом парню в спину; тот уже пропал в своей калитке, а Владимир всё не двигался с места.

«Ит ты, лише и стбите! – жёлчно плюнул и растёр плевок. – Выдул – тольке в бугаи и пустить!»

К Горбылёвым, к соседям, у Долгова была затаённая, заскорузлая давешняя злость. А разберись да разложи всё по веточкам, что и делал он частенько ночами, так Горбыли не

так чтобы и плохи. Приветливые, этого у них не отберёшь; без зла, с добром живут к людям, последним поделятся... Как-то вон цыганьё залётное по дворам гадало. Где пирожок, где скибка хлеба с ладошку, то и вся им красная плата за брехеньки, а Горбыль, сам, фуфайку с гвоздка да и старой ведьме, мол-де, морозики вечерами ещё пошаливают, а ты в одном, прости Господи, платьишке, рано кожушок продала... Ну не дурак? Дурак, неумытый ду-рак, думал Владимир. И по части грамоты дураки не приведи Господь каки. Накарябали, настругали детвы полным-полную под завязку хату, будто ребятёжь у них, что мокрицы от сырости разводятся. Стемнело. Сами, зволь радоваться, на ликбез и ребятню позамуторили той школой. На двоих одинёшеньки сапожики, на пятерых одна шапчонка – а учатся все! Прибежал один, другой нырь в его сапоги да и в путь по своим заботам. Каждой морковке свой час... А на что, спрашивается, вся эта музыка? Ну на что это господне наказание? От тех же книжек резону – навару с пустой воды толще! Не знал я, как в той школе двери открываются, не держал и минуту ту книжку в руках – а жив, ещё как жив без книжек, хлебом жив. Хлебушко духовитый на стол – и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска!.. Сегодня не кусни, завтра не кусни, а там и кусалки-то не разожмёшь. Амбец, спёкся и остыл Босьяк Антеллигентович... Ты носом почаще в навоз тыкай дитё, скорейше учует, как пахнет хлеб, скорейше поймает, как он достаётся, скорейше само возьмётся раздобывать его... А

этот, Серёга, коломенская верста с долгими, неудальми, как грабли, ручищами, несёт поперёде себя и не знает, куда их и деть... этот так полных три класса отбайбачил! И привычка – видать, в школе подучили, где ж ещё такому научишься? – идёт, идёт да и станет столбом посереде улицы, задумается, как осёл перед порожними яслями; тс-с-с, не мешайте прохвессору думу думати... Что ничего – малый ладен ростом, а так плетень плетнём, не цопкий, не хваткий, не ловкай в делах при земле. Бабы пытаются раз Горбылиху, на кого погонишь Серёгу учиться, а она руками картинки разводит, на что ж его и как его учить знать не знаю, ведать не ведаю, а надо. Видали?!.. А на что ж там только и живут? Пустой двор небом покрыт, полем огорожен, за что ни хватись, всё в люди беги. Там нищета – собаку нечем с-под стола выгнать. Одно слово, хвать в карман – дыра в горсти и боль ничего другого. В лучшем случае, наткнёшься в кармане на вошь на аркане иль на блоху на цепи. Ну, бабы на язычок язвы, досказали за Горбылиху, чему-чему, а вилами горох собирать, глядишь, и научится её Серёга... Эха, два плеча одну садовую головушку держат! Да хоть сто классов кончай и дуракуй потом всю жизнь до самого до заступа, мне-то что с того, думал Владимир, только какого огня этот грамотник, этот дармоглот, чирей те во весь бок, топчет пятки Польке моей? Громом и молнией не отшибёшь!

И припоминает Долгов, припоминает решительно всё, как дело не дело, а всякую субботу-воскресенье Серёга с сестру-

хой Проськой, Полькиной товаркой, вертелись у него, у Владимира, в доме. Конечно, чего уж тут гадать, где коза во дворе, так там козёл без зова в гостях. И только дай добратсья до огорода, так он, – а чтоб его черти облили горячим дёгтем! – так пополет капустку... И Полька вытворяет там такое, что и в борщ не крышуть. Это уже нож мне острый. Затягивает всё паутиной, таит от родного батьки. Когда ни спроси, куда это ты убралась, как на кулички, так ответ раз по разу один – Проську жду. «А Проська вона какая!» – с сердцем буркнул Владимир, увидав поверху плетня Серёгу, промелькнул из хаты за сарай с ведром помоев.

– Так шо мы тут поделываем? – нарочито вяло спросил отец, подходя к Поле.

Пристально приглядывается он к дочери, будто впервые так близко, так хорошо видит её, и ловит себя на мысли, что дочка, которую он всё считал ребёнком, далече ой уже не малёха: на голову выше батьки, широка, ловка в кости, крепка, туга телом; какая работяга в чужой уйдёт дом, да не приведи, Господь, в горбылёвскую курюшку. Не-е, нашим там нечего делать, твердил отцов взгляд, и она читала именно это, как полагал Володыша, а оттого и покраснела вконец – спекла рака, но ответить ответила примято:

– Шо Вы туточки делаете, я не знаю, а я... – опустила глаза на корыто, на свои руки, не переставая полоскать.

Умей она угадывать отцовы хотения, – из этого вышел бы прескверной пасьянишко, поскольку беспокойство за неё

было порядочно выгрязнено расчётом доходного замужества, умри, а непременно чтоб за богатика из прочного семейства, пускай даже за нелюба, да за деньжистого. Денежки не Бог, а пол-Бога есть! Деньги – крылья!

Владимир отмеривал мерку по себе. Его не спрашивали, нравится или не нравится ему его будущая жёнка, без спросу подпихнули под венец, на том и весь сказ; а чего же он станет чичкаться, кто тебе по сердцу, за кого б пошла, а за кого и подумала; не-е, таковской канители Володыша не попустит и коль выдаст Польку, так на ах, только за такого, что не в стыд будет ни перед старыми людьми, ни перед Богом самим.

По ночам, мучаясь бессонницей в своем *чёрном колодеце*, Волик маятно перебирал всех собачанских хлопцев и ни один ему не подходил: тот голяк, нашему козырю не под масть, а тот и наовсе в грамоту лезет, ещё хуже, последнее то дело... Всё чаще натыкался он на горбылёвского попрыгуна, кто всё толочся на видах – по надежде коник копытом бил! – и, кажется, Полькино серденько не в равнодушии к нему, что и тревожило и страшило Владимира. Ну на кой лях пятнать дочку нищетой этого комсомоляхи-грамотея? Не-е... Сам хрестарадничай, а мы тебе не компания!

Владимир собирался с духом сказать ей про это сегодня да завтра, сегодня да завтра, а парубок не промах, как что – тут как штык. Ну какая его сибирка погнала вот нынче за водой? Увидал, моя прошила, и себе туда, воду из ведра шварк под плетень да бегом следом; прежде подмечал это Влади-

мир и сам, и стороной слухи такие препасквильные доплёскивались. Оно и моя хорошка хороша: краснеет, кумач продаёт, а пялит на малого синие свои мигалки, как дураха какая. Покуда не запела про горбылёвских сватов, надо разом отхватить эту петлю...

Он уже провертел, как приступиться; сначала спросит, а чего это тут крутился Горбуля, а чего это ты с ним в переглядки играла? Ну, говори, говори, я ж видел всё сам!

Но всё то, висевшее на кончике языка, упало в небытие без слов, без единого звука: отец сконфузился своего же умысла. Ну что ещё за самосуд заваривать у криницы, дочка ж, не кошка какая заблудная, и на миру ломиться в живую душу с кулаками, пускай и родительскими, никак не резон, а потому наместо внезапной кары он, ослабившись, поздоровался уважительно, как с настоящей прачкой:

– Беленько тебе, доча!.. Вода холодит?

– А кто её грел, тату? Руки лубянеют...⁹

– Ну раз такой макар выпадает, кидай всё то хозяйство, мать дополоще. Пошли в хату.

– Да я уже...

– Ит ты, не упрямясь. Не гни всё под свой ноготок. Идёмну. Дило!

– Якэ щэ дило?

– Дома искажу. Не среди ж хутора цынбалы разводить.

Переступил отец с ноги на ногу, помялся и поплёлся об-

⁹ Руки лубянеют – костенеют, стыннут.

ратно к дому по старой гладкой, хоть боком катись, тропинке, вертлявой, узкой, как девичья ладонишка. Поля уже на бегу вытерла руки о низ платья, глянула назад через плечо на холсты в корыте, нагоняя отца.

Дома отец усадил за стол Полю напротив себя; всякому делу он придавал ту хозяйскую основательность, которая велась в доме испокон века.

– Вот оно шо, доча... Предстоит тебе дорога в Новую Криушу. У свояченицы Олены поспытаешь, а сколько мер гирьки она могла б нам дать наперехват до новины. Так-таки и сложи, доцё, моими словами... А то може статья, не хватя нам на сев, не скисли бы при печальном интересе. А можь, и без неё сольём концы, так запас не оторвёт карманы. Найдётся шо – завтра ж в вечер я и стоняю к ней на бричке... Ну шо его ще?..

– Да вроде всё ясно.

Поля встала. Отец жестом велел сесть.

– Ну ты спогоди. Попередь батьки не суйся в петельку... Будь там поприветней. А то она мамзелька с большими-ими бзыками. Отночуешь у неё, взавтре утречком в обрат додому. А зараз поешь да и поняй с Богом... Мать, а мать! – подвысил Владимир голос, обращаясь к жене, толклась с чугунами у печи. – Чем ты нас подкормишь?

– Невжель у нас нечего кинуть на зубок да заморить червячка? – с укором Сашоня уставилась кулаками в широкие бока.

– Не заморити... Его накормить треба як слид.

– Я зараз, зараз... А на дорожку не грех взять с пяток яець с собою. Патишество – така даль, полных девять вёрст! Не до лозинок за катухом доскочить... А яйца и готовы, курчатам наварила цельный чугуун.

При виде чугуна с яйцами Егорка весь аж затрясся.

– Нянь! – Егорка звал Полю няней, знал, кто его вынянчил. – Нянь! Солнушко! Солнушко мне! Солнушко!

– Завтра Боженька подаст.

– Да ну уважь ненасытны глазенятки, – заступается мать за Егорку. – А то будет вертеться тутечки под ногами, як бес перед обедней.

Поля чистит яйцо. Желток, крутой, хоть колесом дави не раздавишь, подаёт Егорке.

– На, плаксик, твоё солнушко!

– А белток, нянь, сама...

– Ладно... Поаккуртней ешь, не чвокай. Поменьшь губами ляпай. А то свиньи со всего Криничного яра сбегутся на собрание под окно.

– А вут и не сбегутся! Калитка на новой на вертушке. А вут и не сбегутся!

– Поговори, поговори у мэнэ! Поболтав та и за щеку. Мовчи...

– Разве ты не бачишь, шо ей не до тебя? – осаживает Егорку отец. – Отойди... Отхлынь от греха. Не дёргай за нервы... Ты у меня шо, ремня просишь иля чего? Так за мной не про-

киснет... И жаль ремня, а треба погладить дурачика, скоро подживешься воды на кашу, – мягко смеётся отец, наблюдая, как Егорка, затолкав в рот целый желток, потешно ловчит разом его проглотить, поводя и вытягивая тонкую шею то в одну, то в другую сторону. – Хоть за работу не хвалять, зато за еду не корять!.. Ай да Ягор! Ай да Ягор!

3

*Грудь белая волнуется,
Что реченька глубокая —
Песку со дна не выкинет;
В лице огонь, в глазах туман...*

Дело сказалось за всё просто, оттого и вскорую решённое; удачливая Поля посмотрела в окно на высоко ещё стоявшее над вечерней стороной солнце и у неё мелькнуло, а чего это я буду тетушкины перины мять, я ж завидно поспею домой! Девушка встала с лавки, поправила на себе розовую юбку и такую же розовую кофточку, застегнула её на верхние пуговицы. Повязала белый лёгкий шарфик.

– Дитятко! – вскричала тётушка, горько всплеснув руками. – Что это за сборы, обдери тебе пятки!? Куда? На ночь-то!? Иль ты месту не радая?! Иль ты к чужим пришла?! Иль ты не в казаках живэшь?!

Не сказать, как обиделась тётушка; она причитала, выговаривала и жаловалась сразу, в её голосе всё это клоко-тало, плакало, твердя про свычаи-обычаи, которыми славились-держались все поколения казачьих потомков в округе; хотя и никакие они уже не казаки, а преобывновенные скотари да хлеба пашцы, однако навеличивали они себя по-преж-

нему казаками, а раз так, так свято и чти гостеприимство, ничуть не приулавшее со времен Сечи, пренебречь которым почиталось невозможным грехом, кощунством над всяким домом; в неискренности тётушку никак нельзя было заподозрить; с причитаниями, с попрёками носилась она вокруг ого-рошенной и вмиг присмирившей Поли, жестикулируя невы-разимо энергично коротенькими ручонками.

В этой старушке всё было мало, хило, в чём только и ду-ша жила. Ростом она не выскочила, телом Бог тоже обделил; источилась за жизнь, в нитку извелась, и была она так ху-да, так мелка, что, не видя её в лицо, примешь за двенадца-тилетнюю от роду болезненную страдаличку. Бледное лицо её было не просторней кулака, иссечено глубокими частыми морщинами; сдавалось, это был как бы окаменелый слепок тернистых дорог, пройденных за былые долгие, мафусаило-вы, годы, и был он портретом её бесталанной доли. Тонкий, острый, длинный нос несколько искривлён; причину домаш-ние находили в том, что тётушка, сморкаясь, весьма недру-жественно, весьма энергически хваталась за нос всей пятер-нёй, с превеликим усердием и ожесточением оттягивая его на сторону; с таким злым усердием, с такой жуткой постоян-ной основательностью сморкалась она всякий раз, что и не заметила, как то ли подвывихнула нос, то ли приучила его к росту вкривь, но, одно слово, не заметила, как свесился он в обидчивом безразличии набок – куда клонили, туда и гнулся.

Зато глаза...

Непостижимо, как могли на этом мёртвом отжилом лице молодо сиять эти глаза. Боже правый, это были как будто ещё ничего тяжкого не видевшие глаза, смотрели в мир доверчиво, светло, лучисто. Глаза – это и всё богатство тётушки, которое ясно видел всяк, чувствовал всяк, которому покорялся всяк, – столько в них жило доброты, чистосердечия, участия; а вместе с тем в них толклась и пропасть какой-то необъяснимой боязни, сокрушившей сейчас и Полю, отчего девушка, потупившись в смущении, бесшумно опустилась на краешек лавки у окна.

– Да не к окну, не к окну, дитяtko! – весело защebetала тётушка. – Ты, дитяtko, садись вот сюда! Тут, дитяtko, сидит только сам!

Старуха дёрнула от стола мягкий, красного вельвета, стул; с краёв верха высокой резной спинки навстречу летели друг другу два деревянных всадника с копьями наготове. На этом стуле сидел всегда тётушкин муж.

– Ты не косись... Ты у нас гость, а гость невольник, где посадят, там и сиди. Это хозяин, что чирей, где захочет, там и сядет. А наш, – старушка до шёпота снизила голос, – а наш чирей зараз далеченько! Так что мы сами полные с верхом хозяева. Бабиархат... бабий архат... А понятней чтоб тебе – бабий верх у нас нонче.

На стол перед Полей явилась порядочная миска богатырского борща; он был так густ, что в нём стояла ложка; потом

припожаловала сытая тяжёлая курочка, возвышалась горкой на деревянной тарелке.

– У нас с им, – последовало пояснение, – полное равное правие, обдери те пятки. Курку ему – курку мне да и по весу гран в гран... Я сама на руках вешала... Да ты перед борщом не робей... Я не в счёт, а самого-то нетути. Обозом с мужиками повёз вчера картохи в Богучар. Дожди у нас в прошлом лете не то что часто, а как край надо, так и шумели. Картохи уродились грех обижаться. Ума теперько не составим, куда его ото всё и определить... Погнал вот на разведку первую арбу. Под метёлку свезём, положи лише базарик необидную, способную ценушку... А картохи-охи наши стбят дорогого! Там таки хороши! С два кулака каждая! Твёрдые, будто каменья, все как перемытые...

Тётушка метнулась в сени; внесла литровую банку киселя, посмотрела его на свет.

– Тут за один цвет, – довольно так сказала, – можно денежку брать, а за вкус не поручусь... Вот тебе орешек наших... С киселём...

– Тётя! За глаза всего наверхосытку! Да куда орешки ещё?..

– А ты с дороги хорошенько поищи всему места. Лакомый кусочек да не найде себе куточек?.. А за борщ ставлю пять. Молодчинка, весь учистила, взавтре будет вёдро.

Залюбовалась тётушка Полей, сладко подумала:

«Сам Володейка с ржавый напёрсточек. А дочка оха и лов-

ка-а... Не какая там Аксютка толстопятая... Нарядна личиком, красава... Велик праздник глазу всякому, зависть и сухота глазу молодому... Майская берёзка...»

Уже вечером, при огнях, когда по второму разу были переверены все собачанские и криушанские вороха новостей, тётушка снова подкатилась к гирьке.

– Так ты не забудешь? Передай батьке, десять мер-пудовок его, пускай еде забирае, коли не лень. Я не продаю, не меняю... С новины вернёт. Ухватила? А под верность запиши...

Тётушка взяла с подоконника и подала клоч бумаги, химический карандаш-обглодыш с палец.

Поля тыкнула карандашом в язык, налегла на стол и тяжело уцелилась писать во весь клочок. Будь он впятеро обширней, она б и тогда, наверное, писала б во весь лист. Разом прошиб её пот, задрожала рука; карандаш вовсе не слушался и всё норовил скользом вывернуться из употелых пальцев.

– Иль ты забольшь Бога знаешь, что сопишь, обдери те пятки? – со смешком уколола тётушка.

Единичка у Поленьки совсем упала навзничь, а ноль, разбежавшись её поднять, сильно наклонился вперёд, не удержался, не устоял и теперь тоже лежал на крутом своём боку.

– А ну-к, покажь, над чем ты там так геройски сопела... Ба-а! Да оне у тебя что, пляшут аль с мамаевского попоища возвращаются? Ты что ж, не можешь толком написать?

– Цэ, тётя, и так гарно... Я к грамоте не умею...

– А разь ты в школу не бегала?

– Як же... По чернотропу пошла у первинный класс, по первому по снегу и кончила.

– Ум расступается... Не пойму... Ты чего так быстро разделалась с учебой, как тот повар с картошкой?

– А шо тут не понять? В осень мама начали прясти, – по обычаю, об отце-матери да и вообще о старших Поля всегда говорила во множестве, что было признаком особого почитания, – мама сели ото за пряжу, а меня и пристегни на все пуговики к Петру в няньки, не на кого было кинуть малого. Попряли... Опять не до школы, ткать треба. А там весна... закружились огороды, поле... Так там и без учёбы дилов под завязку.

– Да-а... За таковскую несвязицу я Володьяре спасибушка не поднесу. Палкой бы ломанула! Я и не знала, что он тебя до школы не допустил.

– Приходила за мной два раза учителька... Молоденькая... Зараз бы по плечики мне. Хвалила меня. К учебе, говорит, девочка хорошо берётся. Прилежайка. Попервах тато буркнули ей: а нам не вновях, других не держим. Вот допрядём, там и побачим. Наявилась по вторичности, а тато были сердиты, зык на них напал, шо ли, и на дыбошки. Так и так, говорят, товарищ учительша, чего ж нам в прятки играть, я человек нестерпчивый, я вам прямушкой грохну: повадил-ся ваш кувшин к нам по воду ходить, понаравилось, бачите.

Да как бы ему голову не расшибли! Не надо учить безногого хромать. Не учите и козу, прижмёт, так с возу сама стянет. Моё дитё, моя воля, моя властущка – так не сильте, без вашего научим чертям кочерыжки подавать да на собак брехать! А вы идите от греха, покуда я ремень с пупка не спустил... Бильшь к нам учителька ни ногой...

– Аря-ря! Лихой казаче Вовчан, чересчур лихой грамотник, родимец тебя хлыстни! А так со стороны глянь – по борде апостол, муху не обидит, а родное дитё, ешь его мухино сало... Не с больша ума удрал штуку...¹⁰ – Тётушка горько вздохнула. – Без грамоты, дитяtko, жить – век пеленать нужду... Вон оно как... Уж лучше б ты училась, поколе хрящики не срослись... В детстве-то...

– Да Вы тако не убивайтесь, – скорее себе жалобно сказала Поля и ей стало тесно в груди. – От беды не в воду же... Не така я уж и зовсим пропаща. Я всё-всё умею, толечко в одной в грамоте не умею... – Она обошла взглядом чисто убранную комнату. – Ну хотите, я Вам шо-нибудь такэ делаю, поглянете... Шо ж Вам сделать?.. Всё у Вас гарно, всё на месте...

– Ну подмети, отведи душу.

– Фи, подмети... Это и дурка можэ.

– Ну а ты?

С обидой, с каким-то горячечным рвением – подумаешь, важность подмести пол! – Поленька кинулась мести полынь-

¹⁰ Удрать штуку – сделать нежелательное.

НЫМ веником.

Тётушка, посматривая то на неё, то на молодой месяц за окном, положила на листок, на котором Поленька писала, десять пшеничных зёрен, ядрёных, крупных, не с ноготь ли на мизинце, тщательно сложила бумажку, отдала девушке.

– Вот эту тарабарскую грамотку свою с зёрнами снеси батьке. Пускай поглядит, что у нас за гирька. И скажи, у недобрых людей землю и дождь обходит. А пускай раскумекает, к чему это я так подпустила.

Поленька спрятала бумажку в карман кофты, смела сор на совок и в печь.

– Ну шо, погано я мету? – Поленька ждала похвалы. – Скажете, як курочка лапкой?

– Хуже, – коротко резнула тётушка. – Неспособная ты совсем в этом деле... Ни в дудочку ни в сопилочку. А *это* каждая девка должна знать!

– Шо это? Треба не в совок да в печь, а мести через порог на двор?

– Наоборот. Со двора!

– Убейте... Никак не въеду...

– Ну уж куда нам понять! Ну уж куды нам со своим свиным рылом нюхать лимон!

Сердито, скорее для видимости, тётушка помолчала и продолжала выровненным, спокойным голосом, не лишённым оттенка снисходительности:

– В твои лета девчачочки втихомолку, чтоб никто не ви-

дал, метут сор со двора в хату, заматают в передний угол – там он никакому другому глазу в недоступности, – метут и шепчут: «Гоню я в избу своих молодцов, не воров, наезжайте ко мне женихи с чужих с дворов...» Всё учи, учи тебя!

Поленька хотела что-то сказать, но тётушка жестом велела не перебивать её:

– Как у нас один говорил, нажелалось со мной погутарить – смалкивай! Вот тако. Ну... А не позывает маяться с сором, подгляди, как наявится молодой месяцок вот как сегодня, – старуха показала в окошко на стоявший вниз острыми рожками месяц, готовый вот-вот спрятаться за меловую Лысую горку. – Мда-а, млад месяц дома не сидит... Так, значит, подгляди да и завертись на правой на ноге и тверди: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя».

Подвеселела девушка, в мыслях улыбнулась и спросила тоном, дающим тётушке полагать, что всем этим наставлениям нет цены:

– А як же кавалерики услышать зов?

– Сперва заслышит *Он*. А уже *Он* в уши им положит твои слова. А *Он* есть! Слушает нас, подмогает нам! Даве утром мой уваялся ещё до железных петухов, до звона к заутрене. Думаю, как же я буду одна, я боюсь ночью одна, я даже при самом боюсь по ночам просыпаться и лежать с открытыми лупалками, а тут две ночи кряду кукуй одинаркой, я и запросила господа Бога послать мне доброго человека; и вот

набежала ты, ты не своей волькой, не сама, тебя *Он* прислал. Так что не ленись мети, как я подучила, не ленись поджидай млад месяц и проси, проси женишка. *Он* добрый, *Он* пошлёт тебе.

– Уже прислал...

Удивлённо и вместе с тем недовольно хмыкнула тётушка.

– Да того ль, кого зуделось?

– Аха... Высокий... На личность взрачный... Лицеватый... Наравится...

– Дитятко! Ну у тебя головка чиста, не во гнев будь сказано, как стеколушко! Видали новости в сапожиках – наравится! Да ты ж не на личность гляди. Можь, с личика и яичко, да внутрях болтун!.. Какое у него ремесло?

– А покуда никаковского. Пастух. Вот, говорит, кончу институт на агронома, там и распишемся. Я обещалася ждать.

– Эха ты, тетёрка с носом... Метко, девонька, стреляешь: в чистом поле, как в копеечку... Запомни, этот не твой. Покуль он, обдери те пятки, будет шастать меж тех институток, он такую ж разучёную, как и сам, выглядит себе да и повиснет на ней, как лукавый на сухой вербе, а ты жди да сохни до белой косы: пора молодая сшумит вешним ручьём с горы, там и не заметишь, как годы седину в косу вплетут... А потом... Ну случись всё по задумке, ну кто ты без грамоты рядом с ним? Чурка с глазками! Два фонаря на пустой каланче! Да только красивые глазки разве спасут пустую головушку?.. Не-е, не твой то хозяйко. Да невжель и воску в свечке, что в

том в твоём агрономике? Ты выискивай табачок по носу... А то масло не твоё, вода. А тот огонь не друг тебе, солома...

– Он божился... не можэ без меня...

– Уха-а!.. Все козлы одно и то ж блеют! Не мог ба, давно-о б околел. А то с приплясом, небось, вьётся. Что поют твои батько с матерью?

– Я ничего им не говорила про него. Мама потянут мою руку, доведись чему быть. А тато бачить его покойно не можуть... Там меж ними... як черти горох делют... Такие про-меж ними контрики.

– Видала, обдери пятки! Тут я за Володюню свой подам голос. Раз твой замашистый агрономка и на дух не нужон батьке, стал быть, тут непотребинка какая да и кукует. Ты кладёшь парубку почтенную цену за рост, за внешность. А батька с другой каланчи дозор ведёт – какойский этот твой красик работун, какой из него вылупится хозяйко, иль, может, это ни то ни сё, ни два ни полтора, ни кафтан ни ряса, ни рыба ни мясо и не холодец. Может, этот поскакун с киселём в коробке пылит за тобой не возрадушки жизни, а так, по молодости, по избытку бусыри. Надо ж с кем-то коняжиться! Вот он и трётся вкруг тебя да, поди, блажит затискать всё куда потемней, липнет, поди, с похабщиной?.. Хо-рро-шень-ко всмотрись... Замуж выбежать не галушку замесить... Перед тобой он сейчас, как погляжу на тебя, может, на пальчиках, чуток на ладонки не возложит. Да ты всё ж не спеши. Твои годы не уроды... Ох, женихи товаришка тё-ёмнай. Поскоб-

ли, какой ещё муженёк скажется... Кабы то наверно знать, до точности...

Ловившая носом окуней тётушка была тёртый калач по части сватовства. Уже за полночь. Уже пробовали голоса вторые петухи; давно задули лампу, лежали, а тётушка – ну и свербёж! – всё трещала, трещала, как битюцкий барабан, всё об одном об том же: твой варяжец тебе неровня, ищи другого, поверь, желаю я тебе единственно добра и при этом клялась, что она не какая-нибудь там дрепохвостка, жизнь изжила достойно и мужское кобелиное племешко вызнала прочней против Поленьки.

Девушка не могла понять из всей этой бесконечной нуди, ну почему так мгновенно, в один вечер, тётушка твёрдо решила, что Сергей ей вовсе не пара, вовсе плох? Ну откуда это видно?

Долговы жили с Горбылёвыми окно в окно, и каждое утро, просыпаясь, Поленька бежала к окну и знала, что её ждут у другого окна и в снег, и в дождь, и в солнце; заметив её, Сергей принимался неистово махать руками. Привет! Привет! Наше вам с косточкой!

В ответ Поленька тоже махала и со сна чисто улыбалась. Её глаза, ждущие чуда, горели восторгом. Переглядушки разбегались иногда на целое утро. Никто из родителей не противился. Но в прошлый май отец заказал эти утренние радости, рассудив про себя так: «Чей бы бычок ни прыгал, а тёлушка наша... Прибытку нам аникакого...»

Поленька не защищала Сергея перед тётушкой и на то были причины. Ну, во-первых, возражать старшим почиталось в их роду святотатством; обычай этот жил в доме испокон веку. Потом, о своих чувствах Поленька ни с кем не заговаривала, и если уж тётушка выжала на такой разговор, так причиной тому были обстоятельства. Как младшая Поля не могла не отвечать старшей родственнице, хоть и родство то ненамного ближе такого калибра: сбоку припёку, а сзади прогорело; в конце концов ответив на одно, как сом в вершину, ввалилась Поленька в разговор, который никак не могла остановить или переменить: тетушку не навести, не направить на что другое. Ветхую кумушку решительно занимали дела сердца и ничего иного она знать не хотела. И третье, пожалуй, главное, что сильно смутило самоё Поленьку, многое из того, что она почитала в своем суженом-ряженом за добродетель, тётушка, напротив, расхаивала, пушила в пух. Да Поленьке и самой не нравилось, что в последнее время Сергей все бился завести её в уголок куда почерней, где б они были без посторонних глаз, всё подгадывал так, что они оставались совсем одни, и тогда он накатывался миловать, ласкать её, против чего она восставала, однако не настолько рьяно, чтоб вовсе отвадить парня. Она не находила слов этим отношениям, а вот тётушка доискалась: коняжится, блажит, похабничает. Несерьёзно всё то, тянула тетушка одну и ту же песенку; Поленька не спорила, хотя и не знала, а как оно бывает серьёзно, тем не менее она считала, что не в лад к ней

настроенные и отец и тётушка – не стоворились же! – в чём-то бесприменно правы: старики не ошибаются.

Запрокинув руки за голову, Поленька лежала в кровати и не могла разобраться, что за каша кипела в её голове. Угнетало чувство раздвоенности, досады. Горячая голова болела от неожиданных открытий; больше всего давило, тяготило то, что она считала в своих отношениях с Сергеем совершенно решённым раз и навсегда, вдруг почему-то повернулось пунтицей, бестолковщиной, ералашем.

Уже как легли, тётушка ещё два пробовала почесать зубки. Но Поля не отвечала, молчала; тётушка поднялась на локоть, заглянула ей в лицо; Поля старательно зажмурилась, жалобно всхрапнула.

– Спи-ит? – удивилась тётушка и больше не лезла с перетолками.

Рано, до света, Полю разбудила тётушка.

– Ё да ты и спишь, ободай тебя коршун! Упала и пропала... Кипятком залей – не прокинешься!

– А вы чего потемну вскочили?

– Какой там потемну! Гли-ко в окно!

– Только взялось сереть...

– Ну, девка, может, ты со сна мне ещё порасскажешь, где у коровы грудь?

Тётушка беззлобно рассмеялась своей шутке и, отсмеявшись, подхлестнула:

– Вставай, Вставайка! А то службу проспишь.

Было ещё темно; с утренней, с восточной, стороны едва подбеливало, но со всех углов, со всех проулков с муравьиной торопливостью сливался народ к церкви Спаса Преображения.

В церкви негде было пятку поставить. Тётушку отжали от Поля; вскоре Поля, усердно подпираемая сзади проспавшими, оказалась пришлёпнутой к оградке перед клиросом.

Необычайно ярко горели повсюду свечи; всё вокруг торжественно пело, молилось, кланялось. Как-то смиренно, заведённо молилась Поля, по временам придавленно вмельк покашивая из-под низкого шалашика косынки на певчих. Высмелев, смотрела уже ровней, длинней, натвердо убедившись, что никто из них не замечал, не видел её.

В хоре были старики, старухи, были и дети, такие как Петро, уряженные, чистенькие, выделялись высокими голосами.

Мало-помалу служба наскучила ей.

Она скользом, уныло ощупывала глазами клиросников; сражённый взор присох к белокурому веснушчатому парубку лет, может, девятнадцати, не старше. Видом шёл он совсем за подростка, зато держался, держался эвава каким орёлушкой! Дорогой тёмный шерстяной костюм ладно облегал стройный стан; толсто повязанный короткий сине-зелёный галстук походил на кленовый лист, до поры в непогоду сорванный с дерева и прижатый ветром к кремовому атласу

рубашки на груди.

«Какой молодой, а уже в певчих...» – в восхищении думала Поля и не уводила с него глаза, даже когда припадала на колени; припадая, она лишь на миг отрывалась, лбом трогала холод пола и тут же стремительно поднималась, отчего-то боясь не увидеть его снова, но – заставляла его на месте и мимо воли своей чему-то светло улыбалась.

Он заметил, выхватил из людской тесноты этот безотрывный светоносный взгляд, и у него из глаз печальных брызнула звонкая, озорная радость; теперь он тоже не забирал с неё своих глаз, пел и улыбался глазами, и трудно было понять, чему он улыбался, то ли своей незнакомице, то ли восходящему солнцу, что било сквозь высокие окна прямо ему в лицо и заставляло щуриться.

Крестясь, Поля из-за руки нарочно улыбнулась парню. Он наверное понял, что эта улыбка именно его, что он точный её адрес, а потому, привстав на цыпочки в щеголеватых высоких хромовых сапогах в рант, улыбнулся ей глаза в глаза и коротко подморгнул.

Поля покраснела, со стыда тиснулась вправо за дебелую старуху; девушке казалось, что это подмаргивание поймали другие, вот-вот прoderётся кто сквозь толпу и потащит её за таковское вон из церкви. И минуту, и две таращилась она отупело старухе в чёрный затылок, но, странное дело, хор всё так же пел, своим порядком всё так же шла служба, и никто не выводил её. Успокоившись, она подумала:

«А почему не посмотреть?.. А вдруг он – ещё?.. А я и не увижу?.. Он может воссерчать. А мне это разве в руку? А мне это разве в желание?»

4

*Не родись в сорочке,
Не родись талантлив —
Родись терпеливым
И на все готовым.*

Ещё смалу Никита вместе со своей тучной тётушкой Неонилой пел в церковном хоре. Отец Борис Андреевич Долгов, по-уличному Головбк или дед Бойка, мелкокалиберный, худосочный, будто отжатый, высушенный долгими бедами старичок с ноготок (про таких говорят, собран из трёх лучинок, отчего и ветром качает), эта божья коровка с посохом, тихоня, бессловесник, не замутивший и разу воды, этот до смерти суматошный хлопотун – всё мечется, мечется, лёгкий на ногу, словно кто ему в сапожики горячих углей сыпанул, завтра на охоту, а он сегодня норовит взвести курки – этот до последней крайности набожный, богобоязненный и вообще от природы пугливый, опасливый и в то же время хитроватый, непокладистый, ершистый причудник себе на уме (и стар, да петух, на седину бес падок) принимал певческую затею сына до края враждебно, в штыки.

Всякий раз, как недовольная им тётка Неонила вводила по Нистругбвке мальчика за руку к заутрене или к вечерне,

отец, ворча вслед: «Эк, чёрт их понёс, не подмазавши колёс», – провожал их из окна сердито-плутовским, сторожким взглядом ясно-пронзительных, как у ястреба, глаз из-под нахлобученной на тяжело нависающие белёдые брови ушанки, которую он и в июльское пекло не скидывал с лысой, хоть горох молоти, головы: в старой кости согрева нету.

Вот баба с мальцом пропали за соседским плетнём; чуть выждав, он влезал в тулуп, подвязывался малиновым кушаком, не рассыпаться чтоб, коль не в час на гололёдке кувыркнётся, и, зная себе красную цену, – стар козёл, да крепки рога! – брал в сенях из тёмного угла посох, упиравшийся в потолок, и с сановитостью аристократической особы направлял стопы, шествовал к церкви, где и появлялся, ровно тебе из земли вырастал, как раз, чик-в-чик к началу службы. Всю службу Борис Андреевич чаще стоял за спинами в проходе: миру там всегда было тучи.

– Па! А чё Вы не проходите наперёд? – спросил однажды Никиша. – Никогда Вас не видать. Иль Вам не занятно меня послушать?

– Поёшь ты, Никитарчик, ёлка с палкой, хорошо. А перестанешь – лучше.

– Ну, па-а, серьёзно ежли...

– Можно и серьёзно. Мне с тобой, Никиш, чистые чудеса в решете: дыр много, а выскочить негде... Вот ты на что, думаешь, Господь дал один язык? Меньша говори... А два уха зачем? Больша слухай... Я распрекрасно слышу, как ты с

клироса аллилуйю за хвост тянешь. Да, да, не кривись. Правда моя – масло, вся наверху!.. Откроюсь, от твоего песняка наразлад у меня всё в нутре выстывая, холонет. Я не смеюдохнуть, робею продираться наперёдki и того с умыслом обретаюсь на задах всё по твоей милости, соловушка. Знамо, ёлка с палкой, соловей птичка невеличка, а запоет, так лес дрожит... А я за тебя в холодном в поту купайся... По мне, лихой силы у тебя в голосе пропасть, жуть эсколя, а души, а ладу кот на мизинишко на доньшке наплакал. Ну что ты да-ве эвона каким голосиной – надо бы хуже, да некуда! – кэ-эк рванёшь наобум лазаря куда в сторону иль поперёд от других голосов, кэ-эк рванёшь!.. Пресвятая богородица... Морозом меня так и осыпает, кровь в жилах леденяя... Страх отымае силу... Со страху припадаю на коленки за раней выбранную на такой момент саженную спинущу. Так и мерещится, остановил вот батюшка службенцию, антиллигентно поднял меня с полу за ухо да и ну обихаживать кадиллом, да и ну угощать копченым льдом. Поспевай, Боюшка, тольк подставлять рёбрышки: тебе черёд считать пришёл. А кругома всё в чаду, ни шиша не видать, чисто тебе ерманское дело... Притомится святой отец шелушить да нагуливать мне бока, пожелает – не всё таской, ино и лаской – возлюбопытствовать: " А чего эт ты, старой кочедык, распустил вожжи? А чего эт ты дал послабку своему музоверу?¹¹ Неровен час, этот ухорез бедовым, хватским голосиной всех святых подымет.

¹¹ Музовер – безбожник, злодей.

Прикажешь этого злосчастия ждать?..» Что, Никишок, в ответ петь?.. Понятно, да такой свиданки я не охотник дотянуть дельцо... Пошабашила не в час служба – не кинуся вызнавать, что да как, а ментом полы в руки и дёру, давай Бог ноги. А коль ноги не снесут? Распишитесь в получении на орехи? Да?.. Оно, конечно, ёлка с палкой, битая посуда два века живё, да на твои два хороших, отдавай мне один мой плохой... Не попусти, Боже, моему певуну ославить мои белые седины...

– Невжеле, па, я так худо пою? А тётя не нахвалятся, говорят всем: «Мал соловей, да голос велик!» Намедни посля службы сам батюшка потрепали по щеке, тоже сказали: «Соловей поёт – мир божий тешит».

– Куда как славно тешит! – Поползновение к ядовитой насмешке скользнуло по крохотному, с кулачок, иссечённому невзгодами лицу, придав ему редкостный какой-то оттенок смелости. – У стекольщика алмаз и то с голосом. А ты свой проспал, как вседержитель раздавал... В радость глазу, видом ты соколок, а... а голосом... во-ро-на... Чего это батюшка не въедет в толк, что непутевым ты криком своим – кадык не велик, а рёву не оберёшься – полприхода распужал? Как погляжу я, в достославную церковку нашу с голосниками всё менее правит миру...

Мальчик и впрямь чувствует себя виноватым. Слезы закипают на глазах.

– Ну-ну... Знаю, голосистее сверчка. А слезу держи, не

разводи сыр. И так мокропогодица.

– Я не заплачу, па. Ну только узвольте там петь...

– И чего липнуть к тому пенью, чисто лукавец овод к коню?.. Ну чего вцепился в то пенье, как хохол в сало? Иль по сердцу?

– Угу...

– Это не внове. У кого голосу слыхом не слыхано, тот и петь охоч. Да ну ладно... Куда наше ни шло, поняй... Раз кортит, пой ногами, пляши голосом!.. Гэх, заиграл глазенятами беспортошный басурманин! Сто-ой, не лети под снег, дослушай родителя... – В голосе отца качнулась мольба. – Никиш, ну клирись ты, петый дурёка, со всеми голос в голос, не выскакивай из хора, как шило из мешка, не отставай и не несись поперёд других голосов... Кому надобна блошинная твоя прыть?.. А не лучше ль, а?.. Смотри на своих клиросиков, за компанию рот разевай, а голосу не давай. Тебя не убудет, зато мне спокой... Глядишь, осмелею, сизнова стану бить поклоны у самых у батюшкиных ног. Тогда, может, и завидишь меня с клироса...

С той поры пять раз улетали и возвращались грачи; пять раз без огня полыхали в лесах пожары осени, и снова по весне ветер разбивал почки на деревьях; пять раз с холода одевалась в лёд речка Криуша перед двором и сбрасывала в апрель синий хрусталь одежд; пять раз засыпала усталая земля, согревшись под высоким одеялом воронежских снегов; в свой час, к сроку гром будил земелюшку, и плодотворные

вешние дожди, никогда не лишние, хлопотливо омывали её.

Тринадцатый май жил Никиша.

Под воскресенье, боясь проспать заутреню, хотя и разу не просыпал, мальчик лёг с сумерками, безо времени, но во всю-то полную ночь и не уснул ни на волос, прокидался с боку на бок.

Ясная круторогая луна всё смотрелась в окно, разостлав по полу серебристую дорожку до самой печи; дорожка эта, вытягиваясь, потихоньку уходила вбок. В молодом лозняке не смолкал до зари соловей, выпевая погожий день.

Чем свет Никита был на ногах. Все ещё спали. Неудобно было умываться под рукомойником, по озорной привычке толкая его сосок лбом или носом. Весь дом до поры всполошишь.

Мальчик на цыпочках вышел во двор.

По бледно-синему льду неба катилось к алому горизонту золотое корытце луны.

Мягко шлёпая босыми ногами по тесному желобку тропинки, убегавшей к колену речки, названной за частые извивы Криушей, Никиша, казалось, слышал, явственно слышал, как в этой чуткой кафедральной тишине по обеим сторонам от тропинки росла трава под обильной, тяжёлой росой.

Слёзы – роса: взойдёт солнышко, обсушит. Против вчерашнего оно поднимется сегодня пораньше. Солнышко восходит – начальниковых часов не спрашивает и на всех ровно светит...

В это тёплое тихое утро просветлённый, счастливый мальчик, видевший уже себя в хоре на клиросе, сделал открытие: оглобля вон заросла травой, ворона стоя спрячется; уматерели, подкрупнели листочки у травы, набавилось зелёного в уборе деревьев. Весна леса уряжала, в гости лето поджидала...

«А что, разлететься да бултых с берега головкой?..»

Подумал и вздохнул.

Рано ещё. Отец твердит, начал распускаться лесной дуб, можешь бежать купаться, встеплела вода. У матери рогатки похитрей: на выстрел не подходи к воде, покуда лист на дубу не развернётся вовсю.

Никита остановился возле молоденького дубка, улыбнулся ему, вспомнив прошлогоднюю историю.

Едва резво припекло солнце, как ребятня, будто бес её из мешка вытряхнул, обсыпала речку. В самый неподходящий момент, когда Никита рывком сдёрнул с себя рубаху, откуда ни возмись мать цап за руку да к этому к дубку.

– Неслушь! Вишь, дерево раздевше стоит?

– Ну, вижу... Не слепой...

– Вот оденется листочками в заячье ухо...

– Так долго ждать?

– Наподольше ждал... Вот оденется листочками в заячье ухо иль в пятак, тогда купа... наполоаскивайся до утопа... Хоть и на ночь из воды не вылазь, покудова вербы не пойдут

расти у тебя из подушек.

Каждое утро мальчик прибежал к дереву, накладывал монету на листочки с разных веток, но листочки как назло были все одной величины. Он ладился тихонько растягивать листочки – листочки рвались. Пошёл на обман, сточил напилком пятак; к ужасу, подлог раскрылся.

Праздник таки выспел, когда Никиша положил перед матерью стёртый, слепой, пятак и эдак в небрежности прикрыл его, вредину жёлтую, молодым тугим листом...

Совсем скоро подступит снова желанная та пора...

Никиша сорвал с ветки две холодные почки; катая комочки на ладони, заметил, что со вчерашнего утра – делал то же самое! – почки стали округлей, тушистей.

Обещая погоду, над речкой дремал туман, сосед солнца.

Холоднее льда показалась вода, но мальчик, ухая, всё ж ополоснулся до пояса и заторопился блаженно растирать расшитым петухами рушником руки, грудь.

Откуда-то из тумана выпнулся с вилами отец.

– Ты чё это спозаранок вскок на копытца? С курами лёг, с петухами встал... Спать оно, конечно, не молотить, не болит спина... А подумать, так мимо дела кидаю слова. Разь только беспечальнику сон сладок...

Старик положил вилы на землю, присел на держак. Гордовато поглядывая, как растирается сын, сказал с нарочитой суровостью:

– Иле ты, хлопче, захотел до кровей? И так маком горить!.. Будет влюбе тереть. Иди лучше сядь на вилошки рядком...

– Мне, па, не до посидок...

Зорким взглядом вцепился старик в Никишу.

– А до чего тебе? Далече налаживаешься?

– К заутрене...

Отец плотно сомкнул губы, подержал на сыне долгий внимательный взгляд и в раздумье повёл:

– Ме-етко попал пальцем в небушко... Так давай, разумник, наковыривай дальшь... Чего молчишь? Иль в молчанку станешь играть? А?.. Тогда я, ёлка с палкой, искажу. Хорошо песняка драть пообедавши!

– Я, па, беспременно поем, как идти...

– Вот самое то я и подступаюсь обкашлять... Да ты сядешь иль тебе надо особое прошение? Не жelaешь рядом с родителем, так по крайности садись на чём стоишь, ишшо и ножки вытяни!

Никиша покрыл острые красные плечики в веснушках рушником, как платком, и, припиная его к груди, сел на вилы локоть в локоть с отцом.

По привычке возложил отец руки на колени. Пожалуй, впервые так близко увидел мальчик отцовы руки, впервые рассмотрел, что пальцы, короткие, куцапые, похожие на крючья, изуродованы, побывав и под молотком, и в щипцах. Тяжёлые, кривые от надсадной работы руки пахли со вче-

рашнего – вчера отец пахал – потом, землёй.

– В роду у нас сытая беленькая ручка в холе за позор почитается, – в раздумчивости отпускал отец слова, безучастно уставившись в свежие мозоли на своих широких, с лопату, ладонях. – Чьи это руки? Не писарчука... Писарчук бровью водит, локтем пишет, откуле что и берётся. Да писали писаки, читали собаки... Не вора... Вор неурожая не боится, жнёт, где не сеял, берёт, где не клал... Не торговаша... Торгашик торгует бедой... Котелка с золотишком я не выпахал. А торговля куплей да продажей стоит. Чем бы я и торговал? Разь что летом ветром, а зимой вьюгой?.. У деда у моего, у родителя, помню, были такие ж чёрные руки, руки пашца... Всяк держался за сошеньку, за кривую золотую ноженьку. Худо-бедно, а сохой все наши стояли, и земля, божья ладонь, кормила... Кормить-то кормила, да нивка пот помнила. Не столь роса с неба, сколь пот с лица хорошил землю. Дед варивал, на удобренной земле и оглобля родит... Знать, и поту нашего мало... Летось выскочил недород, хлеба встали плохущие, редкие. Пошли косить. Да не мы косим, нуждица наша косит и глазу в печаль видеть: копна от копны, как Криуша от Воронежа... По весу первого куриного яйца ноне весной я рассудил: надобно ждать доброго, ловкого урожая. Намедне вот вышли в поле. Эхма, чужи дураки загляденье каки, а наши дураки невесть каки! Молодчаги!.. В огне не горят, в воде не тонут, в беде не гнутся, на печи не дрожат и в поле не робеют. Уродится не уродится, а всема гуртом, с

удалью знай пашут. Рукам горька работёха, душе праздник. Пашут без роздыха, с каждого пот в три расторопных ручья. Выжми рубаху, так потопнет, а он знай тяни сохой из нутра земли, укладывая лад в лад черней воронова крыла шнурки борозд. За вешней пашкой шапка с головы свались, не подыму. Недосуг! И бегом, бегом за сохой... А и не в честь... Сутулит мужика сошенька, золотая ноженька. Век пашешь, пашешь, а выпашешь горб да килу. Всё-то и богатствие... Податься за ремеслом куда на сторону? Ну что сторона?.. Сторона постромка, а корень наша земля, вечный наш дом земляца. Попервах кормит, а там и вовсе к себе прибирает... Понятно, перо легша сохи, да в роду так уж велось, раз грамотей, то не пахотник, потому и нечеловек. И всё ж наши самоволом, потиху правили к грамотёшке. Вон дед в глаза не знал перо. Пуще смерточки боялся пера мой родитель. В кои веки заявится становой пристав иле ишшо какой крючок из волости по какому зряшному делу, так родитель, созревшие от невозможных трудов, черканёт на нужной бумажонке чёрточку да и в сторону. Я ж скаканул эвона куда! Наловчился ту чёрточку перечеркивать впоперёк, вот тебе и мой крест! А ты и меня выпереди... Конечно, с листовала до новой травы звонил в школке в лапоть... Жалко пустого часу... Ну да ладно. Зато ты не одну нашу фамилию, пел урядник, в один присест в силах срисовать. Видал на заборе твои художества. Не бычись... Не корю... Спасибо кладу... Спасибочко! Уха и распотешил гордыньку мою!

– Я, па, сотру...

– Сотрёшь – полосну дубцом по окаянной спине. Иля ты с дурцой? Я те сотру... Не к тому я... не велю стирать. На видах у всейного мира рука кровного дитяти! Ка-ак не возгордиться?! Пускай, елка с палкой, глядят да облизываются!.. Ругать не возругаю, скажи только как ровня ровне, прямо с козыря матючок крепкий присадил? А? Из интереса пытаю. Хоть знать, чему радуюсь.

– Не руготня вовсе там... Строчка из песни «Не осенний мелкий дождичек»...

– Оно можно и про дождичек, – соглашается отец, и его лицо заметно скучнеет. – Ежель что, – ободряется он, – так не бойсе, с матерком что там и пусти в тыщи в своих заборных писаниях, только знай, не дозволю я яблочку далече закатиться от яблоньки. Что тебе батюшка да Неонилка ни поют, ты на веру не бери. Всё то вешний ледок. Соловья из тебя не выждать, голос тебе не кормилец, а так, потеха одна досужая. В твои лета я косил, волов водил на пахоте, ездил в ночное, вил верёвки... А ты с песенками не засиделся в дитятках? Вынежил какущего большуна! Тричи на день не забываешь кусать. А имеешь понятие, откуда оно всё берётся? Куском по глазам не стебаю. Но это пора б и знать. Ну видимое дельцо! Скорочко пригладить под горячий момент вихры – лестницу приставляй, а он всё, раскудря, пеленашечка. Поворачивай-ка, раздушенька, оглобельки свои к родимушке к землице. Так-то оно способней будет... Весна живо-два

слетает с земли. Красный денёчек за золотой идёт. Серёжки лопаются у берёзы, сеять час аж кричит. Ранний посев к позднему в амбар не ходит. К лешему! Никакой сёни заутрени! С братанами Иваном да Мишакой – против тебя они вдвое побогаче годами – поедешь допахивать Козий клин.

– Па, а хор? – прошептал Никиша пересохшими губами. – Хочу...

– Мило волку теля, да где ж его взять? Сдался тебе тот хор!

– Что они подумают?

– Подумают, соловейка ячменным колоском подавился.¹² Круглыми годами драл козла. Будет с тебя. Отдохни.

– Па, я хочу...

– Эха-а, что эт ишшо за мода – хочу? Сын отцу не воевода! И свою блажь припрячь куда наподальшь... А потом, я ль тебе рот зашиваю? Пой, за делом *пускай петуха* на радость себе. Вышел в поле, пускай голосину по ветру. Оно хоть и толку нету, да далече несёт.

Мальчик обмяк. Как же так? Неужели можно вот так походя разбить всё, что составляло суть его жизни? Виделась ему эта суть вроде смутной, призрачной пирамиды, в основании которой было величавое пение хора под соборными сводами с голосниками, пение, при стройных, мощных звуках которого, казалось, расступались каменные своды, отче-

¹² В пору, когда ячмень заколосится, соловей замолкает, перестаёт петь до нового мая.

го становилось как-то просторней, светлей, и невидимая могучая сила повергала на колени творящую молитвы толпу; в этом повелении мальчик явственно слышал власть и своего голоса, чувствовал себя властелином этой покорной массы во всем чёрном, клавшей поклоны у его ног. Не ради ли этих высоких минут он жил? Не ради ли них подолгу с благоговением пел на спевках, разучивал новое, спрятавшись на огороде в цветущий, словно облитый молоком, картофель?.. И вдруг всё, что пленило, тревожило душу, звало, что наполняло святым смыслом его будни, вдруг всё то внезапно рухнуло, вывалилось из жизни, как голый птенец из гнезда? Неужели все пропало? Всё? Всё?..

От сознания своей полной никчёмности мальчик заплакал.

– Эва!.. Новость подкатила на тройке с бубенчиками! Реви не реви, а расплох и могучего губит. – По значительно-нахмуренному бородатому лицу отца сразу и не понять, говорил он с насмешкой или с состраданием. Мол, раз желательна душе, так чего ж его дажно не поголосить? После слезы оно, как после грозы, человек завсегда тише, покорливее. Завсегда доволен тем, что подала судьбина. – Поточи, поточи, хлопче, слёзки, а как выйdet – дальше горе, мень слёз! – а как выйdet слезе конец, так задашь конишке овсеца, а я... подхватись-ка с вил, – отец, встав, тронул Никишу за плечо, – а я пойду накидаю на телегу навозу. Навоз, брат, крадёт и у Бога да нам даёт.

Насыпав с пупком овса в деревянный таз и поставив жеребцу, Никиша долго стоял в деннике и разбито смотрел, как в углу муховор-паук насмерть пеленал муху. Муха жужжала, билась как могла, надрывалась отлететь, чего очень желал и мальчик, но прогнать паука не осмелился. Мальчик боялся пауков.

Постепенно тугая паутина укутала всю муху, и муха, выбившись из сил, смолкла.

Весь тот день уже там, в поле, под звенящим, зовущим на пахоту жаворонком, Никиша уныло водил волов и думал о странно погибшей мухе.

Больше мальчик не пел с клироса.

Зато донельзя довольный отец теперь не пропускал ни одной службы. Теперь совсем другой коленкор, молился он не на приступках и не в проходе, как бывало прежде, а, бросая на прихожан короткие острые, удовлетворенные взгляды, продирался сквозь толпу в самый перёд; он больше никогда, даже во время чтения особых коленопреклонных молитв, не расставался с палкой своей и оттого, опускаясь на колени, с сухим, глуховатым шуршанием скользил по ней, зажатой в кулачок, жилистой рукой и, держа ею посох у самого низа, у пола, крестился другой, свободной, рукой.

В ту минуту всё в церкви было на коленях, и над всеми этими людьми в чёрном воздымалась в одиночестве высокая стариковская трость, слегка загнутая сверху на манер

вопросительного знака. Казалось, она в недоумении спрашивала, что же тут происходит?

По обычаю, старики и старухи, к кому нанялась в слуги и в первые попутчики палка, придя в церковь, ставили в угол при входе или клали палки свои на пол рядом с собой, а то и под себя, промеж ног.

Сроду не слышному, не заметному на сходках да и вообще в Криуше домашнему своевольнику Головку́ откуда только и взявшаяся вдруг барская фанаберия – не хочу в ворота, разбирай забор! – не позволяла делать то же, отчего крутой гордец, спесивец и не выпускал посоха из рук даже при коленопреклонной службе. Нацело захваченный воздаянием почестей Всевышнему, старик терял из памяти решительно всё остальное; забывал о посохе, забывал, что его не грех бы придерживать да покрепче в тот скандальный моментик, когда в самозабвении сам начинал наотмашь бить поклоны и напрочь ронял посох из левой руки, незаметно всё твёрже опираясь и на неё в благоговейно торжественных горячих поклонах; а посох, отданный силою случая самому себе, с секунду какую стоял ещё, вроде не отваживаясь и раздумывая, на кого бы его упасть, и летел со всего трехаршинного роста на кого Бог пошлёт.

А Бог посылал на головы, на плечи, на спины ближних. Далекое не посылал.

При звуке удара всё в храме вздрагивало и со вселенским трепетом, не смея оглянуться, всё же коротко поворачивало

головы и посылало в старикову сторону косые вопроситель-но-свирепые взоры.

С годами к невольным выбрыкам Головкá, у которого, по уличным толкам, враз через меру потемнело под шапкой, по-притерпелись, ловчили не замечать его штук, зато, увидав его где в проулке идущим навстречу, дёргались сразу назад или, угнувшись, круто забирали куда за плетень, в сторону, кружным путём обегая встречного.

При его появлении в переполненной церкви стар и мал в мгновение – стриженная девка косы не заплетёт – оттеснялся, оттирался от него на посох, и старик молился, иногда бывало и такое, один посреди пустого круга.

Посох по-прежнему с грохотом падал. Случалось, достав своей макушкой кого-нибудь по рукам из молящихся позади или давал раза тем, кто маячил перед глазами.

Бывало, при падении палки старик и сам от неожиданности дёргался острыми, узкими плечишками, на миг выско-чив из молитвы и пуская извинительные глаза в толпу. Но на выбеленных гневом лицах читал он одни попрёки:

«Заставь фалалея Богу молиться – ближнему лоб расшибёт!»

«Смелей! Смелей! Глупому не страшно и с ума сойти».

«По мне, так тому и быть. К Рождеству шапку я уж тебе прикуплю, а разума, наш слабоумный, не могу. Не лютуй...»

За живое хватали деда эти взгляды. Виноватое выражение вытекало из его глаз, уступая место холоду, отчуждению, ре-

шимости, и с невозмутимым присутствием духа, с уверенной, с торжествующей гордостью, как бы твердя всем своим надменным державным видом: «Не палка моя – сам Бог бьёт-карает грешника!» – старик подымал праведный посох.

Сбитые с толку криушане терялись в догадках. Чего это Головок в полную озорует волю, а батюшка видеть видит – уж не про то речь, чтоб за волоса да под небеса! – но самой малой укороты не даст, хвоста не обрежет. И не ведала ни одна живая душа, что дед держал на крючке самого батюшку, сонноглазого, пухлого. Сказывают, в молодые лета с батюшкой приключилась лихорадка. Кости-то все повытрясла, а мякоть осталась, вот он и пухлый.

Поначалу за неделю, за две под большой какой редкий праздник, а там уже и просто под какое воскресенье батюшка огородными задками правился в условленный сумеречный час в баньку к старику *выкупать* Никиту. Помолившись на угол, батюшка доставал из потайного кармана теплый штоф водки. Батюшка величивал её на свой образец: и душегрейка, и чем тебя я огорчила, и продажный разум, и дешёвая, и огонь да вода, и пожиже воды, и крякун, и распоясая, и подздошная, и заунывная, и плясовая, и горемычная, и клин в голову, и мир Европы, и пользительная дурь, и что под забор кладёт.

Выкуп сводился к тому, что принесённую водку батюшка сам и выглатывал на счёт прямо из горлышка (играл горниста), но в присутствии деда, и в этом была вся тонкость.

Осенив штоф крестным знамением и прошептав: «Под случай случайно случавшегося случая его и монаси приемлют», – батюшка по праву старшего прикладывался первым. Дед Бойка исправно считал, веря, что в счёте правда не теряется. При счёте десять пунктуальный пастырь трудно отрывался от штофа и, деликатненько разгоня белой ладошкой перед собой пьяный дух, снова шептал: «Прости, Господи, душу грешную и всё остальное разом, – и протягивал штоф деду. – Теперь ты измерь градус на крепость!»

Ни в жизнь дед не пил ничего сердитее против кваса, однако штоф брал. Скрестив ноги и картинно подперев бок одной рукой, другой деловито и со страхом подносил штоф к губам, запрокидывал головёнку, но пить не пил, заткнув бутылку свёрнутым в трубку языком и пуская в неё пузыри.

– Ты часом не тонешь? – в нетерпении наводил справку батюшка, взмахами руки отсчитывая, к слову, проворнее деда и в такт нащёлкивая себя оплывшим указательным пальцем по долгой прядке рыжей бороды.

С сосредоточенным, с мученическим выражением на лице Голово́к согласно мотал головой.

Наконец штоф благополучно возвращался под батюшкину власть и уже досчитать до десятка – для счёта и у нас голова на плечах – деду Бойке вовсе никак не выходило: с петровской долгогривый не цацкался. Выкушав хлебную слезу на лоб, то есть до капли, духовник тоскливо пихал штоф в тот же карман, откуда и доставал, и, трижды чиркнув ладо-

нью о ладонь от толстого удовольствия, чистосердечно как на духу сознавался уже на подогреве:

– Вот таковского я замесу... На полную посудину нет моих сил смотреть. Сей же мент опрокину в рот.

– Что в рот, то и спасибочко, – вкрадчивым голоском вторил дед, благоговейно, доверчиво внимательно слушая батюшкину исповедь и, осмелев – ты с бородой, да я и сам с усам, – сделал поползновение к отпущению грехов: – Как не охолостить, раз иэх! так и просится на грех!

Головок отчаянно тукнул кулачком по бревну в стенке.

– Я, – разбежался в откровениях батюшка, – не употребляю, однако, до той степени, когда поперёк глаза пальца не вижу иля чтоб из пяти пальцев не видал ни одного, а один в глазах семерил. Не-е... Я почитаю три степени употребления. С воз-держа... с воз-де-ржанием – это когда крадёшься по стенке. С расстановкой, когда двое ведут, а третий ноги переставляет. С расположением, когда лежишь врастяжку. Моей душеньке с расположением угодно-с... Принял змеиную микстурищу и – врастяжечку! Факт, не на миру. А от глаза мирского подальшь где... в родном пепелище... Дело политичное, требует умственного обхождения.

– Во какое вам строгое понятие от Бога дадено! – с завистью младенца восторгался дед, молодея и светясь от радости.

Особых горячих заслуг ни перед творцом, ни перед пастырем не сверкало в Головковом табеле, а смотри, ёлка с

палкой, какая честь. При строгом секрете, с глазу на глаз сам владыка с тобой из единой бутылки! Уважил святой отец, уважь и ты. Как не уважить?

Уходя, батюшка всегда говорил одну и ту же фразу, будто на ней его заело:

– Мир божий да пребудет со всеми вами.

Батюшка прямо не говорил, с какой стати наведывался, дед и без того преотлично знал. Едва проводив гостя за ворота на уже пустую под потёмушками позднюю улочку, старик рад-радёшенек подсаживался на низкую скамейку к Никите, тачавшему сапоги при жёлтом свете потрескивавшей керосиновой лампы с надбитым стеклом, с минуту именинником пялился на жениха-сына, лютого до всякой теперь работы.

– Ну что, Борич, попеть кортит?

Никита не отвечал.

Налегая на шило, он всем корпусом резко подавался вперёд, только что не упирался светло-русой головой в отцово плечо – Никита сидел на скамейке верхом, – и тогда старик ясно видел, как на самой макушке волосы вздрагивали и разбегались в стороны золотистым георгином.

– Молчунам работёшка ра-ада, – уветливо, с мягким сердцем выпевал старик. – Ты уж не корми на меня обиду. Оно, Никиш, счастье с несчастьем в одних санках катаются... За старание жалую... Вышла такая моя родительская воля, ёлка с палкой. Сходи в воскресенье к заутрене, чего уж там, сходи. Да не проспи мне, слышь!

Только не поймёт дед наточно, то ли примерещились ему его выбрыки на службе и поповы «выкупы», то ли вьяве всё то навертелось...

5

*Если взглянешь, душа,
Я горю и дрожу,
И бесчувствен и нем
Пред тобою стою!*

Теперь, когда известно, что за путь выпал Никите к сегодняшней заутрене, под конец которой автор таки успел застать своих героев на прежних местах, просто понять, какой вековой праздник праздновала душа у парня. Праздник был во всём: в каждом взгляде, в каждом звуке, в каждой веснушке; Никите чудилось, праздник вливался ему в душу и из высоких окон яркими солнечными полосами разгорающегося дня.

На Руси не только беда боится одиночества и в одиночку не подсаживается ни в чьи сани, оно и радость в одинарку не живёт, не ходит по людям одна. Думал ли Никиша, что возвращение на клирос хоть на миг сведёт его с этой девушкой из толпы? Он не знал ни её имени пока, ни кто она, ни откуда она. Боже правый, да это ли главное? Главное, она здесь, главное, её можно видеть, можно ласкать взорами, что он и делал; до этой поры он с какой-то безысходной отчаянностью избегал девушек, был с ними всегда замкнутый, на-

пряженный и обязательно пёк рака (краснел).

Полю смущал этот прямой и в то же время хитроватый, с прищуром взгляд; однако она не пряталась, не сводила с него свои большие хорошие глаза – и через большие глаза, и через маленькие любовь одинаково быстро входила в сердца. Полю восхищали в парубке его особенность, его исключительность. На возвышенке он был посреди самой выдающейся вперёд её части, как бы в начале клина, разбивал стоявший полукругом хор на два крыла и одновременно собирал воедино и держал эти крыла; ей казалось, он был тот центр, та наибольшая сила, по воле которой всё сейчас вершилось тут, под сводами, что именно вокруг него всё идёт, что единственно им одним всё восхищено, как и она. Среди её сверстников никто у неё не пользовался таким вниманием. Ближе других она знала Горбылёва. Но кто такой Горбыль? Голозадый босяк, как говорит батько. А вот про *Него*, думала Поля, набожный батечка ничего такого худого-кислого не посмел бы выворотить.

Служба с песнопеньем, с ладаном, с молениями шла к концу; и он, и она с тревогой подумывали про то, как встретятся, что скажут друг дружке и как скажут. Может, думал он, выйду, а она в сторону и прости-прощай всё. Она же, напротив, была уверена, что он непременно подойдёт к ней сразу после заутрени.

А между тем служба кончилась. Народ выдавливался на улицу, но не уходил. Был воскресный день роздыха. Люди

встречали родню, знакомых. Каждому горелось обменяться словом, дело утолковать какое, а может, просто позвать кого к себе на обед.

На площади перед церковью люди за разговорами лепились в кучки.

Поля поискала глазами тётушку. Тётушка не попадалась. Это было и хорошо, и не очень, потому что переглядушника – может, его Поля искала больше тётушки, только боялась в том сознаться самой себе, – переглядушника тоже нигде не было и ей почему-то вдруг стало стыдно; только теперь она начинала понемногу просекать, какой то был срам – в такую высокую минуту затеять переглядушки с чужаком, который, казалось ей, сейчас вот ржёт где в кружке таких же охальников и на все лопатки выхваляется, как он во время службы амурничал с незнакомой козюлей.

Поля угнула голову в плечи и смято побрела было к тётушке домой, как вдруг какая-то неведомая сила поворотила, заломила ей лицо на сторону. С плеча она увидела, как *он* махал ей рукой, будто говоря, ну куда же ты, куда, и вприбег боком протирался в выходе сквозь толпу, стремительно разрезая её, точно нитка масло. Не добежал до неё шагов пять, бесшабашно кинул:

– Э! Здорово! А ты из какой деревни?

Сказано это было варяжисто-дерзко, совсем в духе прилипчивых криушанских юбочников, внавязку дававших Никите «уроки любви»: «Чем нахрапистее будешь с маняткой,

тем надёжней. Начнёшь голубиться – засмеёт и под нижний бюст ещё киселька плеснёт. Напор, напор и ещё раз пан напор – и ты в дамках у мадамы!»

Невесть зачем Никита взял чужой тон и с первых слов своих поймал его фальшь. Густо покраснел, потерялся. Выжал уже негромко, с запинками:

– Так... из... к-ка-кой?..

Слетела с него чужая блёсткая чешуя. Теперь вот в новом его вопросе она развитым женским чутьём угадала в нём его таким, каким он и был во все будни: неуверенный, боязкий, оттого и первой руки скромник. У такого, подумалось ей, наверняка в душе не постоянный двор для девок, однако ответила с вызовом:

– Я з города Собацкого! – Она улыбнулась тому, что хуторочек свой возвела в чин города. – Так шо знай, разходишь в интерес.

Даже не догадавшись, точнее, даже не осмелившись назваться друг другу, стояли они посреди площади и, потупившись, не знали, о чем и говорить. Плутовато поглядывали на них прохожие, улыбались в кулачок. Молчание становилось невыносимым.

– И что? Так и будем стоять, как на привязи? – досадливо спросила Поля.

– Знаешь...

– Скажешь – буду знать.

– Знаешь, можно посидеть... Да! Посидеть! На качелях!

Пойдём покачаемся! А?..

В его голосе была робкая и настойчивая мольба пойти на качели. А в селе, где всяк друг у друга на видах, показаться миру напару ой как много значит. Это значит в открытую заявить, что вы не просто повенчанная, коронованная случаем на малое время парочка – вот-де не было кого другого до пары на доску, так мы и сели, нет, – тут вовсе никакая не случайность и отважится на такой шаг лишь тот, кто твёрдо осознал свои намерения: объявившись вместе, вы наживаете вечную печатку жениха и невесты, а потому случайности бездумной никто из молодых не попустит; и уже само собой разумелось, раз девушка соглашалась, шла на уступку, так уже и парень знал, что её склонность к нему не призрачный дымок, и тогда он уже хоть немного мог рассчитывать на взаимность. Никита очень хотел, чтоб Поля пошла с ним не думая, вот так без затей взяла и пошла, и это был бы лучший знак верной, надёжной симпатии с первой минуты; ему так хотелось этой искренности, этой верности, этой святой казачьей доверчивости, равно живущей как в мужских, так и в женских сердцах, ему так сильно всего этого хотелось, что в какую-то секунду он уверовал, что девичье расположение уже завоёвано и оттого шёл к качелям в скверике если не решительно, то уж во всяком случае не боязливо, и в его голосе теперь была не только просьба, но и проскакивало какое-то тихое повеление, что ли, мол, чего же ты мешкаешь, ну же; и эта повелительность ещё заметней сквозила

во взгляде, хотя внимательный глаз мог бы уловить, как она, повелительность, переходила то в мольбу, то в укор, то в досаду, то в упрёк и в тысячу других живописных оттенков, составляющих надежду и тревожную радость впервые влюблённого сердца.

Его желание непременно на виду у празднующего люда явиться союзом, вдвоем на качелях передалось и Поле, и доверчивая Поля пошла с ним рядом, осмелев его смелостью, удивленная и несколько обрадованная его зыбкой радостью; ей вовсе не хотелось меньшеить эту радость, она сама её ждала, не заботясь о молве. Потупив взор, Поля шла медленно и не заметила, как Никита на миг выступил вперёд к лоточнице и тут же протянул Поле большой, на две руки, толстый кулёк с пряниками.

– Это те гостинец...

Щёки у Поли вспыхнули. Никто из парней ещё ничего ей не дарил, она не знала, как поступить с подарком, боялась притрагиваться к пряникам и несла, краснея, кулёк в обеих руках, как носят младенцев неопытные родители, высоко оттопырив локти. У качелей Поля положила кулёк на скамейку, прикрыла его косынкой своей и стала на доску.

Первый ветер в лицо, первый рывок земли навстречу, первый захват душ – удивительное счастье качели! Молодые стеснялись смотреть друг другу в глаза, они смотрели на небушко, каждый высматривал свою звезду, пропавшую под первыми лучами солнца, но несомненную, бесспорную,

как неоспорима, как очевидна всякая дорогая сердцу вещь, спрятанная вами дома, и вы в любую минуту можете придти взять её и знаете, что сможете взять; так и они знали наверное, что подкатит вечер и их звёзды привяжутся к ним.

На самой вышинке, где Никишин край доски останавливался на какую-то малость, парень с силой приседал, вжимал в доску новую силу, и уже в следующий раз она подбрасывала их ещё выше. Сверху он не видел ничего кроме неё самой, но и потом, летя вниз, невольно подмечал, как тот клочок неба, куда смотрел, стремительно перечёркивали сверкающие на солнце розовые радостные колени, платье, с сухим треском дразнившее ветер, и парень трудно утягивал горячие глаза в сторону.

Неловкость начала знакомства растаяла. Никита освоился, мёртво и жадно смотрел Поле прямо в лицо, смотрел так, как там, в церкви.

– А знаешь, – заговорил белыми губами, – про что я думал, когда увидал тебя с клироса?

– Про шо?

– Будь на то моя воля, взял бы на ладонки на вот эти и унёс бы на край земного берега.

Поля тихо улыбнулась одними глазами:

– Не далече ли?

– Такая власть в тебе надо мной... Как с рельсов сошёл.

– Цэ уже здря. Чего так убиваться? У меня ж е хлопчина.

– Удивительно было б, не будь у такой у хорошки уха-

живателя... И я не пень еловый... Валенок я твёрдочелюстный... Что б ты ответила, скажи я про сватов?

Поля обиделась.

– Теперь вот бачу, соскок ты з рельсов. Не во вред хоть бы через раз думал, шо ляпаешь. В первый же дэнь такие насмехи строить? Сто-ой!.. Звать не знаешь как, а про сватив помело точишь. Да ну стой же!

– Да что звать... Узнаю ещё...

Едва доска сгасла в движении, Поля прыг наземь, сдёрнула с кулька косынку и пожгла прочь.

Никита еле догнал её.

– Ты что, засерчала? – убито пролепетал он, прерывисто дыша.

Поля молчала.

– Может, ты мне что скажешь?

– Чего ж не сказать... Пойду поклоняюсь тётке за хлеб-соль, а там и до дому, – резнула холодно.

– Можно, я провожу тебя?

– Богатого спровожают, шоб не упал, а вора, шоб не украл. Ты зачем лабунишься меня провожать?

– Не знаю, – потерянно прошептал Никита. – Так... Мы с тётушкой с твоей в соседях. Я увижу в окно, как ты пойдёшь в Собацкий, выйду. Ладно?

Поля повела плечом.

– А мне-то что... Раз охота... Раз нашла такая линия...
Смотри по себе.

Поля и впрямь думала наскоро распроститься с тётушкой, но тут ей повезло как утопленнику. Тётушка снова усадила её за стол, хотя Поля и твердила, что есть вовсе и не тянет.

– Видали, ей не хочется! – разобиженно выговаривала тётушка, доставая из печи тёплый горшок с мясом. – Намедне батюшка эвона безо всякой охотушки целого гуся уложили. А тут одна ножка... Да кисельку на дорожку лизни, размочи молодую требуху. Гораздо ль места надобно? Поищи-ка, вострушка.

На ласковую просьбу Поля ответила безвыходной улыбкой и к удовольствию тётушки сделала здоровенный судорожный выдох, долженствующий означать, что место и для курятины и для киселя высвобождено, и взялась за еду.

Тётушка с вязаньем подседа к изразцовой печке, пришатнулась спиной к нагретым плиткам.

– А ты, Полька, девка хват, обдери те пятки. Какого малого поддела на уду!.. На лицо нескладный, а характером хороший!

– Вы про кого?

– Про кого ж ещё. Про Никишку! Парубец на усу лежит. В возраст, в возмужание входит. Там, девка, не парубок – золота оковалок. Ладён... Не пьёт, не курит... В церкви сама слыхала, ка-ак поёт божественное. На него вся Криуша чуть ли не молится. Вся Криуша тольк и ходит послушать Никишу... А в поле! Как меринок ворочает! И пахать, и сеять, и

убирать – лад-то во всяком деле у него какой! И дома груши не околачивает, не ходит по дворам щупать галок из девятого яйца. Черевики сшить – сошьё, ведро, колесо ль сбить – собьё, масла сколотит... Ло-овкой малец. Блоху и ту взнудает. К чему ни притронься, всему ума положит. Ну весь же из ума сшит!.. А старики какие! То-олсто живут, на широко-ножку ножку. Это у меня скотины, что лягушки в яме, а у них тама и кони свои, и быки свои, и на Криуше своя мельница хлопочет. Пускай и не ахти какая громада, в одно колесо, а ничо, большей в хозяйстве и не надобно. А новый домяка тама какой! А сад! И что первейшее – ни одного работника, всё сами, всё своим горбиной вывозят... Хорошего корня парубчина. Обходительной, мягкой по нраву, слухняный. Это, скажу тебе по-бабьи, чистэсэнский клад в семье. Загнала под башмак и дёржи в струне. Эсколь хошь верти из него всякой картошки – ты всегда права, за тобой всегда большина! А потом... На харчи не спесивый, просто-ой. Жернов всё мелет. Другого такеичкого поискать... Во-от достанется кому – с краями полный век счастья! Бежи, не промахнёшься!

– Ну да! Приставушой, неотвязный... У Бога кобылу выпросит!

– Не журись особо. В хозяйстве сгодится... С летами молодое пиво уходится. А пока молодчага непромах, ухвати-стый.

– Оно и видно. Первый раз бесстыжа баче человека и да-

вай про сватов молотить!

– Умно! Головки нигде не теряются!

– А кто эти Головки?

– Оё! Ну голова ж я и три уха! Да я ж совсемушка забыла тебе досказать... Головки – это ж Никишка твой! Это ж их так по-уличному... На нашей Ниструговке они Головки и Головки... Головастые значится! А самого, Борис Андреича, кто называет дед Бойка, а кто и проще – Головок. А самое чудное – вы однофамилики! Вы Долговы и они, – глянула в окно на соседский двор, – и они Долговы. Это не шутейное дело. Это сверху... От Бога... Боженька вас свёл в божьем месте... Божье дело варится... Ты должна хорошенечку подумать...

– Ох, тётя, думаю. Аж голова репается! – отмахнулась Поля.

– Ты-то ручонками не маши. Ты думай. И делай, как делают умные люди. У тебя Никишина примерность перед носом лежит... Добрый пример... С первого взгляда парубок оценил! Наравится, на глазу киска – чего попусту воду лить? А ты-то что?

– А я говорю, не горячись сильно. А то кровушку взапортишь.

– С больша ума бухнула! Да-а, девонька, коса у тебя до пят. А всё одно без ума голова – лукошко. Ну блажи у тебя, Полька! Ну на весь Собацкий! Ещё и на Криушу достанет-

ся. Да нашей ли сестре фордыбачиться, обдери те пятки? Не кусать бы посла локоточек. Ну, разбери по уму, чего его кочевряться? Ломайся не ломайся, а упрямилась нитка за иголкой, да протащилась. Иля, може, он тебе не по вкусу?

– Какой-то беласый¹³... Так оно вроде и ничо, да ростом бедняк. Не выше ж петуха.

– У-у! Тожа мне дамка из Амстердамка! Балабайка чёртова! Совсем ухаяла парубка! Не выше петуха... Что ж он, совсем какая камагорка? Ну невысокий. Так про то ни речи. Но не петух же! А что ж тебе надобно два аршина да три палки? Собак на ём резаных вешать иле звезды им сшибать?

Поля кончила есть, молчала, соглашалась внутренне и не соглашалась с доводами тётушки, но не выказывала открыто несогласия, чем тешила тётушкино самолюбие.

– А у него, тётя, кабы сказать не сбрехать, – припоминала Поля, – и уха смешные... Ушастик...

– Оглянись, коза, на свои рога! Ты-то у нас, всеконешно, раскрасавка. Только б хорошо к этим глазкам ещё и головку помозговитей. А то там им, двум фонарям на пустой каланче, цена невеличка. Чего уж слова терять впусте, некрут наварок.

– Уж какой ни есть, а весь мой. Не бойтесь, в окно гляну, конь не прынет со страху.

– Хорохоришься всё, девойка... Иле думаешь, красивую жену в стенку кто врежа? Неа, не врежа ни один супружик...

¹³ **Беласый** – белобрысый.

А за умным хозяином и хозяйка – хозяйка. Чем отшивать такого уважителя, лучше б, кавалерка, подумала про приданое своё. Что там у тебя? Гребешок да веник да с алтын денег найдётся?

Поля не отвечала.

Ей осточертела эта бесконечная болтушенция, пустая, нудная; она уже мялась у двери, не смела прервать тётушку, но и не смела уйти вот так, не попрощавшись. Такой вольности со старшими ей не попустят ни дома, ни в людях где, и она, переминаясь с ноги на ногу у порога, покорно ждала, пока тётушка не смолкнет. Однако тётушке, по всему видать, трудно было даже остановиться, поскольку пружина на такой разговор крепко была в ней заведена до бесконечности. Так, по крайней мере, казалось Поле. Своё заключение девушка вывела из того, что тётушка говорила как по пальцам, гладко, слова лились из неё однозвучно, ровно, будто из вечного родника.

Неожиданно тётушка затихла. У неё пересохло горло и пока пила она кисель, начисто потеряла нить слов своих. Это даже как-то напугало её. Она конфузливо морщила и без того морщинистый лоб, силилась вспомнить, что ж такое тренькала, но никак не могла вспомнить, и тогда спросила Полю, на чем она заглохла. Поля окончательно спихнула её с мысли, почти выкрикнула, боясь не выпередить её:

– Вы собирались проститься, тётя!

На удивленье, тётушка как-то послушно положила сухие

руки Поле на плечи. Женщины расцеловались, расцеловались трижды, после каждого поцелуя коротко отстраняясь верхом и словно бы любуясь в восторге друг дружкой.

Минутой потом тётушка приникла к окну, следила, как Поля улочкой шла в сторону большака. От страшного любопытства у тётушкихватило дух, когда Поля едва поровнялась с высокими тесовыми воротами соседскими. Пойдёт не пойдёт, пойдёт не пойдёт, гадала тётушка, сторая от ожидания. Она чуть не вскрикнула от изумления, когда всё из тех же ворот воровски выдернулся Никиша и понуро качнулся считать девчачьи следы, не смея ни окликнуть Полю, ни духом нагнать её.

– Эй-ге-ге-е! – зацокала тётушка языком. – Не замёрзнет лавочка наша с товаром, поцелуй тебя комар!

Молодые шли локоть к локтю в тягостном молчании, будто шли они на кладбище к кому самому дорогому, погребённому в их отсутствие, и теперь каждый, казалось, думал про то, что скажет перед свежим ещё холмиком.

На околице Поля остановила шаг.

– Ну а дальшь, – она посмотрела на синий вдали за полем лес, куда вела её дорога, – не треба. Надалшь я сама...

– А что... если я... приду к вам на лужок?¹⁴ – нежданно для самого себя в тревоге выжал Никита и осторожно, бережно глянул на Полю.

¹⁴ **Лужок** – молодёжное гулянье на улице.

- А я разь запрещаю? – уклончиво ответила Поля. – Ваши криушанские табунками к нам на гармошку надбегают.
- А ты-то бываешь там?
- Пустячь батько-матирь, приду часом.
- Ты так надвое говоришь...
- А натрое я не умею.
- Даве вот ты, – мучительно, журливо говорил Никита, – сказала, что я не знаю, как тебя и зовут...
- И назараз то же в повтор скажу.
- П-Поля...
- Стороной где прознал?
- Зачем же стороной? Ты ещё говорила, что вижу я тебя впервые...
- Ну второй раз за сёни.
- В тысячный! Иль ты совсем забыла прошлое лето? Больная тётка... совсем плохая... Сам, старик её, пас скотину, так ты полных три месяца одна ходила за тёткой, и был ли день, сприси, чтоб не видал я тебя? Я часами лежал по сю сторону плетня, наблюдал, как ты в летней кухоньке готовила, как стирала под яблоней, как... Это ты не видишь людей... И невжель ты серьёзно думаешь, с кислой лихоманки пошёл я плести про сватов?

Напряжённно, подломленно Никиша смотрел Поле прямо в глаза.

Поля не вынесла этого взгляда отчаяния, растерянно заморгала. Вовсе не понимая, как это за ней следили всё да-

вешнее лето, зачем это кому-то нужно было, она глухо выдавила:

– С лихоманки, не с лихоманки... Тебе лучше знать. Только тутечки большина, остатне слово, не за мной... У меня ще батько-матирь е...

Поля сострадательно улыбнулась одними губами и медленно побрела по дороге. Она б наверное не воспротивилась, насмелся Никита и дальше провожать, но её слова «Надальшь я сама» стояли у него в ушах, не давали ему силы сделать хоть шаг в её сторону.

«Ты не велишь мне больше провожать тебя, да песне-то ты не запретишь этого».

И он запел – как заплакал:

– Нехай так, нехай сяк,
Нехай будэ гречка.¹⁵
Не дала мени словечка,
Нехай будэ гречка...

Степной ласковый ветер то услужливо подносил, то тут же со злобной игривостью отбрасывал жалобные слова парня. Поля в грустной печали вслушивалась в них, по временам останавливалась, задерживала дыхание, чтоб ясней разобрать, но это давалось ей всё трудней; с каждым шагом голос падал в силе от растущей дали, слова дрожали в моло-

¹⁵ **Нехай будэ гречка** (украинское) – пускай будет по-твоему.

дом весеннем воздухе всё размытей, всё глуше.

Апрельские ручьи будили землю. Давно уже грач зиму расклевал – вешним паром отогревались, отходили вокруг поля, под жарким по-июньски солнцем прела пашня.

Поля думала про то, что вот уже вербы у речки, петлявшей вдоль дороги, разрядились в жёлтые пуховые шали, и жирная, сочная полая вода крушила в Криуше, в ериках берега; думала про то, что вот с наступлением тепла уже веселей кудесничалось¹⁶ матери: под шестом сверчок пел песни ей.

Со степи дорога взяла вправо, в березняк. Хотелось пить. На счастье, у обочины добрая рука повесила на сучок высокую березовую кружку, повесила нарочно. Пей, путник, сколько твоя примет душенька! Кругом стояли без счёта дубовые цыбарки. В те цыбарки не то что капал с лотков – лил ручьём, журчал сок. Куда как много, гибель его из березы бежало, пророча дождливое лето.

Уже вторую кружку допивала Поля, как где-то за спиной она явственно слышала перестрел сухих сучьев. Однако значения никакого не придавала. Ну да мало ли кто мог там быть! Птица, может, какая тяжёлая села на сухой сук и тот, подломившись под ней, летел вниз, ломался и дробился о голые, ещё не в листьях, ветки с набряклыми почками; может, зверёк какой мелкий в погоне за добычей прошил гору валежника. Скоро потрескивание слышалось совсем рядом. Полю подпекло обернуться на шум – горячие сильные ши-

¹⁶ **Кудесничать** – заниматься приготовлением пищи.

рокие ладони закрыли ей глаза, до боли заломили голову набок. Она криком закричала на весь лес – звонкий поцелуй ожёг ей полные тугие губы.

– А-а!.. Пресвятая душенька на костыликах! Вот те за все муки мои!

Сергей прочно обнял девушку, потянулся за вторым поцелуем. Поля резко дёрнулась вниз, вывернулась из кольца железных лапищ и что было мочи огрела прокудника дном кружки по лбу. Он отпрянул за дерево, прикрыл лоб гробиком ладони.

– Мда-а, – зажаловался, – играешь с кошкой, терпи царапины. Если б одни царапины... Слушай! Точно вот так штампуют инвалидов четвёртой группы. Варакушка,¹⁷ да ты что! Неужели я сюда за столько верст лишь за тем и пёрся, чтоб в благодарность за моё усердие схлопотать по лобешнику?.. И-и-и... Рискованно целовать молодую тигрицу... Не знаешь, как ответит...

Глаза у Поли налились обидой.

– От кобелюка! З цепу зиррався? До смерточки ж выпужал!

– Подумаешь, трагедия двадцатого века. Поцеловали! Не бойся, поцелуй дырки не делает. А если тебе его жалко, так на́ его назад! На́! Мне чужого не надь!

Шельмовато похохатывая, будто ронял горошины молодого баска, Сергей ладился опять обнять девушку – крепкий

¹⁷ **Варакушка** – певчая птица, «свояченица» соловья.

огрев лозинкой по пальцам вытянутой руки заставил его судорожно вздрогнуть, отступиться.

– Хох, какая ледяная решимость... Ну чего ты вся из себя... – шёлково подсыпался Сергей. – Прямо дышать нечем... Гордынюшка так и распирает её. К чему этот спектаклишко? К чему коготочки выпускать? А? Ну!.. Варакушка, не глупи. Вокруг ни души... Никто не видит...

– А сами мы шо, нелюди? Зверьё разве якэ? А совесть не бачэ? Не бачэ? – В ярости Поля кинула кружку на прежний сучок, выхватила из-под ноги корягу.

Сергей глубокомысленно почесал в затылке.

– На кого с дубьём? А?.. Позвольте, Полина Сердитовна, помочь вам нести вашу палицу. Не убивайте во мне светлые порывы, пожалуйста палицу, – с игривой вкрадчивой учтивостью канючил парень. Втайне он надеялся хоть вот так завладеть грозной суковатой палкой и смиренно, просительно и не без опаски протянул обе руки принять её.

Казалось, Поля не слышала ни его пустых слов, не видела ни его в услуге простёртых рук. Помахивая перед собой в нарочитой небрежности кривулиной, она перепрыгнула через канаву и пошла по большаку.

Сергей поскрёбся следом.

– Приходи сегодня на улицу на Середянку. Я балабаечку возьму... Потрындыкаю...

– И не забудь выпросить у сеструли Анютки чем подрумянить щёки? – колковато кинула она.

– Для тебя для одной чего ж не подрумяниться?

– Мне без разницы...

– А я дурило думал, обрадую, – с досадой и вместе с тем с какой-то зябкой надеждой удручённо пробубнил он. – При-мчался вчера к нам Егорка со своим солнушком ну и вывали, где ты, что ты. А дело к сумеркам. Я вперехватку и кинься на рысях в Криушу. Прождал в Кониковом леске¹⁸ до звёзд ясных... Сёне с зорьки дежурю... Все ножульки отходил... В стаду не пошёл вон!..

– Ка-ак не пошёл? Ты ноне череду¹⁹ не пас?

– Пасу вот. Тебя.

– Шо люди скажут?

– Эти кулачики? Для них у меня пасёное словцо за щекой.

Плевать! Отъём один круг²⁰ да и шатнись по найму к другим!

– Ты такой пустодыря?

– Поляха! Ты на меня особо не косись... Я, может статься, ещё в институтцы впрыгну!

– Ты? У тебя ж в кармашке тилько три классы!

– Эка печалища! А я заочным бёгом и школу добыю, и до институтского дипломища докувыркаюсь. Так что цени! А ты...

– А ты, последуш, правь иль большаком, иль стёжкой. Тилько не топчи следы мои. Выбирай.

¹⁸ По рассказам старожилов, в Кониковом лесу когда-то жили дикие кони.

¹⁹ **Черета** – стадо крупного скота.

²⁰ **Отъесть один круг** (о пастухах) – обедать поочерёдно у хозяев.

Поля стала у развилки, откуда и той, и той дорогой можно было попасть в Собацкий, чуже ждала, когда Сергей пойдёт вперёд, чтоб потом и себе пуститься другим путём. Но Сергей не уходил, примирительно, извинительно выжидал в надежде, что что-то изменится, вовсе никак не верил, что может быть что-то иное в их отношениях кроме торжества его воли. Он не хотел иной дороги, где рядом с ним не было бы Поли. Поля же стояла совсем какая-то зачужелая, совсем не та, что вчера у криницы. Сурово поджала губы, глаза безучастные. Сергей чутьём угадал открывшуюся между ними пропасть, разом сник.

– Не, – медленно, тяжело повела она головой из стороны в сторону, – не жди. Не ходить одной нам дорогою...

Ей надоело ждать. Она ходко взяла стёжкой. В гору. Так было ближе.

Сергей побрёл за нею.

– Так кому я – ветру сказала? – Поля снова остановилась. – Лошадь за делом, а на шо лошаку бежать вследки так? Да не приведи Господь кто из наших, из хуторянских, побаче нас напару – неславы довеку не оберёшься. Ну на шо такие игрушки?

– Увидят не увидят... Это всё ещё в волнах... А тут вот это благоприобретение... Это солнушко... – Сергей с заботой, осторожно обвёл пальцем просторно севшую на лоб шишку. – Это архитектурное излишество мне как-то вовсе ни к чему. Как бельмо на глазу.

Поля усмехнулась уголками рта.

– То пчёлка меду дала, какого ты и хотел... – И взяла голос поостроже: – А увяжешься за мной, ще разживёшься медком!

Невесело, через силу улыбнулся Сергей, скрестил руки на груди и с грустью смотрел Поле в спину, покуда не пропала девушка за возвысьем из виду.

Цепкие беспокойные глаза уже не могли отыскать-догнать за горизонтом девушку, а он всё стоял и в тоске думал, отчего же всё так нелепо крутнулось. Насколько он понимал, каждый давешний взгляд Поли сулил высокую радость от уединения. Он ждал, долго выжидал случай, нарочно подгадывал тот момент золотой, чтоб сойтись в лесу с Полей одним-одним. Но вот быть-то были одним-одним, а вылепилась какая-то грязь. Ему стыдно стало всего того; в смятении благодарил он судьбу, что ничего особо худого у них не выплелось – и слава Богу.

6

*Вдруг сердечко пылкое
Зажглось, раскалилось,
Забилось и искрами
По груди запрядало.*

На неделе, в среду, Владимир подпылил на своей бричке за семенной гирькой, и Олена насыпала такой ворох новостей, такой ворох пьянящей радости, что у него едва не подломились ноги. Он только на то и нашёл силы, что сгрёб картузишко с головы да и хлоп им об пол.

– Грай, музыка, а то струмент побью! А! Полька! Я думал, она у меня ни куде, ни меле. А она... Ит ты! Говорила ж душа, не чета горбыльский бычок! Сам гол, а руки в пазухе... Ха-ха-ха! Оставайся, Горбуля, как рак на мели да хоть землю гложи! Мне-то шо за печаль?! Девку мою в богатский дом манят. А коли так, так и пышку в мак! Вот моя на то согласность! – Володыша воображаемой иконой перекрестил воображаемых жениха и невесту, что стояли перед ним на коленях в ожидании благословения. – Да, да! За этого за твоего Никитку я с большим сердцем отдам и душа не боли!

Олена привыкла ко всяким житейским разностям и никак не ожидала, что весьма обстоятельный её рассказ про жениха

так живо примет Володьша. Неистовый его восторг несколько пугал её.

– Быстро ты, Вовуня, выпихнул не гляючи. А Полька пока молчит? Или как?

– Молчит. И хай молчит! Ит ты, говорить буду я. Я свою Сашоню увидал попервах под венцом. Повезли нас родители в церкву, никто не спросил, ну як ты, Володушка, довольный? Никто! А невжеле я испрошу? Невжеле я испрошу её соизволения? А этих пять братьов, – Владимир потряс кулаком, – она у меня видала?

– Угроза не подмошница. Хоть бы для блезиру спросил. Ведь не ранешние, не старопрежние времена.

– Смалкивай, глуха, меньше греха... Ох и сказанула, як в лужу ахнула. Ну и шо ж из того, шо новые времена? Девка-то моя! Ка-ак ни вертану, а с отчётцем в том не побегу ни кому.

Минуло полных семь дней.

Однако желанный парубок отчего-то всё не казал носа, и Володьша сам побежал на поклон в Криушу, засуетился полегоньку наставлять свояченицу уму, как его половчей подкатить колёсушки к женишку.

– Оё, Вован, что ж ты старую кобылу учишь, как овёс жевать? – обиделась Олена. – Да я на этом овсе все четыре умных зуба стёрла! Не паникуй, блинохват, – отойдя от обиды, она со сладостью в голосе хватила заверять гостя, что всё бу-

дет исполнено в наилучшем духе, и Володьше, и ещё больше самой напрашивающейся в свахи Олене нравились её клятвенные заверения вернуть парня под начатое начало, напомнить ему хорошенечку про всё и если понадобится (а это понадобится обязательно, в этом никто из них не сомневался), помочь ему советом, а равно и делом – одно слово, деликатная беседа с бесконечными развернутыми уточнениями во всех подробностях выскочила на радость обоим просторная, они с медово-сладкими лицами засиделись за ней так долго, что Володьша поехал назад совсем в ночь, уже при звёздах, улыбочивых, весёлых. И чудилось ему, что «звезды висели на светящихся нитях».

На следующий день, в четверг, Олена встала разом с солнцем. Для апреля слишком поздно. Вставала она в обыденку, когда ещё черти не играли в булку.²¹ До восхода солнца.

– Ах ты и сатаниха! – честила себя бабка, промокая и протирая слезливые со сна глаза сжамканным углом платка. – А! Чтоб тебя совсем!

Без обычной проворности хлопотала она по дому так, что оторви да брось, и была тому причина: почти всё утро проторчала то у окна, то на приступках, с цыпочек засылала глаза поверх высоченного забора к соседям на подворье. Выис-

²¹ **Булка** – деревянный шар, употребляющийся в игре того же названия. Шар гоняют палками по льду. Что-то вроде хоккея.

кивала Никишу. Она уже и не чаяла увидеть его сейчас. Рас- судила, что он уже в поле где. А он вон пожёг с уздечкой к деннику.

– Никиш, а Никиш! – молодо заподпрыгивала на поду- шечках пальцев, загодя тайком вкинув пустое ведро в коло- дец. – А заверни сюда, ласка, на минутыньку! Подсоби горь- кой горюхе, подсоби-и, – клянчила с жалливой настойчиво- стью.

Никита бросил уздечку на кол в плетне, вошёл к ней во двор.

– А горя-то какоющее... Ведро окаянное с цепу сорва- лось. Утопло. На́, приятка, – старуха подала ему багор, – по- ищи... А горя... С вечера не пимши... В доме ни водинки...

Край некогда Никише. Но раз соседка примирает без во- ды, как не помочь? Спустил он багор в колодец. Лёг на осиновый сруб, зашарил по дну, вслушиваясь в колодезную тьму. Рядом на венец припала сухой, выморочной грудкой бабка, свойски вшепнула в ухо:

– Передохни́. Потом примахнёшь.

Никиша скосил на неё удивлённые глаза.

– Я ещё не устал... А чего это Вы дедушку Василька бои- тесь заставить поковыряться в колодце?

– А где тот твой Василёк? Или ты не знаешь? Гляди, разо- спалсе там, в певчей. Тепере допрежь обеда не жди, поку- душки батюшка кадиллом не подымут. Он жа, Василёк мой Борохван, – воистину вот боровок! – как говорит? Я стерегу

церкву, а Господь стерегё покой мой. Так что он с Богом до полудня не распростится.

Никита крайком уха слушал бабкин треск про её мужа, церковного сторожа, и добросовестно толочся вокруг проклятущего ведра, по бокам которого глухо, коротко раз за разом чиркал багор, а взять за дужку всё никак не выходило.

– Ты, Никиша, – вкрадчиво пела под руку бабка, – не таись меня. Я не слепая, вижу всё как есть. А раз так, то я и видала тебя с Полюшкой. У меня с ней знаешь, какой разговоришко спёксе?

– Да? – Никита толкнул багор в угол сруба, мягко взял старушку за локоть. – Что же она, бабушка? Говорите! Ну...

– Спервоначалу доложь сам. Серьёзко ты к ней иля так, на два огляда, на одну мазурку? Проплясал да и к свеженькой конфетке?

– Тоже скажете! Я-то её с прошлого лета знаю. Да что! Оченько нужен ей такой страхолюд.

– Какой жа ты страхолюдец!?

Старуха картинно упёрлась кулачками в бока, весело и пристально смотрит, как бы оценивает, в самом ли деле страшен Никиша, и ничего кислого в нём не находит.

– Какой же ты страхолюдец!?! – сердится она. – Это чего ты на себя наносишь? Это на что ты себя в грязь топчешь? А? Да ты, Никитарчик, любой девке сладкое поднесение! Вот мой истинный крест! – Бабка с вызовом и с достоинством перекрестилась. – Выкинь из головы, забудь своего страхо-

людика. Думаешь, отец с маточкой не отдадут?

– Бабушка, – опало вполголоса проговорил Никита, наклоняясь в угол сруба к багру, колом выпирал из сумерек колодца, – да она сама ввек не потянет мою сторону.

– Не знаешь ты наше бабье племя. Ах ты, горе дитяtko... Ну коли так... Один у нас с тобой блин на двоих и той напополамки ломай. Одна ж заботушка! Я знаю слово. Ты скажи его на три зари: на утренню, на вечерню, на утренню снова. Попробуй запомнить это слово. Не запомнишь вдруг, я повторю ещё. Слухай... «Встану я, Никита, на утренней заре, на солноходе красного солнца и пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, на восточную сторону, в чистое поле, – монотонно, уныло загудела бабка. Очарование, испуг подступили к сердцу, Никиша приворожённо остановил дыхание и снова оттолкнул багор. – В том чистом поле гуляет буйный ветер. Подойду я поближе, поклонюсь пониже и скажу: «Гой еси, буйный ветер, пособи и помоги мне закон получить от сего дома, и взять кого я хочу, и у того бы человека, Пелагии, ум и разум отступился и на все четыре стороны расшибся, а ко мне бы приступился и ум-разум домашних, судьбы наипаче кого хочу получить, и перевалились бы и отошли бы ко мне все ея мысли, и охоты, и забавы, и все бы их вниз по воде унесло, а на меня принесло». Ключ в море, язык в роте. Тому слову нету края и конца, от злаго человека вреда, беды и напасти. А кто бы на меня и на нее подумал недоброе и замыслил, у того человека ничего бы не последовало, и запер-

ло бы ключами и замками, и восковыми печатями запечатало». Вот оно какое слово моё вещее... Не смотри, что такое долгое, а на память ловко ложится.

– А я не запомнил, – очнувшись, бормотнул Никиша.

– Не горюнься. Я в повтор скажу. А ты про себя тверди за мноюшкой. Наверно так запомнишь. Вот в поле нонь поедешь... Отбейсе куды в сторонку от своих. Покуда заря навроде не совсем ещё разыгралась, ты и скажи ей. Не поспеешь утренней сказать, так не карай душу. Твоя ж и вечерняя... Никто не отымает у тебя и завтрева утра зарю. У Бога дней много, а зарей вдвое того.

– А куда наш Никишка заваялся? – в недоумении крикнул из денника отец. Ему не ответили. – Ехать час, пошёл запрягать. До жеребца не добёг... Иля черти куда в лес по ягоды сманули?

И бабка Олена, и сам Никита слышали отца. Они смотрели друг на друга и не знали, что предпринять. А тут уж ничего и не предпримешь. Вешний день за золотой, минуты под ноги не брось. И старушка, пожевав пустым, беззубым ртом и примирясь с богохулениями Головка, наскоро стала повторять своё слово.

Никита не смел прервать старшего, слушал, вовсе не вникал, не лез в смысл и слушал скорее так, из вежливости: в чудеса он не верил. Ну не быть же тому, думалось, сказал ветру в поле и та, в ком души не чаешь, без прекослову твоя. Такого ни с кем не бывало. И разве будет?

Но вместе с тем пленительная красота звучания слова снова затягивала его, бредила душу, заставляла с жарким восторгом вслушиваться в музыку слов, льющихся алмазами.

Бабкин голос, что твердил заговор, шёл за Никишей всюду. Никиша даже в удивленье оборачивался поглядеть на бабу, но бабки не было, и голос на тот миг пропадал. А как только Никиша отправлялся дальше, голос снова твердил ему в спину заговор, не отставал от парня.

Слова заговора, казалось, падали зерном на землю, когда Никиша разбрасывал семена, уходили в землю, когда он бежал за плугом. Бабкин голос приходил к нему в тень под бричку в короткий торопливый обед, не давал по ночам скорого сна.

Заговорные слова легли у него в голове свёрнутыми в ком рваными звеньями, вытянуть которые в одну цепь Никиша не мог. Последовательности слов он не помнил, отчего и не просил содействия в делах сердца ни у утренней, ни у вечерней зари, не звал в пособники ветер, а работал в поле не в пример как огнисто, так что старики подивились, и чего это Никишок гужи рвёт с больным усердием.

А старался он завоевать стариков, к коим, как только отсеялись, и повалился в ноги, навёл речь на сватов.

– Про то и кукушка кукук... кукует, что своего гнезда нету, – сказал отец. – Ну что, лишитель покоя, сам приглядел иль свёл кто?

– Сам.

– А где ж ты её милости доискался? Ты ж далей двора вроде и ни ногой?

– Да уж видал единожды...

Отец вгибь повёл сердитой бровью.

– Не многовато ли?.. Единожды!.. Пош-ш-шупай себе за-тылок, что это ты за околёсную тащишь? Иль ты взошёл в градус? Пьян, как пуговка?.. Иль, може, у тебя загорелось, на пожарь поспешаешь?

Никита дёрнулся было возразить.

Отец сделал знак рукой молчать.

– Подержи свой язычок на привязи. Дай доскажу. Ты мне, умелец, смотри, в струне чтоб всё было. Чтоб девка была ядрёная, в силе, в работу способная да ловкая. Про наружность, про обличье молчу. Конопатая там, рыжэй ли лисы – тебе жить. А вот ежель каличка, убогонькая, тут уж и не стану попусту сорить с тобой словами. Да ты как на духу повинись. Хоть разглядел толком, какая она из себя. Не кривая? Не болящая? Руки-ноги, по крайности, при ней в полной в наличности?

– В по-олной...

– И на том спасибушки... А трудолюбива?.. И чьих она будет?

– А я, – смутился Никиша, – почём знаю?

– А Боже! – В досаде отец было чуть не пустил в тыщи прямо с козыря, не пугнул едва по матушке, но вовремя взнуз-

дал гнев свой, удержался. Пробормотал лишь с ядком: – Ну что ж, дружа... Эхма, на чём только беда не лежит... Так ты что, в сам деле ни холеры не знаешь про свою красоту?

– Ну кто Вам сказал... Собачанская она. Зовут вот Поля. А чьих там она будет... Поедем сватать, в Собацком и узнаете, если так кортит Вам.

Отец кольнул Никиту насмешливым взглядом, скрестил руки на груди.

– Нам-то, Свет Борич, хоть бы и не кукарекало. Это вам приспичило чёртову лихоманку затеять. Подбивает ехать сватать, а кого – сам не знает! Такого в роду у нас ещё не бывалко.

– А теперь вот будет.

– На резвом коне кто ездит жениться?

– А мне другого не надо. Плотно видал раз – мне по ноздри довольно! Хорошего человека и с первых глаз разве не видать? – твёрдо, но едва слышно проговорил Никиша.

– С горячих молодых глаз уже и ценушка красная выставлена. Хо-ро-ша-я...

Отец замолчал, цепко вглядывается в сына.

Борису Андреевичу нравилось, что Никиша твёрд в своем решении, и непреклонность, уверенность сына неспешной надёжной силой брали в полон и родительское чутьё. Оно подсказывало старику, что не ошибался Никита в выборе.

Может, думал отец, и хорошая: ум бороды не ждёт. Ну что ж, раз нашла такая линия – будь она турецкая! – скованному

всё золотой твой верх. Понятно, можно было какой и подождать годок. А кинешь так умком, чего ж его ждать, коли судьба подъехала?

– Без жены, – уже уступчиво рассуждал он вслух, – и при родителях сын на возрасте пускай и не лишний в семье, как перезрелка дочка, а круглый всё ж сирота и сверху, и снизу, и с боков. А вдвоем всё веселей. Семейная кашка всё погуще кипит. И потом, не пускай мимо счёта нас, стариков. Мы с бабкой уже под досадливыми годами. Пособницу в дом край ой надо. Покуда ходим, покуда дышим, надобно тебя в закон произвести.

*За нежный поцелуй, за встречу,
За блеск приветливых очей,
За жар любви, за звук речей
Я б голову понес на сечу.*

В сваты Никиша кинулся присоглашать обоих Борохванов. Но дед – сидел у окна за шитьём черевичек бабке – очень сконфузился, когда узнал, чего это Никита припостучал к ним.

– Ну ты, парнюха, учудил, – с ласковой укоризной говорил дед, не пуская из рук дела. – Ну какая из меня ловчивая кошка? Ну какой, едри-копалка, из меня ловильщик лисиц? А? Я ж твою-то лисицу в разнепременности напугать напугаю, а догнать не догоню. Что за резон тебе от такого ловильщика?.. А меж нами, я сам был пойман, как мышонок, во он той лисой, – старик ткнул шилом в Олену, такую же коротенькую, сухонькую, как и он сам.

Старуха сидела на скрыне с клубком, нитка с которого стекала к лежавшему на полу веретену, и дремала. Она стремительно роняла голову и тут же, через самые малые секунды, ещё стремительней подымала её, не открывая глаз, и снова роняла.

– Никиш, – дед посмеивался одними глазами, толкнул парня локтем в бок, – да ты только полюбуйся, как потешно моя дама-дамесса ловя окупёв. – И так же тихо бросил бабке: – Лови, лови. Вечером наварим ухи.

Бабка не проснулась.

Старик высмелел, заговорил в полный голос.

– Вишь, Никит, какая непотреба. Сповадилась моя королевишна за делом спать. Ночь спать... Ладно. Но в день тоже спать... На меня часом гарчит пояростней цепной волчицы. Но нейдёт всё то ей в пользу, скажу я тебе. Как была с головы костлява, а с заду препакоствна, да так на том и засохла.

Однако старуха, оказывается, вовсе и не спала. Заслышала про себя такое, побелела белей молока, затряслась вся.

– А! Вот ты, старый репей, как поёшь, родимец тебя уходи! Красавчик! Арбузом голова, клином нос! Прибью, чтоб свет не поганил ты, анчутка беспятыи!..

И вслед поношениям полетело в старика всё, что могло летать и было подле: клубок, веретено, веник, скамеечка из-под ног.

Лёгкий на ход старик предусмотрительно снялся с места, как воробушек с гнезда, метнулся к порожкам, бормоча: «Ну разошлась, как молонья! Ой... Один с огнём, другой с полымем... А Господи... Одно горе не горе, как бы с два не было...»

И уже снаружи, из сеней, просунул свою маленькую головку с кулачок в прираскрытую дверь, буркнул оторопело-

му Никише:

– Со мнойкой ты проловишься!.. Во кто у нас страшной охотник на лисиц! – повёл взгляд к бабке, что бегала горячими глазками по хате в поисках чего бы такого, чем бы не жаль чувствительно дать раза старому малахольнику. – Во кто в ловитве генералка! С ней и поняй. Она тебе любую лису слакомит. А я сбегаю пересажу грозу в лозинках где.

Дверь закрывалась, когда бабка шваркнула в уменьшавшуюся полоску света рубель.²² Рубель ухнулся уже у закрытой двери.

В тяжёлой досаде покосилась бабке на рубель. Со вздохом вытерла руки о подол юбки и спроста улыбнулась Никите, велела проходить к столу.

Загадочно, с достоинством улыбалась бабка и в тихий июньский вечер, когда на крытой бричке въезжала в Собацкий. В нарядах, отдававших ещё нафталином, рядом восседали Никишины отец с матерью. Сам Никиша был за кучера.

Бричка мягко катилась по гладкой дороге.

– Тэ-эк... Где-сь здесь в старину чудил панок Собацкий... Но у нас и своих чудов выше головушки... Это уже Криничный яр. Вона их дом. Напроть там и станешь, – сказала Олена Никише.

Старик бросил глаза, куда показывала Олена рукой, выставил своё:

²² **Рубель** – валёк для катания белья, толстая плашка с зарубками и рукоятью.

– А стань-ка тут, сыну.

– Зачем тута? – восстала Олена. – Хата Долговых, ваших однофамиликов, следующая. А это соседи будут. Горбыли-Кисели.

– К соседям и завернём. Соседи враз нам и раскроют карты, что то за тёмный за товарец едемо торговать, что то за славушка шаста про неё по людям. Не тебя учить... Невеста, что лошадь, товарец тё-ё-о-омнай...

– Да я за свой товарко головой поручусь! – в обиде пыхнула Олена.

«Иле ново? – подумал старик. – Одна сваха за чужую божится душу...»

– Не бойсе, не промахнёсся... Положи мне веру на слово, Боюшка...

Старик промолчал. Степенно, с чужеватинкой слез с брички, помог сойти и свахе. Наказал Никите с матерью оставаться в бричке, первым потянул шаг к калитке.

Уже смеркалось. Света в хате не было. Зато впрах широко размахнуты окна в надежде, что лунный сиротский свет заменит лампу. По бедности огонь в этой кособокой хатёшке не спешили зажигать.

Откуда-то из недр слепого куренька слышалась тихая, глухая песня. Старик пристыл на месте, рукой дал знак Олене – брела следом. Стой! Не рушь песню.

– Ой ты, ноченька,

Ночка тёмная,
Ночка тёмная
Да ночь осенняя.
Что ж ты, ноченька,
Притуманилась?
Что ж, осенняя,
Принахмурилась?
Или нет у тебя
Ясна месяца?
Или нет у тебя
Ярких звёздочек?
Что ж ты, девица,
Притуманилась?
Что ж ты, красная,
Припечалилась?
Али нет у тебя
Отца, матери?
Али нет у тебя
Друга милого?
Как же мне, девице,
Не туманиться?
Как же мне, красной,
Не печалиться?
Нет у меня, девицы,
Отца-матери,
Только есть у меня
Мил-сердечный друг,
Да и тот со мной
Не в ладу живёт,

Не в ладу живёт,
Все ругается.

Подорожником легла песня старику на душу. Однако он встрепенулся и, боясь, что в темноте снова запоют и он не сможет оборвать, торопливо крикнул в окно:

– Агов! А кто там в хате?

В окне обозначилась с ножом в одной руке и с картошкой в другой Анята, сестра Сергея.

– А вы ж чего, дивчинко, без огня говеете?

– А мы, почитай, другого и не знаем света. Днём солнышко наше. Вечером месяцок наш, – оттрепала Анята.

– А как тучи? – подпустила Олена.

– Быстрей спать ложимся... Зараз все наши ещё в поле, одна я с матерью по дому правлюсь. Звездочки подсвечивают, скоро месяц выглянет...

– Ну, нам месяц без надобности, – легонько махнул рукой старик. – Не могла б ты на секунд позвать родительшу?

Горбылиха всё слышала и без зова приявилась в окне рядом с дочкой. Спросила:

– А чем я могу вам быть в полезность?

– А вот чем, хозяйчко. – Старик приосанился. – В соседях у вас Долговы...

– День в день всю жизнь в соседях, – подтвердила Горбылиха. Недоброе предчувствие тронуло её.

– У них дочка... Пелагия прозвание имеет. Так как она?

Что за девка?

– А я и ничего такого не умею сказать. Похвальба одна... Работяща... Прясть-вязать може дажно хорошо. Негулёна... На лицо ловкая... Счастливая с лица... Лазоревый цветок...

«Ты смотри... А товарушко не такой уж и тё-ёмной», – удовлетворённо хмыкнул старик.

Олена обварила его уничтожающе-победным взглядом, накатила с ласковым покором:

– Ну что, комарь-комарик, подточил носу?! Э-эха-а!.. А ты, отдери те пятки, сомнению волюшку дал, распустил гужи. Да невжеле взялась ба я сватать за твоего какую непутёху? Ну подумай!

– Со скуки за что ваша сестра ни берётся, – подпихнул голубка Борис Андреевич.

– Со скуки и люди родятся, – лениво огрызнулась Олена. – Только верь, сваха всё знает!

– Знама песня. На свашенькиных речах хоть садись да катись. Вот уж петля, вот уже петелька! До чего хитруля...

– Боряха, от людей совестно. Ну накинь ты молчанку на роток.

– А чтоб тебя младенская перекосила! – захлёбисто прошептал старик. – Я-то об чём хлопочу? Помолчи сама. Мне в горячей желательности соседьев мнение до точки выколупнуть.

Борис Андреевич подступил вплоть к окну. Тут Аня

утянулась в сумерки хаты. Дед подбавил сил голосу и нарочито громко спросил Горбылиху:

– А что, добрая душа, на твои вот если глаза, из Пелагии будет хозяйка?

Горбылиха смешалась. Она знала, что Сергуня души не чаял в Поле, не в равнодушности к нему была и Поля. Так почему тогда эти незнакомые бояре налетели забрать *нашу* Полю?

«Ну да, у сына забрать...» – сказала самой себе Горбылиха и оцепенела. У неё не было сил на ответ. Она отрешенно уставилась перед собой.

Старик склонил голову вбок, пристально взгляделся в Горбылиху. В тревоге спросил:

– Вам, часом, не худо?

– Нет...

– Так будет из...

Горбылиха подняла на деда тяжёлые глаза.

– Об чужом деле что зубы оббивать-то мне?..

Старик почувствовал, что разговор выходил внавязку, что к тому, о чем толковал, здесь относились не без разницы. Он хотел было отступить вон, повернуться и уйти. Но вместо того спросил мягко:

– А не могли бы вы уважить нашу остатнюю просьбицу?..

Присогласите Пелагию сюда...

– Я схожу! – крикнула из мрака хаты Аня.

Минут пять спустя за Анютой по улочке шла Поля.

Из темноты, от брочки, к ней выпнулся Никита.

– П-П-Поля!.. – отрывисто забормотал он. – Милинка... Я вот... – показал на отца и бабушку Олену, выходили навстречу с горбылёвского двора. – Я привёз вот... своих... Привёз сватать тебя... Ну, так пойдёшь?.. А?..

Поля горестно плеснула руками.

– Господи! Ну разве я пеньку в лесе твердила?.. Е у мэнэ батько-матирь. З ними и балакайте.

Поля резко повернулась и ушла.

«Можно пытаться», – заключил про себя старик. Он слышал вмельк Полю и взял к калитке, за которой она только что пропала.

Уже у самого крыльца старика обогнала Олена, первая ступила правой ногой на первую от земли ступеньку. Кинула важный взор к старику, к тяжело семенящей за ним его рассыпчатой хозяйке Надежде Мироновне (Никита остался у брочки), величаво сказала:

– Как нога стоит моя твёрдо и крепко, так слово моё будет твёрдо и лепко. Твёрже камня, лепче клею и серы сосновой, острее булатного ножа. Что задумано да исполнится!

«Уха-а, затрещала трещотка, – одобрительно подмигнул старик. – Откуда что и хватает! Воистину, не выбирай невесту, выбери сваху. Ну, молоти, молоти. Только какого умолота-то ждать?»

Дробно постучал дед в низ ярко освещённого окна. Света

в хате много. Казалось, там ему тесно, он широкими потоками выливался в палисадник.

Вышел Владимир Арсеньевич.

– Доброго здоровьица, хозяин, – с лёгким поклоном проговорил Борис Андреевич. – Мы чужедальники. Допусти с дороги, с устали передохнуть.

– Ступайте с Богом щэ куда. А у мене и так не повернуться.

– А народишко мы негордый, нам в уголочке там игде...

– Ит ты, беда! Ну раз Вам податься некуда, заходите.

Только это сваты через порог – на белом новом платке старик подаёт паляницу Владимиру Арсеньевичу.

– Примите хлеб-соль и нас за гостей.

Владимир Арсеньевич кладёт хлеб на стол.

– Милости прошу, сидайте! Будьте гостями... Далече путь-то держите?

– А мы, каемся как на духу, гонимся за лисицей. – Олена улыбнулась Володыше и остановила на нём выразительный взгляд: ну что, видал, как живёхонько нагнала я к тебе купцов на товар твой? Вишь, кланяются тебе в самые ножки. – Так вот, наскокли мы на след. А след и стрельни к Вам. Вот где наша лисица, красна девица. Раскипелись у нас глазоньки подловить её.

– Бэ-бэ-бэ-э! – весело откликается Владимир Арсеньевич. – Да вы двором промахнулись. Нетушки Вашей лисички тут.

– Ой ле! Справлялись у хуторских, так все показали – просквозила наша красунья именно вот сюда.

Торг этот, в котором все роли до последнего слова ловко разложены самим народом ещё в староветхие лета, не лишенный потешности и вместе с тем первобытной, нетронутой чистоты и прелести, длится допоздняка. Пустосваты (в первый засыл на проведку они, по обычаю, должны уйти ни с чем) просят отдать Пелагию за Никиту. Хозяева вперехват находят всякие увёртки. На их слова, невеста ещё молода, как о Спасе ягня, в тело ещё не вошла, не знает даже, как держать и веник...

При этом хлеб возвращается пустосватам. Упрямые пустосваты отдают его снова хозяевам. Так тянется Бог весть сколько, покуда наконец хлеб не вручается гостям со словами:

– Будем мы Ваши – сыщете нас. А выйдет случай – найдёте лучше нас.

Чинно, обстоятельно проводил Владимир Арсеньевич гостей. Позвал в боковушку и Сашоню, и Полю.

– Ну шо, бабочки, доколе в кулак сморкаться? Самое времечко приспело об деле напрямки решать. Шо со сватами? Сёни мы выдержали свою марку, свой форс – поклон с хохлом и спровадили с Богом. Но завтра их знову жди. С пуста отправлять и завтра или как? Шугни с пуста – треть-яка засыла не выглядай, раззнайся с женихом. Так як?

Мать и дочка молчали.

В нетерпении спросил отец:

– Полька! Ты-то чего молчаком уставилась в пол, як коза в афишку? Слова из тебе кусачками тянуть?

– Смотрить сами, тато. Воля Ваша...

Отцу не понравилось безразличие дочери, какая-то её неопределённость, скорее похожая на слабое, размытое возражение, но – возражение, отчего отец и накинь в голос власти:

– Ит ты! Воля-то моя, да жить-то тебе, головонька! Иль мне не кортит положить в счётце твое желание? Иль своей я дочке супостат?

– Про то и я думаю, тато...

– Бач, она думает! Про шо ж ты думаешь? Про то, шо я супостатий?

– Я так не думаю... Тато, – Поля сбавила тон до шёпота, – а шо бы нам не подождать?..

– Ко-го-о? Анститутца? Голопузого прынца горбылёвско-го? Ну, Полька, у тебя в голове десятой клёпки недостатчушка! – гневно, матёро пустил батька. – Вот уж наказал Бог дитятком. Иль ты слепая? Иль ты... Да не с нашего он огорода овощ! Прождешь... Проплывуть счастливые года, як вода... А посля анститута побегить с тобой под венец – мелком по текучей воде писано! Про той анститут этой лоботрух²³ тольке торохтотит каждой сороке. А вступе он туда, не вступе –

²³ Лоботрух – лоботряс.

кто зна? Да и потом!.. Какой в бисах анститут? Этому жердяю уже настукало девятнадцать годов! А у него лише три классы нашей хуторянской школухи! Когда остальные классы думаете добирати? Об каком анституте этой горькой пастушара ляпае?.. Анадьсь череду не пошёл стерегти. Ну, это в уме человек? Чего такому подносить жизнь на блюдке? Он кошку голодом уморит! Ну, об какой жане ему чиликати?

Отец дёрнулся, отвернулся от дочки.

«По мне, жди, жди вчерашней зорьки! – злобно подумал. – А ну и дожدهшься, с чем он к тебе уявится? В гнилой хатёхе у тех Горбылей всего и капиталищу, шо три консомольских билета. Консомолу по-олный табун... Чёрт на печку не вскинет. А рубахи путящей одной на всех нету. Дело?.. Нам Никишок впору, самый раз... Там домяка! Как церква! Там царь-сад!.. Своя мельница. Своя бричка. Свои кони. Разодеты – князья!..»

– Голубонька! – отходчиво шатнулся отец к дочке. – Ты шо же, пойдёшь к этим Киселям, – кивнул в сторону горбылёвской хаты, – квасолю одну пустую йисты? Пустюющие люди! Живут ни вон ни в избу. Одни песенки на уме. Живут припеваючи, хоть – он ядовито хохотнул, – хоть бы раз поплясать зазвали!.. За хозяйство совсемко не берутся. Лодыряки! Того и бедность. А детья полна гнила коробочка. Во-семь душ! Во-о-осемь! Один одного короче. Мать без одной руки, батька доменялся – где-сь на стороне и примёр в голод с тифу. Что ж в той весёлой семейке горьку нуждоньку ка-

чати? Милая доча... Тебе Бог Никишу дал и в окно подал, а ты носяру воротишь. Как жа. Прочь, грязь, навоз идё! Эх, дитя, дитя, не ждать от тебя путя... Дофукаешься... Отдаю пока по чести, шла бы с Богом. А не то через год за кол в плетне отдам. В лишних девках ты у меня не разоспишься! Никитий... Вот тебе наши золотые горы!

Поля с плачем выбежала из комнатки.

А назавтра те же гости на тот же порожек. Извиняются за наскучливость, вчерашний хлеб на стол и за своё.

– Ваш товар нам люб, люб ли Вам наш? – пытается сват бацьку Поли.

Выжидательно молчит родительц невесты.

Гости в напор. Допытываются, к какому бережку прибились.

– Да всё встаре, – отвечает Владимир Арсеньевич.

– Что так? – наступает Олена. – Отказывать как? Вы почти уже родня. И у невесты фамильность Долгова... И жених Долгов... Как нарошно... На Ваш хуторок выселялись и из нашей Новой Криуши... Набежали на однофамилика... На двоих одна фамильность есть уже. А дело где?.. Невжель дочка нам отказ спекла? Спрашивали её?

– А! К ней на семи конях не подъедешь. А разберёшься, кого там спрашувать? Зэлэна, шо она смыслит! Глина щэ в голове, глядит из чужих рук. Да и шо вопросы наводить? Може, Ваш спроть. А разве одна ласточка весну поёт? А разве

одна ласточка вьёт гнездо?

Старик сановито уходит за Никитой. Побаивается старик, как бы малый не плеснул аллилуйи с маслом, подучает по пути сына, как половчей, покруглей, без оплошки отвечать.

Белее белого пристыл Никита на пороге. В поклоне поздоровался.

Владимир Арсеньевич бросил на парня хваткие глаза.

– Они, – взгляд на сватов, – не дают мне, Никита Борисович, идохнуть. А не зря? Можь, моя неумёха тебе и на дух не надобна?

– Тогда б чего я стоял перед Вами?

Одобрительно крякнул Владимир Арсеньевич. Подобрался, выпрямился за столом Борис Андреевич. Сынов ответ накинуд ему смелости. Предложил он послушать теперь Полю.

Не подымая головы, за своим отцом вошла Поля.

– Дочушка, Пелагия Владимировна, согласна ль ты уйти за Никиту Борисовича? – спросил Владимир Арсеньевич.

– Я из батьковой, из материной воли не выхожу...

Невеста Борису Андреевичу понравилась. Ему захотелось, чтоб именно она была у него в невестках. Переведя с Поли взгляд на своего сына, старик подумал: «Временем и смерд барыню берёт», а вслух сказал:

– Чего, сваток, ватлать языками? Давай свадебку ладить.

Владимир Арсеньевич встрепенулся, привскочил.

– Безо время за дело браться? Вы батька-матирь поспросали? Я всё ума никак не дам... Вот как Лександра Павлов-

на скажет, так то и свяжется.

Как-то со страхом, виновато-сосредоточенно выглядывала Сашоня из-за острого мужнина плеча, будто это её сватали, и потому, когда её называли, она, окаменелая горюшка, вдруг вся вздрогнула птицей, разом уже одутловатое лицо прошиб крутой румянец.

– Да я уроде того и не противница совсем окончательная и невозможная. А как оно раскинешь головою... Ну як ото отдавать на сторону? Дуже далэко у гости пишки ходить.

Никитин отец качнулся вальяжно, что тебе боярская душа:

– А зачем, Александра Павловна, пеше? У нас кони есть! Коней будем Вам подавать... выезд... Тройку с бубенцами!

– Ну, коли будут кони, так мой соглас у Вас в кармане.

Ублаготворённый Владимир Арсеньевич наглаживает мизинцем кончик левого уса, усмехается молодым:

– Похоже, сизарики, повяжем мы вас...

– Мы этого только и ждём! – готовно выпалил Никита.

При свечах Полины старики благословляют молодых хлебом, а её подружки запевают песню-заплачку, песню-укор невесты своему отцу.

– Да отдаешь мене, мий таточку,
Як сам бачишь.

Да не раз, не два ты по мне,
Ой, заплачешь.

Ой, як на весне садочки
Зацветут
Да мимо твого двора дружички
Пойдуть,
Да не будуть до твоєї хаты
Привертаты,
Да не будуть квартирочку,²⁴
Ой, отсуваты,
Да не будуть Поленьку,
Ой, выкликаты.
Да даєшь мене, мий таточку,
Сам от себе,
Да остається рута-мянта²⁵
Вся у тебе.
Да вставай же, мий таточку,
Да раненько,
Да поливай рутку-мяту
Частенько
Ранними и вечерними
Зироньками²⁶
И своїми дрибненькими
Слизоньками.

Надсадная песня так и тянет за душу, так и сосёт телком,
и вот уже на мокром месте глаза и у невесты, и у стариков,

²⁴ **Квартирочка** – форточка.

²⁵ **Мнята** – мята.

²⁶ **Зиронька** – звёздочка.

и уже смотрит отец на Полю так, будто застали его на месте преступления против родного дитяти, смотрит выжидательно, обречённо, точно ждёт кары. Но за что? Дело связано... Правда, отцу сейчас кажется, не всё чисто тут наработано, хотя какую ж ещё подавай чистоту, сама ж привела на хвосте сизарика, а что свояченица подтолкнула дело – ну, какая телега покатится, пока не взопрёшь её на гору да не толканёшь вниз. Ну какая? Вопрос этот застыл у него в глазах, и набежавшая слеза горячо прикрыла его, прикрыла мир. У Поли в каждой косе было по тюльпану с кулак. Ещё минуту назад отец видел лишь один цветок. Красный круг его разрастался, ширился, ало заливал всю Полю, и теперь красно-размыто видится зыбко дочушка, расплывчаты певуны, расплывчаты улыбки жениха – расплывчато, размыто, неясно всё. Однако он не отирал глаз, не стыдился слёз.

Видят такое певуны, не переводя дыхания наваливаются на другую песню.

– Как вьюн над водой увивается,

Никита у ворот убивается:

– Выйди ко мне тесь-батюшка!

Выйди ко мне теща-матушка!

Вывели к нему ворона коня.

– То не мое, мне не суженое,

Мне не ряженое.

Как вьюн над водой увивается,

Никита у ворот убивается:

– Выйди ко мне, тесь-батюшка!
Выйди ко мне, теща-матушка!
Вынесли теперь сундук золотой.
– Это не мое, мне не суженое,
Мне не ряженое.

Греет, веселит Володышу молодая радость. Знает, добрая песня эта величальная про счастье, которое даровал он сегодня и своей дочери, и этому парню, отныне и его сыну, глядя на которого думал сейчас, а пускай лицом неудаха, зато характером счастливый. Характер Володыша угадывал по манере того держаться, говорить, обращаться к людям – о, Володыша насквозь видел человека.

«Держись, – мысленно советовал Поле, – держись, доцю, за Никишика, як воша за кожух. За глаза будешь им довольна. За ним тоби будэ житьишко, як у Бога за дверьми».

– Как вьюн над водой увивается,
Никита Борисыч у ворот убивается:
– Выйди ко мне, тесь-батюшка!
Выйди ко мне, теща-матушка!
Вывели к нему Полюшку,
Полюшку свет Владимировну.
– Это мое, мое суженое,
Мое ряженое!

Негромкими, раздумчивыми голосами подружки заводят про то, как Полюшка приезжает в первый день к *резвому свё-*

корку и решительно не знает, как повести себя.

– Ой, як мени в чужий хати привикаты?
Ой, як мени до столика, ой, доступаты?
И як мени свекорка называты?
Да назову я свекорком, ой, неприлишно,
Назову я батичком, ой, дужэ пышно.

Вслед за песней Сашоня протягивает дочке тарелку с платочком. Рдея, Поля передаёт всё это Никите. Тот кланяется Поле, отирает её этим платочком стыдливо и как-то украдкой, резко приблизившись холодными белыми губами к её полному алым, прикасается коротко, точно в испуге. Хотя у собачанских кавалерок поцелуй не такая уж редкая реликвия, но у Поли это был первый поцелуй, как впрочем, и у Никиты.

Под вопросительно-смешливыми взорами Никита подошёл к тестю. Важевато, с поклоном Владимир Арсеньевич сронил четвертной в тарелку на поклад.²⁷ Но в новую минуту, когда тарелка докружилась до Бориса Андреевича, тот совсем небрежно накрыл Владимирову бумажку, будто то был убогий щербатый грошик, своей половинной сотней.

– Чтоб колёса свадебные не скрыпели, – пояснил вкрадчиво.

²⁷ **Поклад** – яйцо натуральное или из мела, которое клали в каком-нибудь месте, чтобы курица неслась именно там. Здесь – на счастье, на долю, *на завод* родители делают богатый первый вклад, дар, чтоб молодым жилось безбедно.

ПрираЗИнул Володьша рот. Пять десятков рубляков! Вот так замах! Таковских мильонов ни один бешеный не отваливал на поклад. Три коровы выкинул из кармана и не поморщился!

– Торг любит потешку, – заискивающе, приторно пропел на все стороны Владимир Арсеньевич. – Ой як и лю-юбит, дорогой Бори-ис наш Андреевич! Доброму товару добрая и цена!

Володьша столкнулся с Полей глаза в глаза, повинно подумал:

«Бери поклад: брат братом, сват сватом, а деньжанятки нам родня. Уж там тебе будут печки и лавочки!²⁸ По запову видать, не знают, в какой угол и посадить тебя. А я, кулёк, казнил себя, всё считал, шо ты у меня нескладёха. Всё горевал, вот клад дался – никому не спихнёшь. Тепере дело наше свято, возврату нету назад. Женитьба есть, а раз-женитьбы нету!»

Пятидесятирублёвая бумажонка сбила с ног весь дом. Слишком многое сказала она и Никите, а именно: к сердцу пришлась Поля отцу, отец ничего не жалел для такой невестушки, отчего после его денег тарелка показалась враз настолько тяжёлой, будто на неё махнули золотой слит-угол, что Никита, разбежавшись к свашеньке, которая уже приготовилась положить и свой тоскливый червонишко, дёрнул от неё тарелку вбок – не надо твоего сору, обойдёмся и без! –

²⁸ Печки и лавочки – особый почёт.

и с низким, почтительным поклоном подал деньги тестю.

Володыша жмурится от довольства. Навяливается сам наливать девушкам винца, наливает не в пример щедро, с краями. Ласково просит:

– Утаптывайте! Пейте, а шоб глаза не западали! Пейте за здоровья молодых! За здоровье дорогого свёкорка!

Девчата выпивают по стаканчику и уходят всем развесёлым калганом на улицу.

Одни старики пьют основательно, пьют по верх глаз, и никто не рискнёт просчитать, сколько они приговорили. Бутыль, ведро? А может, то и другое разом на плюс взятое?

В глухой час криушане отбывают. Хмельно, сострадательно попыхкивают, степенно провожают их до брички Полины родители.

– По к-какому п-праву м-молчим?! – ересливо тукнул ватной ножкой в стёжку Голово́к. – Усватали Никишке божью картинку и м-молчим?

Не может он отбыть исподтиха, невнавязку для приросшего уже к подушке соседского уха. Куражливые позывы к пению подкусывают его, и он, отроду дробненький, считай с воробья, с такой карусели-радости – усватали картиночку! – раздаётся вширь, вытягивается ввысь. Уже сердце одно у него с кошку. Подпекаемый восторгом, начинает враз с ворох песен. Но всякая песня красна ладом. А какой уж лад, коли левая нога не знает, куда пошла правая, оттого тут же, не переводя дыхания, на выдохе бросает одну, хватает

другую, там третью. Не терпится в мгновение перепеть все-непреренно всё, так радостно на душе, и эту радость зудится ему поведать и уже спящему хутору, и небу, и звёздам, и тракту, глянцеvито блестящему под месяцем. Запал велик, да на одном хотении не выскочишь. И высока у хмелья голова, так ногами жидок.

Оно вроде только и явил отважки, что сполоснул зубы ковшиком настойки на зверобое и иных невинных травках, известной Бог весть под какими именами: и сильвупле, и французская четырнадцатого класса, и чем ворота запирают, и хлебная слеза, – только смазал глотку, только замочил вислые усы, помня, что без поливки и капуста сохнет, ан в головушке гусяк разгулялся,²⁹ нетерпёж валит с ног съездить четверней (на карачках) – нет такого хитруна, чтоб обманул винцо, чтоб хмелина не брал. Вот собачий нос, как чарку нальёшь, так её лукавый тебе и несёт, и столько понанёс лукавый, что криушанин вконец озлился, озмеился на малость чарки. Малыми пташками летали ему в рот чарки целыми стаями. Рука занемела от быстрой работы. Он только хлоп об пол ту чарку. Не будь малой с напёрсток! Да всю флягу себе: «Фляга моя, фляга, сем-ко я к тебе прилягу. Ты меня не оставь, а я тебя не покину?» Выпил её до капли, на лоб. Он будто каменеет, сжимает в одеревенелых пальцах пустую, мяклую и послушную, как кисея, флягу. За столом сидит прямо, тупо и сосредоточенно смотрит перед собой с

²⁹ Гусяк разгулялся – хмель растёт на реке Гуслице.

остановившейся оловянной улыбкой.

Пьянее вина, совсем не годный в дело бредёт он теперь к бричке. Мечет попутно петли, закидывает крюки. Невдомёк ему, в честь это чего *вошёл в пьяное пике*. Он же, насколько помнилось, не кланялся градусам. Или, может, влюбился в невестку?

Зашибив дрозда и поборов заодно медведя,³⁰ он невозможно как умаялся, еле держался на ногах, но таки ж держался. Э! Да он ещё парубок хоть куда! По крайней мере, так ему казалось. Когда вспоминал, что усватал картиночку, его поджигало петь. И он пел будто в্লাивал, по временам выкрикивал куски слов из песен. И потом, разве скинешь тут со счёта то, что в борьбе с медведем он мёртво уработался, потому теперь шёл *с расстановкой*? Эта цена победы над медведем разве не сказалась на энтузиазме пенья, на порывах к нему, вспыхивавших в мутных оконцах рассудка?

Перед венцом, вот уже перед самым венцом, подымались уже по порожкам на паперть, Сашоня (колыхалась она грузной уткой рядом с молодыми) тесней сжала Поле локоть. Дочка поворотила к ней лицо.

– Помнишь?

Спросила Сашоня так тихо, что Поля не расслышала, но что вопрос был именно таков, она догадалась по губам матери.

³⁰ **Зашибить дрозда, побороть медведя** – сильно напиться.

Поля посмотрела на неё вполглаза, едва заметно кивнула.

Пуще всего Поля боялась перепутать материнские наставины. Она хорошо помнила, что под венцом невеста крестится покрытой рукой, жилось чтоб богато. Она так и делала, крестилась покрытой рукой и всё куда шло благополучно. Но бедняжка запомнила, как держать свечу. То ли вровень со свечой Никиты, то ли ниже, то ли выше. Ее слово холодно испуга, она машинально-угарно повела свечу из стороны в сторону. Дрожащая свеча сыпала слезы, тут же в треске гаснущие, огоньки, дёргалась в полутьме церкви, как блуждающая звезда в ночи.

Поля упреда плутать, остановила руку: её свеча оказалась ниже жениховой. Первой за спиной у молодых стояла Сашо-ня, вскипело буркнула:

– Вы-ыша-а! Иля ты повредилась?

Поля послушно подкинула руку – свеча окаянно выпрыгнула выше Никитиной на всю ладонь.

– Ни-ижа-а!

Материна толстая туфлина с разворота бухнула её тупым лаковым носком в щиколотку, так что Поля, жалостно охнув, вздрогнула. Вместе с ней вздрогнула свеча и дернулась книзу. И ещё несколько мгновений белая девичья рука со свечой то коротко и резко опускалась в церковном сумраке, то поднималась. Всё вокруг зашумело, строя чёрные догадки о нраве невесты, суля молодым нерадостные дни.

Но все это было ничто, мыльный пузырь против того, что

приключилось в самый конец. Венчание кончилось. Молодым следовало разом задуть венчальные свечи. Никита показал глазами Поле на её свечу – не забывай, вместе! – и дунул на свою. Его свеча потухла. Поля же растерялась, забыла, как дуть. Она не знала, что делать, а потому ничего и не делала, всё стояла со своей свечой, и тут она почувствовала плечом, как кто-то огрузло, зло привалился к ней сзади, и струя воздуха с шипом пронеслась к свече, свеча погасла. Это дула Сашоня.

Вихрь над ухом вернул Поле память. Она всё разом, в единый миг вспомнила, что твердила мать, вспомнила до слова, до голоса, каким было сказано:

«Кто под венцом свечу выша дёржить, за тем большина. Дёржи чуток повыша Никиткиной. Ну, на палец. Колы на секунд спустишь до ровни не беда. Но довго не дёржи вровне. Всё ж таки треба подать сигналик, что верху твоему в доме быть. Хоть и небольшому, на большой ты и не разбегайся, а все ж твоему. Нехай это всяк видит загодя, ещё под венцом. А уж кто як примет его... Пускай обижается, пускай не обижается. Нам оттого ни холодно ни парко. Венчальные свечечки задувать разом. Шобы жить вместе и помирать вместе. Тут никакой убежки в сторону от моих слов. Запомни. Не острамись сама, не острами ж и нас».

Не острами...

Что же теперь?..

Поля стояла как вкопанная, не смела повернуть головы. А

поворачивать уже время. Свет от распахнутых дверей ударил в спины. Послышалась возня выходивших. Да и не стоять же здесь веки вечные. Но как выходить? Что я скажу матери?

Поля боялась повернуться. Повернуться значило заговорить. На ней было в косах рублей на пять дорогих лент одних да дорогие жемчужные подвески, побрякушки всяких мастей и голосов на груди, в ушах да опять же в тех косах, так что только чуть повороти голову, сделай какой шаг, всё на тебе вздрогнет, проснётся, зазвенит, запоёт, заплачет, захочет. Боже праведный! Ты уже вся на виду, вся уже на головах, хоть и молчишь! Только шелохнись, они враз загалдят, проболтают всё про тебя. И то, что ты, горькая невеста, не скончалась под венцом, а цела, и то, что ещё хватает у тебя совести наглой ехать отсюда к свадебному столу. С какими глазами выходить к людям?

И привиделось ей, падает она в обморок, и подвески, дребезжа как-то набатно, возвестили своим взбрызгом о страшной беде. Венец слетел у неё с головы и солнечным, звончатым колесиком покатился к дверям под ноги выходившим. Кто-то в нечаянности наступил на него. Венец жалостно хрястнул под слоновьей ногой, малая толика позолоты пылью ссыпалась на пол.

8

*Много ль раз роскошная
В год весна является?
Много ль раз долинушку
Убирают зеленью,
Муравую бархатной,
Парчой раззолоченной?
Не одно ль мгновение
И весне и юности?*

История с венчальной свечой приняла неожиданный ход. Старики жениха припечалились. А может, суженая с бусырю? Ну куда нам такой товарко прибирать к своим к рукам? Пускай уж сами её батько-матирь радуются ей одной всю жизнь. И похоже, запросились на попятный дво-рок, к разженитьбе.

– Вам-то что за разор?! – вскинулся Никита. – Я-то вроде её беру!

– Ты-то у нас партизанишко смелай, что хошь возмёшь. А моргать за неё всем семейством? – подкрикнул отец. – Уволь! У меня моргалки не заёмные, не покупные. Скажут же, не мог Никишок в лесе палки найтить!

– Не всё то в строку, что молвится, – возразил Никита.

Никишу поддержал тесть:

– Правильно! На весь мир не будешь мил! За ветром в поле не угоняешься. За глаза и про царей знаешь яку хохлому несли? А Романовы слухали да триста лет верхом на России ехали!

Борис Андреевич удивлённо уставился на Владимира:

– Ты-то, грамотейка, откуда такой выщелкнулся? Ты-то откуда знаешь?

– Ехали! – ерепенисто подкрикнул Володьша.

– Ну и доездились!

Головок нахмурился и долго дёргал, как бык, носом, но молчал.

– Может, – заговорил наконец, – пока со всей дури не наломали дива, неча сухую грязь к стене лепить? Всё ж одно не прилепится. Можь, всё по-вашему? Молва, как волна: расходитя шумно, а утишится, нет ничего. Ладно, Никишка, твой воз, ты и командирь! Вези, да не пыхкай. Будешь и гужи рвать, меня в подсобники не жди. Тащи, тащи дурёну в дом! Двум неумытым дуракам легче прожить вместе, чем одному.

– Пускай и под вывеской дураков, да союзом! Спасибо, батечка, на уступке.

– Оно, дорогой нам Борис Андреевич, – записил Володьша, – проданному товару золотой верх. Другого верха не може буты. Уже и повенчал молодых батюшка, слил венцом. Куда ж нам разрушать содеянное самим Богом? Грех великой будэ! Не по-христиански всё тое. А мы с тобой христианины. Раз дело за венец перевалилось, тут уж, сватушка до-

рогэнький, е одна женитьба, а разженитьбы нема. Вотушко моё словко.

– Сто разов про одно и то ж! Да сбегай за сарай поссы ты на то своё слово! – вшёпот выругался Головок на ухо Володыше и сплюнул, растоптал плевков. – Вот твоё словушко и весь ему сказ! Вся красная ему цена! Растоптать даже нечего. Уж лучше б меня лихоманка стукнула *тогда!*

– И я просил Бога, лучше меня, не её. А шо я могу тут соделать? Не бьёт меня, бьёт её. А к кому по молодости не может така беда натолкаться? А свенчали – теперь дело свято, возвратки нема.

– Эко лихостно... эко жалобливо со́дит! – насупленно обреза́л Головок. – Не кукарекай допрежь время! Вот ещё с глазу на глаз потолкую с невестушкой, там и скажу свою решенью.

Головок помягчел после разговора с Полей. Он понял, что выскочил конфуз у неё с перепугу, с растерянности. Однако во зло Володыше он горел убедить себя, что она и в самом деле полоумка. Он долго судил да рядил с нею о многих сторонах жизни – во всём Поля выказала завидный природный ум. Это повергло старика в восторг.

«Умом девонька не надорвались, талант варит! Вот только я чуток не выпал из рассудку. А ну грохни я по злой дурости разженитьбу, что стало б с Полюшкой? Какая неслава накрыла б и её, и родителей, и Никишку, и меня самого?»

И слепому ж видно, что тут обое рябое.³¹ Бачили ж очи, шо купувалы. А теперь ешьте, хочь повылазьте! Панаскам сам венцедатель велел ухваливать дочуру. Им надобно сбыть товар, лежал без почину.³² Но ежли ты такой разумник, чего ж полез именно в Панасковом лесе искать палку? И не с тесна ль умка какой усадил поклад? Дом целай мог бы месяц кормить на тот поклад... Не может всё то быть неправедным. Не мог я сглупа так несокрушимо сесть в лужу. Тут впросте распоясался господин Случай. Самый раз дать этому господину расчётишко. По ше-ям! По шеям его да руки и вымыть!»

И старчик утолкал свою дуристику на самое доньшко в себе. Прямота, искренность, жертвенность – всё то, что стареник ещё не растерял и теперь до изживу своего дня уберезёт, враз полыхнуло из него, ударился он просить прощения у Поли, у Никиты, у Владимира Арсеньевича, у всех, кому подранил душу праховидной напрасниной, и – знай царского племянничка!³³ – щедро отломил на свадьбу полцарства своего. На Покрова гулял весь сбродный молебен.

Иэха, батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня, молоду, муженьком!

После богатой, бесшабашно-обильной недельной свадьбы с катаниями на тройках с бубенцами отгорело лет восемь.

³¹ **Обоерябое** – обе стороны неправы.

³² **Товар без почину** (здесь) – девушка, которую ещё никто не сватал.

³³ **Царский племянник** – богач.

О, велик врачеватель время. Оно примирило, присмирило всех и вся. Про казус на венчанье ни один Ероша уже нигде и ни при каком случае не поминал. Было другого в достатке, заслонили беды последней поры..

Разлился в плечах Никита, новой силой напитались и без того крепкие хлопотливые руки. В аккуратной работе, в обстоятельной манере разговаривать, вести дело со старшими проступали умная мужицкая хватка, сноровка делать всё ладно, делать всё ловко. Округлые в прошлом черты красивого Полина лица заострились, стали какие-то выжидательно-виноватые. Казалось, она ждала чего-то такого, чего смертельно боялась. Поубавилось восторга в голосе, некогда звеневшем чистым, журавлиным звоночком над внешним полем. Всё реже слышали её привялый голос. Время споловинило блеск в некогда лучисто-озорных весёлых глазах. Задорная походка скачнулась на озадаченно-медлительную, потускнела. Из неё ушло что-то такое, что делало её непосредственной, живой, приманчивой.

Но горячей всего Володышу подпекало то, что Поля была холодновата к Никише. Это заметили и его старики.

Как-то приезжает Володыша в гости в Криушу, а сватья Надежда Мироновна и зажалулся:

– Ой, сват, чтой-то худое с Полюшкой детсяя. Пока я с нею в хате одна, она весёлая, вся радостью пыхкает. Прядём и песни граем, ино она грубку³⁴ размалюе цветками, и раз-

³⁴ Грубка – печка.

говоры-переговоры у нас без краю льются. А Никиша на порог – замолкает. Не то что с ним – со мной слова при нём не подаст! Полсловечка не выжмешь!

– Надо, Мироновна, её полечити. Я знаю как.

И поехал Володыша в Старую Криушу к бабке Ревихе. Стала бабка наговаривать на сахар и запечалилась: «Да как же она будет с ним в ладу жить, если на дорогу перед ихним свадебным поездом, когда ехали из Собацкого в Новую Криушу, хлюпнули мёртвой воды, в которой купали покойника?»

Поили Полю компотом с наговоренным сахаром, кормили наговоренными пампушками... Не помогло.

В другой раз Ревиха наговорила на рыбу:

– Спрашивает Павел Петра: «Где ты слышал голос осетра? Рыба не говорит, не кусается, не кричит, не взъедается». Отвечает святой Пётр: «Рыба не кричит, рыба, Павел, молчит». Так бы в семье раба Никития в гневе не кричали, а любили и мирились на каждый год и на каждый час, и на полчаса, и на минуту, и во веки веков. Аминь.

Кормили Полю и наговоренной рыбой, но остуда между молодыми не уходила.

И стала Поля ещё забывать. Вот придёт в ту же лавку. Смотрит на товары, знает, шла за чем-то, но за чем именно не вспомнит. Бредёт назад спросить. К свёкру она не подходила, не смела, хотя и расположен он к ней был грех жаловаться. Обычно шла к Никише. Уже тот бежал к отцу разве-

дать в деланной наивности, а куда это и за чем угнали Полю. Никиша передавал что нужно. Крадучись от свёкорка, снова тащилась она в ту злополучную лавку.

На первые глаза, жилось Поле в доме свёкра хорошо. Её любили, почитали, ей первый кусок, ей первый тост за праздничным застольем, ей первая честь в доме во всём. Но вместе с тем она читала укор на лицах и Никиты, и его стариков.

Как-то в шутку не в шутку свёкор и скажи, что же это-де, невестонька, заждались мы внучика, не пора ль усчастливить старого валенка? Без подсказок она знала, чего от неё ждали, и невидные, потайные слёзы её лились и на золото.

Рожала Поля каждый год. Каждый год на погосте становилось одним её холмиком больше. Уже шесть верб-пало-чек посадила на могилках. Вербочки укрепились, уже лопотали на ветру торопливо, взахлёб, и не могла Поля разобрать, что они такое шумели ей в ответ. А спрашивала она об одном, долго ли быть ей лишь *вербной матерью*. (Так называли тех, у кого часто умирали дети, кто много сажал верб.) С поклонном на ветру вербочки отвечали что-то своё скорое, невразумительно-удалое, блестящее на солнце, а что – она не понимала.

И когда Головок отметил, что невестка снова в тягости, он внутренне обрадовался и испугался. «Как ба ещё чего худого не выскочло. Всяк же годок хоронит по человечичу. Горя всю высушило, как ветоеньку... А внучика хотню... А ну сдуру

отстегну копыта?³⁵ Невже и внука не потетёшкаю на своих на руках?»

Новых родов очень боялись и ждали в крайней надежде. Ну, может, ну, может, эти сойдут благополучно. За Полю молили, отслужили молебен. Уже ни на грамм не верили бабке Олене с её подмятой репутацией. Ей в открытую лепили, что её наговоры всевидец ясный не принимает, того и Полюной беде конца не видать. Бабка сопела, на богохульные выбрыки отмалчивалась. Весь вид её говорил: да неохота впус-те топтать с вами слова, изыдите!

В район, в Калач, роженицу не повезли. Далекое. Накладно. На даровые харчи надёжи никакоечкой. Есть-пить хоть чего подадут? А кто повезёт? От дома не отлепись. Сентябрь, сама работа. Полный к зиме спех.

Роды принимала дома сама свекровь. Прислуживала ей Олена. Олена не надеялась ни на свекровь, ни на себя. Всё творила заклинания.

Перед самым началом Поля попросила пить. И бабка Олена не простой ей водицы, а той, на которую положила в мыслях Боговы слова:

«Стану я, раба божья Пелагия, благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверями, из двора воротыми. Выйду я в чисто поле, помолюсь и поклонюсь на восточную сторону. На той восточной стороне стоит престол господень. На том престоле господнем сидит пресвятая мати божья Богородица. И

³⁵ Отстегнуть копыта – умереть.

помолюсь и поклонюсь пресвяти матери божьей Богородице: «Пресвятая мати Богородица, соходи со престола господня и бери свои золотые ключи и отпирай у рабы божьей Пелагии мясные ворота и выпускай младеня на свет и на божью волю». Во веки веков аминь».

Едва перерезав пуповину, бабка Олена, вся светясь, будто родила она, хватъ жёлтыми со старости пальцами мальчика за нос. Потянула трижды, приговаривала:

– Не будь курнос да спи-и крепша!

Ребёнок заплакал.

– А ну тебя к коням! – Свекровь властно оттёрла Олену, взяла мальчика на руки. – Кочеток серый, кочеток красный, возьми крик у сынушки у нашего.

Обмыла она мальчика, стянула пальчики на ручках, на ножках. Положила к себе на ладонь. Головка и ножки свесились, как рожки у только что народившегося месяца. Встряхнула:

– Расправила... Всё-ёо!.. Уродушкой не хотно нам расти...

С днями, когда Поля почувствовала себя лучше, свекровь выпарила её в бане. Следком принялась парить в великой радости и младеня. Наконец-то можно наговориться с внуком!

– Бабушка Соломонюшка Христа парила да и нам парку оставила. Господи, благослови! Ручки, растите, толстейте, ядренейте! Ножки, ходите, свою телу носите! Язык, говори, свою голову корми! Бабушка Соломонюшка парила и

правила, у Бога милости просила. Не будь седун, будь ходун. Банюшки-паруши слушай: пар да баня да вольное дело! Банюшки да воды слушай. Не слушай ни уроков, ни причищев, ни урочищев ни от худых, ни от добрых, ни от девок-пустоволосок. Живи да толстей, да ядреней. Спи по дням, рости по часам. То твое дело, то твоя работа, кручина и забота. Давай матери спать, давай работать. Не слушай, где курицы кудахчут. Слушай пенья церковного да звону колокольного.

С этими седьмыми родами не набавилось верб погостных. Мальчик вышел крепенький жилец. Свёкор подпихнул молодых назвать его именем своего деда. Был дед ядрёней Тараса Бульбы. И Митя таким будет, считал старик. Выживет, накинёт крепости старинному роду.

В здоровье Митя дожил до второго льда, до нового покоса. Домашние не чаяли в Поле души, только что не молились.

– Передохни́ годишко какой, – твердил старик. – Спала с лица, извелась в нитку. Поглянь на себя. Кости да кожа. Не-чему радоваться мужицкому глазу, смотрячи на тебя. Я твоё что могу поделаю по дому. Не бегай и с косою. Сами управятся.

Но Поля ни о какой поблажке и не слушала.

Стоял июнь, красный румянец года. В июне, говорят, еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи поют.

Цвела кольцовская степь. Наливался зерном колос. Июньскопидом добросовестно копил мужику урожай на весь год.

В канун сенокосицы сбились молодые косари в кучку, куда вошли Никиша с Полей. Окашивали канавы, придорожья, скудные лесные прогалки, полевые охвостья. Правил артелью Никиша. Самый старший, самый хозяиновитый. Уж такой, подхваляли старики, ни былинки не покинет на сгной осенним ералашным дождям.

В заполдни ребята домолачивали придорожный бугор. На стремительных рессорных дрожках бесшумно подкатил Сергей Горбылёв.

– Хорь!..³⁶ Сам комсомолистый вождяра!.. – заметался меж косарями по пригорку заполошный шлепоток. – Из самого района. К нам! Что-т большое в лесе сдохло!

Приезд незнакомыша всегда Бог весть какая новость в селе. А тут райвласть! Начальничий наскок смутил парней. Откинута работа. Все до пояса врастелёшку, босые будто с повинной посунулись вниз к дрожкам. Началюге подай своё уважение, иначе как? Обступили тесно Сергея, готовые к солидному разговору.

Только одна Поля всё косила и не знала, как повести себя. Признать за знакомца, за собачанского соседущку? Неизвестно, как ещё к тому отнесётся Никиша. Никише она и разу не промолвилась про Сергея. Посчитала, а чего бутить лишний раз воду внапрасне? Может, больше и не увижу того Сергея. Ан судьба к самому носу с таким шиком подкатила его разодетого в новёхонький чесучовый костюм, в блёсткие

³⁶ Хорь – начальник.

хромовые сапожики.

Поля стрельнула глазами. Взгляды их, пожалуй, не успели встретиться, как она угнула голову, сделала вид, что никого и нет поблизости чужого. Ради чего останавливать косу?

– По-оль! Брось-но махать, – шумнул кто-то. – Перекури.

– Я не курю...

К ней подошёл Никита.

– Неудобно перед районным гостюхой, – вшёпот долбит. – На кой ляд выказывать непочтению? Поддержи коммерцию.³⁷

Она выпустила косу на валок и пошла, босая, к кустарикам, где в тени на раскинутой холстине сидел Митя. Обхватив его, на боку сосредоточенно сопел во сне свёкор. Вот ещё бесплатное приложение! Увязался в чине няньки. Ну надо. Без внука не дохнёт! Свился калачом и *нянчит*.

С проголоди мальчик ловчил впихнуть себе в беззубый ещё рот отполированный работой большой стариковский палец. Пробовал его сосать.

Поля тихочко расцепила дедово колесико рук. Ну спал нянь – как штатный ударник. Даже не шелохнулся.

Она взяла мальчика и стала за кустом кормить высокой грудью. Она кормила и думала, чего это через такой прогал времени нежданкой налетел Горбыль. По работе? А разве раньше не было работы? В прошлом году? В позапрошлом?

Долго рыскал он вокруг Поленьки, чужого лакомого пи-

³⁷ Поддержать коммерцию – поддержать компанию.

рожочка, да откусить и крошки не подсчастливилось. Однако он всё ещё на что-то надеялся и уже не надеялся. Он искал эту встречу, ловил момент свидеться. А как? Открыто не подкатишься. У неё семья... Сам ты комсомольский районный шишкарь. Столькое двинуть на кон? Восемь лет Поля замужем за другим. И за все восемь лет он не женился, всё для Поли держал себя в узде. Он бы и дальше держал себя для Поли, не дал бы воли сердцу, но после вчерашнего разговора там... Ночь он не сомкнул глаз, всё думал, как поступить, и – решился.

Уже на первом свету усталость разломилась, он задремал. И приснилось ему...

Ночь.

Ночь придавила, придушила вокруг всю жизнь.

Темно в кабинете, темно за окном.

Не пошёл Сергей домой, к дальним родичам, у кого снимал койку, всё сидит в своём кабинете, без мысли таращится в звероватое, чёрное окно.

Откуда ни возьмись входит криушанский старик Долгов, следом Поля с Никитой.

– Так ты комсомолистый секретарь? – с порога допытывается старик.

– Нет. Пока заведую организационным отделом.

– Раз заведешь – верховод! Бугор!

– Он самый.

– Ты трудно пробивался к своему креслицу?

– Ох, трудно, дедо. Был пастухом по найму. Коровьим генералом. Обслуживал кулаческий класс. Хлебопашествовал в своем хозяйстве. Колхозник... В красной армии служил. Стрелок. Ме-еткий... Бригадир-полевод. Зав избой-читальной. Борьба с кулачеством. Крепенько кулачиков потрошил. Эта борьба и выхлестнула меня сюда... в районный комсомолитет...

– Значит, кулаки подмогли тебе завладеть этой высоткой!?! – старик кольнул взглядом стул под Горбылёвым. – Выходит, кулаки не вороги тебе, а всплошь друзьяки!?

– Они самые! – хохотнул Сергей.

– Вот я и пришёл к тебе как к другу... Тут ты самый первый?

– Хочется тебе так считать – самый первый. Пока ночь...

– Само главное в жизни попасть к первому номеру, товарищ Горбылёв...

– Верно говорите, товарищ Долгов.

– Вот мы и потоваришували... Я с чем так поздненько... Лежу я, товарищ Горбылёв, лежу и нипочёмушки не засну. Неспячка³⁸ напала. Да как же я могу распокойнешко спать, ежле я всё ещё в комсомолий ишшо не вбежавши?!

– Ты что же, дед, пришёл в комсомол вступать? – прохладновато наводит справку Сергей.

– Вступа-ать! – с апломбом выкрикивает радостный дед.

³⁸ **Неспячка** – бессонница.

– Не рановато ли?

– В самый разушко!.. Нетерпица сбила... Не дожdamши по-людски утра... Мне дожидаться уже опасно... Могу и не дожидаться... Шесть десятков да сверху набавка ишшо чetyре – это не шашнадцать кругом! Я как понимаю... Наша нонешняя жизнь – это роднющая советская власть плюс сплошная комсомолизация всей страны! – вскинул указательный палец. – Всей! А у тебя, товарищ Горбылёв, где в районе сплошная? Не сплошная, а дырчатая! Одни дырьи! Я мимо комсомолия... Эти мои подлетки, – показал на Полю с Никитой, стояли рядом, – тоже мимо... Это правильно?

Сергей замрачнел.

– Комсомол, дед, дело святое, а не зубоигральное.

– А какие ишшо за́игры? Я серьёзнушко.

– Но и я не шучу. Ты чего подкусуешь дорогую Софью Власьевну?³⁹ Чем об комсомоле кукарекать, ты б лучше в свой колхоз забежал. Он у вас хорошо называется. «Безбожник»!

– Нетутка! Мы с колхозом вразнобежку! Что я в том «Безбожнике» забыл?

– Свою долю. Между прочим, счастливую.

– Счастыюшка там вышей ноздрёв! Захлебнёшься!.. Све-ди туда всю свою живь, свези всё из амбара и – складывай гробно ручки на пупке? Колхозную ж счастью не то что люди – скотинка не сдюжит. Вон, – пошёл глазом к Поле, – ей-

³⁹ **Софья Власьевна** – советская власть.

ный батечка на той неделе наезжал, так говорил... Отдал он под колхоз «Стальной конь» свою коровушку. Из череды она не к «Стальному» – домой бежит ревучи. Дома и живёт, покудушки снова не заберё. Раз сам председатель Сапрыкин, преподобный Иван Алексев, забирал и сказал: «Похлестал ты, Владимир Арсеньич, чуток молочка и хватит!» Председатель тащит её, а она ревёт, ревёт. Это надо!.. Сдал сваток «Стальному дураку» и своих овечушек. Так вечером они с луга тоже бегут не на общественный баз – к свату бегут к калитке рыдаючи!

– Так то овца... Глупь...

– Другой овцу Бог не сделал... И меня другим забыл сделать. Костьми паду, а к колхозу ни на волос!

– Уй-ё-ёй! Ты, дед, уважаемой Софье Власьевне не грубиянствуй! Кончай этот грубёж. Наша власть культурная, не любит грубости. Она ещё чуток на тебя посмотрит-посмотрит да и молча свернёт тебя окончательно в бараний, извини, витой рожок. Что-то ты слишком быстро всё подзабыл... Ты сколько лет сидел?

– Не сидел... Отдыхал...

– Видать, мало отдыхал на сибирском лесоповале. Мало ему три года! Нашенская власть добруха. Ещё подсыпит!

– За что?

– А чтоб ты ещё где за Полярным кружочком культурно поотдыхал и дозрел до колхоза. Упёрся быком... Не пойду, не пойду. А ты не упирайся. Не бычок же ты деревянный...

Наша власть не любит непочтительности. В твоём положении...

– Я не баба, я в положение не заскакиваю! – вкрикнул дед.

– В твоём положении побеждает тот, кто полностью проигрывает! Ты уступи, ты сдай на хранение свою дурь колхозу и смирно преклони себя перед колхозным обчеством.

– Знаем мы это ваше ёбчество...

– Пристынь... Приглохни... И ты на коне!

– Я и сейчас на коне!

– Тебе кажется.

– Что я забыл в колхозном ёбчестве? Работников никовда ни одного не держал. Всё сам, сам... Своими руками, своим горбом, своим задом упираюсь... Всёшко сам!

– Всё сам, сам и заехал в куркули! А кулак на деревне враг номер один!

– Вот мы и сошлись номерами... Первый секретарь... Первый кулак...

– Твой номерок, дед, уже гопачка не пляшет! Доволе... Сколько вы, кулачье, покуражились? Сколько положили советского люду? Лично меня только то и спасло, что отлежался под койкой! В окно палили!.. С-с-суки!..

– Иль лично я палил?

– Ты... не ты... А такой же, как ты!

– Да кто б и палил, не трогай вы нас? Ответ... Он и есть ответ...

– Ну, ладно. Мы добрые. Прощаем! Иди, дед, в колхоз, и

все твои беды примрут... Твою молодь, – Горбылёв качнулся верхом к Поле с Никитой, – тогда я в обязательности приму в комсомол. Не отпихиваю и тебя от комсомола. Так и быть, примем в свои ряды почётным комсомольцем...

– За почётец спасибоствую... Но я от своей линии не отступаюсь.

– Тогда не ропщи. Софья Власьевна памятливая, не забывает своих кровных друзей. Ты, единоличная контра, пока разлагаешь колхозный народ. Ты это понимаешь? Ну, кто потерпит такое разложение? Ты, дед, допрыгаешься, что снова отбудешь в скором времени на заслуженный отдых на сталинской даче.

– Я уже и так хóроше отдохнул.

– Не-ет! Отдыха тебе добавят. Крутого! И теперь может статься, что на отдых мандыхнут из-за тебя всё семейство, близкую родню. Да ещё могут так... Тебя, дедо, катнут в одну сторону, бабуку в другую, сына в третью, невестку в четвёртую. Ты этого очень хочешь?

– Да ты что, товарищ Горбылёв!?

– А вот то, товарищ Долгов. И может случиться это и через месяц, и через неделю какую...

– Ты-то откуль знаешь?

– А вот *оттуль!* – вскинул Горбылёв руку. – Вызывали сегодня меня *туда*, всё распытывали про Полю... Мол, что я знаю про свою бывшую соседку. Я ж в Собацком жил с нею по соседству... так что думайте. Лучшее – всем долгов-

ским гамузом заступить в колхоз. И все вы спокойны до гроба. Или, если уж глупость так вас разбила, отпускайте молодых на все четыре. Зачем им из-за вас кривить жизнь? Пускай поскорей пропадают с калачеевских глаз. Если хотите им добра, гоните их дрыном из своего криушанского гнезда. Сегодня же! Размазывать сопли некогда! Помните: своих кровных друзей Софья Власьевна любовью не обходит!

Этот сон понравился Сергею. Наконец-то что он хотел, то и сказал Поле, свёкру. Только как всё это ещё выложить им вживе?

Уж как-то и скажет. Главное, он решился сказать, а потому и прискакал сегодня в Новую Криушу.

Он не представлял, как именно будет выглядеть эта встреча. Но только не так. Поняв, что Поля разыгрывает вид, что не знает его, он тоже пустился бить той же картой. Не знай, не слышал, впервые вижу! Хорошо бы и ему повернуть да съехать. Эффектно. Но что подумают артельцы? Надо хоть видимость дела выдержать. Надо с народом поговорить и благопристойно отбыть.

Ораторствовал он про что попало. Что легло под случай, про то и барабанил. И про укусы, и про обязательства, и про виды на урожай, и про погоду, и про то, что она полями правит, и про... Ну чего с пуста не брякнешь?

Он понимал, надо ехать, хватит маять ребят болтушкой — и не ехал.

Его вдруг осенило.

– А думаете, – вскрикнул бесшабашно, – я только и могу, что про гектары да про надои? Иль я не деревенского выпуска?

Сергей смахнул с себя всё до пояса. Теперь и он был, как все косцы, наполовину открыт. Никиша увидел, что долгая тоскливая фигура была в стройности лишь под чесучовой одежиной, а так в нём ни вида, ни стати. Худей кощера, живот арбузом, будто был вождук на десятом месяце. Дряблые длинные руки нелепо висели кнутиками, белы, как брынза, и все тело белёсо, в пупырышках, словно кто для смеха осыпал его крупитчатым мелом.

Никита не удержался. Бухнул:

– А в каком это погребу вы загорали, господин товаришок секретарь?

– В калачеевском. – Сергей осклабился, в бережи поднял Полину косу. – Пока сердце горячее – рискну.

Косил он занятно. Литовка то куняла носом в черняк, в чернозем, то на всех ветрах облетала его, Горбылёва, на уровне пояса, облетала так сильно, что он круто заворачивался всем корпусом, точно она заносила, вертела его, и он ничегошеньки не мог поделаться с сердитой, с норовистой косой.

«Мда-а, паря, ты не косец, а хренодел», – уныло подумал о себе Сергей. Он с завистью взглядывал вмельк на уже косившего впереди Никиту, завидовал бронзе его ног (штаны

закатаны под колени), завидовал, как коса у того проворной змеёй сквозила под травинами и белой плёткой-молнией в мгновение выскакивала на прокос.

Следком за косою ещё какой-то миг травы стояли на сре-
занных ногах. Это как человек, сражённый пулей, падает не
сразу. Какой-то кусочек секунды он ещё бежит в атаке впе-
рёд, бежит уже со смертью в груди, бежит за своей победой.
Разве он думает о смерти? Но смерть-то уже навечно посе-
лилась в нём.

Так споро, так легко всё шло у Никиты, будто, казалось, он
и не был причастен к волшебству своей работы, просто на-
махивал сказочной палочкой-косою, и уже вслед за ней тра-
вы со вздохом, покорливо ложились рядышком в валки.

Открыто смеяться над горьким залётным расхлебайкой не
отваживались. Начальство-с! А потому, прикрывая рты ку-
лаками, разошлись по своим местам. Мол, пляши как зна-
ешь, а нам не в час рвать над тобой, танцорик, животики!

Вождешок шёл в последышах.

Его никто не видел кроме Поли.

Поля покормила сына и пошла к Сергею взять косу. Он
был к ней спиной.

Искоса она видела, как он замахнулся её косою, как по-
тешно дёрнулся, обегая себя с косою в вытянутых руках.

«Цирк приехал бесплатный ставить, что ли?» – подумала
она и, приблизившись, опустила голову.

И тут...

С разворота, уже теряя силу, коса клюнула своим носом Полю ниже щиколотки. Алая струйка нервно прочертила дорожку к ступне, зализалась под неё и копила уже там сбегавшую кровь.

Вывалил Сергей глаза. Откуда здесь взялась Поля? Откуда эта кровь?

Раскрыла Поля рот, но не крикнула. Зажала боль. Хватило воли смолчать. Иначе что б случилось с Сергеем?

– Дул бы ты отсюда до горы, чёртов помогайло, покуда никто не заметил. А то до худа недолго достать, – морщась, проворчала она, зажимая рану пальцем.

– Я тебе помогу? – расшибленно промямлил он.

– Напомогал, дундуля, выще глаз! Уходи! Уходи, пока, – глянула на весело работавших и не обращавших на них внимания косцов, – пока хлопцы не порвали тебе бока.

Она выдернула у него свою косу и, ладясь идти поровнее, покулюкала назад за кусточки к сыну. Там она заложила рану тряпицей, подержала, покуда не задавилась кровь, и стала косить одна чуть в сторонке.

А Горбылёв торопливо распростился и не поехал, а почему-то понуро побрёл в сторону Калача. Конь шёл за ним, скорбно покачивал головой и тоскливо по временам фыркал.

Дома Поля сказала, что и не знает, где это она подпортила ногу, что всё это пустяк и наутро снова засобиравлась на покос.

– Вот это уже глупостя! – накатился свёкор. – Сиди дома. А то пойдёшь за уткой – потеряешь лодку. Всё одно дом не оставишь без глазу. Будешь нянькой за меня. Я сбегаю скошу твоё. Побуду хоть день комсомолёнком.

Поля уступила, осталась дома.

С самого утра жарко разгорелось солнце. Она сидела на завалинке и прядла. Перед ней в колыбельке, что подвязали к суку груши, лежал Митя. Её шатнуло спеть ему. Но что? Колыбельных песен она не знала.

Она задумалась.

Из какого-то дроглого марева зыбко повывдвинулись картинки её свадьбы. Временами что-то виделось впроблеск чётко. Тут помню, тут не помню... На удивление самой себе вспомнился кусочек одной свадебной песни, и Поля запела, слабо поталкивая люльку плечом.

– А на гори дощик з росою,
Говорила дивчина с косою:
«Ой, коса ж моя кохана,
Щосуботоньки чесана,
Щонидилиньки квитчана,⁴⁰
За один вичорок потиряна».

Пела она скорей себе, а не сыну. Сын уже спал в колыбельке, в обычной плетёной ивовой корзинке. После самого дома она была самая старшая, вторая в доме по старшинству. Её

⁴⁰ **Квитчана** – украшенная цветами.

не раз поправляли, подплетали новыми прутьями, и это не вредило её особому почёту, потому что в ней начинали расти все, кто жил и живёт ныне в доме. Случалось, старик вгорячах выкидывал её, дряхлую, за клуню. Проходил какой час, он летел за ту же клуню, проклинал своё легкомыслие. «Да в ней же весь наш род вырос и не нужна? Помешала?» Снова поднимал её на чердак, в тёплышко, откуда её ещё раза три выбрасывали и скоро возвращали. И вот дождалась старенькая колыбелька нового жильца. Митенька сладко спал в ней. Подрагивали розовенькие ноздри, шевелились губки. Они пахли черносливом.

Услышала пенье свекруха, под села к настезь раскинутому окну, створки которого едва не касались Полиной головы.

– А ну тебя, Польшка, к коням со своими жалобами. Сыграла б чего распотешного! Да и посматривала б, прядёшь чё. Прядёшь же нитки, как куриные лытки. Больно натолсто.

Поля оглядела пряжу на веретёшке.

– Разве это толсто?.. А истонко прясти – долго ждать, мамо. Ничё, сойдёт. На зимние носки пустю, большь тепла будут собирать.

– Ну разве что на зимние... И что, ни одной охохошки не знаешь?

– Почему не знать?.. – Поля зарделась. – Знаю. Тилько як его петь Вам?

– Да как можешь.

Разговор разбудил мальчика. Он неподвижно уставился

на мать и не выказывал никаких чувств. Как бабка ни трясла ему рукой, как ни строила рожицу, упрямо не поворачивал к ней голову. Старуху это задело. Она дразняще выставила язык, высунулась до пояса и едва не выпала из окна. Это геройство, казалось, мальчик заметил, оценил любовь к себе бабки. Улыбнулся в награду.

– Так бы и давно-о надо, Никитыч! – поощрила бабка улыбку и позвала его к себе высохшими, тонкими пальчиками. – Ну пойдёшь к бабушке на ручки? За это я скажу тебе сказку про козу-лупоглазку, скажу другую про козу голубую...

За обещанием сказка не последовала. Мальчик же, похоже, лежал и ждал именно обещанной сказки. Бабка все уже свои сказки забыла, и Поля не знала. С благодарной теплотой старуха заглянула мальчику в синие глаза с отливом, неожиданно ударила припевку:

– Мне сказали про милова —
Он черненький, маленький.
А я вышла посмотрела —
Как цветочек аленький.

Мальчик счастливо дёрнул пухлой ручонкой, обрадовался бабкиной выходке и разом потянул кверху обе ручонки. Подымите!

Поля поставила его на ножки, поддерживает широкой ладонью за спину. Он колыхался в кошелке, готовый упасть.

Но ещё больше, наверное, зуделось ему выстоять и услышать,
как мать отвечает:

– Пойду плясать,
Доски гнутся.
Сарафан короток,
Ребята смеются.

Бабка как-то лихостно скакнула в окне с ноги на ногу, в
приплясе ткнула в сосредоточенно сопевшего внука рукой с
платком.

– Поиграть хотца,
Сплясать хотца.
Сбоку душка стоит,
Поплясать не велит.

И тут же дальше:

– Эх, что стоишь
Посвистываешь?
Картуз потерял,
Не разыскиваешь.

Поля повязала мальчику серую ленточку на левую руку.
Разгладила эти часики.

– Мой мил при часах,

А я при калошах.
Не любила я плохих,
Любила хороших.

Хвастливой оказалась и бабка:

– У маво у милова
Четыре рубашки,
Еще пояс да ремень.
Пирменяя каждый день.

Поля посадила мальчика на ладонь, гордовито подала в окно бабке. Полюбуйся, свекровушка!

Старуха наклонилась принять кроху – Поля отступила на шаг. Держала сына на вытянутых кверху руках, покачивалась, светло выхвалялась:

– У нашего у нашки
На щеках-то ямки.
Много денег у него,
Выди замуж за него.

Старуха приняла в окно мальчика, поцеловала в коленку и, прижав к груди, загудела протяжно, просительно:

– Проводи-и меня, Митрю-у-ушка-а,
Ночь темна-а, одной мне жутко.

Уставилась в глазики, затормошила:

– Никитч, ну доложь как на духу, что ты думаешь про нас? Вот, скажешь, две здоровые долбёжки в детство упали и выкачуриваются. И попробуй уведай, кто здесь взрослый, а кто писун. Не-е... Что малое, что старое. Слава одна, бзыки одни. Не так? Докладай...

Мальчик без доклада захныкал. Запросился к матери.

– Уходи, уходи. Не восплачу! Мне и так мои косарики покажут все двадцать четыре света в одном окошке. Солнце на обеде уже. А я, старая кошёлка, ещё не варила, не пекла. Всё с тобой чичкаюсь. Вот-вот набегут мои подобедать. Что кушать-то станут? Ою, нарядуть на кривую веретену!

В панике бабка сунула в окно мальчика.

– На-кась, Полька, Митрофания Никитча назад. Всё! Побёгла на поклон к чумазым чугункам. А ты... Скоро жнива... Подмети в клуне... Осторожней там. Намедни видала, как черти поблизу носили какого-то запорожца.⁴¹

– А-а!.. Поносили да и бросили. Унесли куда...

Подмести в клуне тоже дело.

И Поля мела, посадив мальчика у двери на серый платок, раскинутый в теньке у двери. Вдруг то ли ей чудится, что слышит, то ли в самом деле слышит: зовёт её кто-то. Вслушалась. Голос из знакомых. Выскочила из любопытства за клуню. Серёга скок со вчерашних дрожек, подаёт поверх плетня

⁴¹ **Запорожец** (здесь) – непрошенный гость.

узелок.

Опешила она, пристыла на месте. Подойти? Иль убраться к свекровке, подальше от трезвона? У нас же всякая травинка видит, всякая пылинка говорит. На полземли слышать.

Поля рывком повернулась уйти.

– Варакушка, – догнал её повинный, горький голос, – пожди...

Как резко пошла, так резко и остановилась. Повернула лишь голову. Кинула с плеча:

– Ну, стою. А дале шо?.. Чего ты по чужим по задворьям слонов слоняешь?

– Будто я и себе отвечу на такое... Спроси попроще что...

– Ищешь летошний снег? Ну!?! Пустыня у тебя в голове! Зачем ты сюда?

– Вот зачем. – Сергей тряхнул узелком. – Бери.

– А что там за отравы?

Боясь, как бы и впрямь не навязал ей эту узлину через силу, она унесла руки за спину.

– Вчера... после... примчался в Калач. В аптеке взял, что нужно к такому случаю, и назад. Свечерело уже, черед отпылила с пастьбы... Крутился вокруг вашей хаты до ночи. Думал, Боженька вышлет тебя, так отдам. Не выслал... Ни с чем и уплёлся...

– А-а! Так это ты баклуши сбивал? Свекруху мою смутил... Пока конишка на бегу, летел бы с глаз. Он у тебя ученый, за тобой пеше ходит. Вчера видала...

– Учёный...

– Да... По городам не только люди ученые. Там и кони все прохвессора...

Сергей уловил насмешку в её словах, насупленно буркнул:

– Как нога?

– А шо нога?.. Приложила свежего пирога коровьего... Видишь же! Мало подёргивает, да это нанедолго. День какой, два. А там и засохнет, як на собаке. А там и пляши польку, Полька...

– Возьми узелок. В нём всё такое от ранения...

– Чего удумал... У нас свои травки, баня... А этими лекарствами сам свои городские правь болячки. Во всем роду в нашем никто и разу не забегал в больницу... Уж лучше сознайся, внарошке, в отместку чесанул по ноге иль всё ж по нечайке?

– Ничего себе нарочно! Да я в смерть напужался. Вот уж где ваньзя! Всю жизнь жил в деревне, а косу даже не умею держать!

– Посказал! На кой тебе коса? Ручку удержишь с пёрушком? Удержишь. Ручка и прокормит. Что тебе, грамотнику? Не нашего ты поля ягодка теперь. Городского. Калачеевского.

Сергей воткнул нос в землю.

«Это ни в какую гору не складёшь... Р-раз и пересадила меня в городской огород кверху корнями. Живо-два отсадила от своего сердца... Из-за проклятой школы невзлю-

бил меня твой батяня. И всё равно сунься я раньше сватать, отдал бы. Ну куда б он делся? А тут... Только на девятнадцатый годок взлез, ан слышу донесению: Польку выдали в Криушу в Новую... Умылся Серёжик... Не оставляй, горяша, свою любинку ни на день, если хочешь, чтоб она от тебя не ушла. Нестойкий элементишко женщина. Кто поманил быстрее, жалостливей, туда и побежала козлица капустку грызть?»

Его молчание подпекало Полю.

– Чего молчишь? – спросила она. – Иль у тебя язык ничточкой перевязали? Подхвались, об чём твои думки?

– Да думка одна... Куда ни кинь, всё клин, а рукав не выходит... Взяла б узелок.

– Зачем? Принеси в дом, як запоють? Где? Шо? У кого? Догадки пойдуть. Клубок такой свертится, шо и окаянцу тошно станет, сорвёт.

– Я вёз тебе, неприступа... Ты не берёшь... Так я его здесь и похороню. – Сергей набутусил губы, швырнул узел невдалеке от тропинки, где стоял, в крапиву, и уже оттуда, из крапивы, узелок смотрел сиротливо, заброшенно.

Сергей почему-то сравнил себя с пропавшим узелком в крапиве, подумал о себе: отваленный, никому не нужный ломоть. Ему стало жалко себя, обидно за себя. Годы бегут, бегут скрозь пальцы, как вода, а в горсти жизни ничего не зацепилось, пустота.

Маятно и вместе с тем восхищённо-завистливо покосился

на мальчика, – на четвереньках ползал по краю платка и не решался перескочить через толстенные прядки бахромы.

– Как назвала баловушку?

– Митя.

– Воинственный... Дмитрий Донской... Богатая ты, счастливая. У тебя уже сын, продолжение твоё.

Откровенная его радость как-то разом обожгла Полину колкость, умягчила.

– Один сын, – зарделась она, – не сын. Это мне так говорила свекруха. Два сына – полсына. Кабы их три сына – полное хозяйство. А уж коли шесть сынов – три царя, три бабки!.. Не помирай мои соколики, небо б подперли...

– У тебя ещё были дети?

– Были... Да Господь посетил, шестерых прибрал сыночков. Длинней месяца ни один не жил...

Слёзы без спросу покатались у неё по щекам. Они собирались на подбородке. Поля тихо качала головой, слезинки бегали по его ободку, вытягивались и белыми копешками сыпались в траву.

– Шо я про себя да про себя. Ты-то як там, в городе? Як складлась жизнь?

– А никак, Полюшка... С кем складывать-то?

– Парубок ты на лицо гарный, стати высокой... На такой работе да не найти кого под пару?

– Работа... Ну, на людях всё время. Правильно. Ну и что? Без тебя ненастье на сердце, так и в ведро дожди бьют... Вро-

де и хорошие встречались... А гляну раз, гляну два – нет, не могу и не хочу. Не лежит душа, хоть убейся... Коварная дама жизнь. Не даёт сполна радости. В одном, кажись, уступила, лишку даже, может, плеснула. Так на другом так тебя ахнет, едва не всё выплеснет из тебя. Судьба не любит своего терять. Вот я. Ворчал на меня прилюдно твой отец. А так, в глубине, привечал. И присватайся я раньше Никиты, взял бы в зятя. Не вскозырился б, не упёрся бы против твоего желания. Было б, как ты хотела.

Поля грустно кивнула.

– А вкружило в комсомолий... Я ж в хуторе у нас не первый ли комсомолишка... до озверения активный... Двум радостям в одной душе не ужиться. Потерял тебя. На том и сел.

– Подай волю, я б ждала тебя, як обещалась. Но батько напрямую сказали: не пойдёшь за Никития сама, отдам за столб, а в девках рассиживаться не дозволю. С-под батько-вой воли иль выскочишь?

– Ты довольна сейчас? В радости живёшь?

– А ежли б щэ знатъё, шо оно такое радость... Есть-пить вдохват, домяка царский... Всего до воли кругом. Наши все на коготочках передо мной. Так бы в грудной кармашек вместо цветка посадили да носили... Мне всё это в мýку. Я, правда, не показую, да от самой себя разь укроешь?.. И на золотую подушку слезе не заказано падать... Стороной слышу-послышу, как промеж собой молодайки говорят. Радуются не нарадуются со своими мужиками. А у меня по-их-

нему ничего и близко не ложится. Всё ровно, всё прохладно, с какой лаской ни разбегайся ко мне мой. А чего я к нему такая, кто бы мне и оттолковал? Он добрый, больной на работу... Дорогой любви сто́ит! Понимаю я то разумом, да сердцем того дать не могу. Не сердце, ком ледяной... Сердце у меня в мачехах... Твердили, стерпится – слюбится, стерпится – слюбится... Что же не стерпелось?.. Устала я. И чёрт так в ступке не утолкает... Устала от своей нелюбви, устала от брехни и себе и ему. Тольке молчу... Молчу, молчу, а там и вымою подушку слезьми. А там и поплыла моя подушенька с-под лица на моих на горьких...

– Эх, варакушка, затерялись мы с тобой две бездольные былинки в пустом тёмном поле. Какому ветру не лень всяк нас долу гнёт в дугу. А стань мы рядом, стань союзом, не ровнее бы стояли? Ровнее, крепче! Вдвоем мы крепче! Вот влети мы в *тот* хмельной апрель, на *ту* лесную стёжку, снова ускреблись бы домой разными дорогами? Разными?..

Медленно, твёрдо Поля повела лицом из стороны в сторону.

– Не знаю...

– Зато я расхорошо знаю, родинка... *Одной* дорогой ужгли б мы тогда на край света! – вывалил он с горькой страстью и подивился себе: «Я ли молочу? Наконец-то рассмелел карасик...»

Она согласно, кротко мотнула головой, будто стряхнула тяжёлые, смутные мысли, отнёсшие её куда-то далеко отсю-

да. Прикипела к Сергею тревожным долгим взглядом.

– К-край света?.. Где он? Мой край Манино... Там мама родилась, до замужья жила... Ну, Скрыпниково ещё...

– А другому откуда взяться? Ты ж дальше этих деревнюшек не забегала.

– Не забегала, – торопливо подтвердила Поля. – И мы б в самом деле поехали? Яа-ак?

– Это просто. – Голос у него дрогнул. – Я бы, как писали в старых книжках, подал бы тебе карету...

Широким жестом показал на дрожки со здоровым жеребцом.

Поля подхватила Митю, спал калачиком на платке, неуверенно похромала через заднюю калитку к дрожкам. Любопытство подстегивало её, и она уже боялась, что он скажет, что все это игра. Но он благодарно молчал. Она набавила сбивчивого шагу.

– Посадил бы тебя... – Сергей помог ей подняться. – Сел бы с тобой рядышком... – Он сел рядом. – Вот так... Вот так бы шмальнул своего конёнка... – Сильный удар. Коня, которого никогда не били, кнут поднял на дыбки. Как бы падая с той выси, конь набрал злую скорость, с места рванул молнией.

По глянцевито накатанному просёлку дрожки несли бешено, ныряли на редких пологих неровностях. Проснулся Митя, недоуменно уставился на мать. Казалось, он спрашивал: «Что же это вытворяется на белом свете? Куда это Вы,

мамынька? С кем?»

Впервые не выдержала Поля сыновьего взгляда. Больней прижала мальчика лицом к груди.

Взыгравший ветер заставил её посмотреть на себя. Только тут она увидела, что была босонога, простоволоса, в одном облинялом ситцевом платьишке с короткими рукавами. Под ветром платье так живописно выказывало сладкие радости молодого упругого тела, что Полю кольнула неловкость перед Сергеем.

«Я совсем ни в чём», – пожаловалась она ему одними глазами.

– Эта беда до первого магазина!.. Поспеем в Калач к вечернему поезду!

Он вытянул жеребца по боку. Тот взял ещё звероватей, ещё шутоломней, будто тысячу лошадиных сил вбили в копыта. Конь летел, откинув гриву, и она, длинная, мифическая, вытянутая на ровно стонущем вихре, казалось, окаменела чёрным гребнем. Весь экипаж разлился в одну стремительную полоску, мчащуюся Бог весть куда, и спроси об этом ездоков, они б наверняка удивились вопросу и не смогли бы ответить. Однако они спешили. Куда? К чему? Что они делали? Всего этого у них и в мыслях не было ещё несколько минут назад.

– В обрат! – Поля в ужасе ткнула раскрытой пятернёй в мелкий, жалкий кустарник, который огибал проселок и из-за которого навстречу гуськом вытягивались к обеду косцы. –

Давай в обрат!

Как же раньше не заметил их Сергей? Поворачивать поздно, увидали. Да и не уйти уже. До них метров каких десять. Проскочить! Он с особой силой, свирепо хлестанул жеребца, и тот, всё ещё не привыкнув к жестоким ударам, дрогнул, надал. Косарики со скошенными лицами метнулись с проселка врассып.

– Никишка! Твоя баба с малым на руках!

– О Господи!.. Господи!..

– А Господи чем же не Бог?

– Куда лукавый её несёт?

– К-куда?!

– Не кудахтай, а то снесёшься!

– Чтой-то делать надо!

Дрожки уже пролетали последних косцов, как Никиша, шедший в хвосте, дикой кошкой кинулся к жеребцу на полном скаку. Мог он не рассчитать, мог обмахнуться, угодить под ноги. Ан нет. Каким-то хватким, мёртвым движением, каким-то магнитом – то ли то была случайность, то ли то была просто судьба ещё рано погибать, то ли то была распрекрасная сноровка, нажитая во многие годы общения с лошадьми, – поймал Никита, замыкавший вереницу, буланого под уздцы, обвил ногами верх передних конских ног. А дальше? С раскачки выкружить на оглоблю, оттуда, держась одной рукой за дугу, другой за гриву, выдернуться на самый верх? Сесть верхи и перехватить вожжи?

А не проще ли болтаться у жеребца на горячей груди и, помалу опускаясь, сжимать ему ноги своими? В конце концов сам не станет, так спутаю – свалится. Правда, на меня. И он на меня, и *они* на меня, и весь драндулетина.

Никита поплотней уцепился одной рукой за концы удил, другую перебросил на дугу. Судорожно прижался щекой к щеке коня. Фиолетово, устрашающе косил-горел над ним большой глаз.

«Родимушка... Ты не человек, ты всё понимаешь без слов. Не сироти меня, разуважь... Стань... Зачем ты её увозишь? Я без неё и дня не выживу...»

Когда Никита повис на узде, Поля в испуге уткнулась Сергею в плечо. Обмякнув, он выронил кнут и, обняв Полю, вжался губами в её губы. Она не отталкивала его, а только плакала и в полуобмороке подставляла поцелую губы.

«Коник, золотце, что за гидру ты к нам привёз? Я ж этого твоего водырька уработаю!.. Согну в дугу и концы на крест сведу. Я венчался с нею, а он целует... Это я из него соком выжму. За таковское мало всего выпотрошить да соломою чучело набить. Тебе не видно... Я вижу... Це...-целует... Перед смертью разбежался надышаться...»

Гася бег, конь заржал, изогнул шею, будто и впрямь хотел увидеть целующихся.

Напоследках дрожки остановились.

Сзади набегали косцы. Уже долетал вязкий стукоток босых ног по глянцу просёлка, слышались сопенье, выкрики:

– Во-от так гоп со смыком!

– Ну и молодайка! Вся в грехах, как в репьях!

– Да оно как и судить... В молодости и курица озорует.

– Ай да комсомолий-пособничек! Вчера приплясывал перед бабьей косой, а нонь саму всю бабу угрёб!

– Игде коммуняка лисой пройдёт, там куры три года не несутся!

– Зато мокрощёлки брюхатеют! С какой холеры кидаются они в разноску?⁴²

– Выкрал ястреб курочку! Разогнался целовать до последнего пёрушка!

– Ничо-о... Зараз толкач муку покажа!..

– Он ишшо рылом покопает у нас хренок! О-осподи, благослови! Эв-ва-а!..

Тычок косовиной в затылок был изрядный. Сергей резко выпрямился, судорожно хватнул воздуха и посунулся с сиденья. Ткнувшись ничком в конский зад, вальнуллся мешком вбок.

Поля явственно слышала, как голова глухо стукнулась о железо колёсного обруча. Вся она угнулась ниже к Мите, раскрылась орлицей над ним. Ждала удара, защищая в последний миг сына.

– Петруха! – гаркнул Никита на медвежеватого молодого увальня. – Ты что, блиноцап, мозгой тряхнулся? Ты зачем его огрел?

⁴² **Кидаться в разноску** – пускаться в разврат.

Подрастерялся как-то Петруха.

– Да не грел я ишшо... Нужон он мне, как жопе зуб. Я только так... пристрельнул... Починишко положил... Он и рад, сразу с копыток. Хиловатый на расправушку...

– Тебя никто не просил... Он-то при чём? Сучёнка не запрашит, у кобеля не вскочит. Не трогать!

– Свято-оха! Он тебя в позор втолок по ноздри, а ты... Бабу твою он не тронувши? Может, игде в леске невинность ей вставил? А? Громче! – Пётр всей пятернёй надставил ухо. – Не слышу.

– Тебе не вставил? И заспокойся. Своей беде я как-нибудь сам вложу ума.

9

*Ты прости, село,
Прости, староста,
В края дальние
Пойдет молодец.*

Наперёд Поли молва вломилась в Криушу. Молва пеше не ходит, молва угорелой сорокой напрямки со двора на двор, из хаты в хату, из окна в окно лезет.

– О! Видали! Как Польшка с этим с куриным жеребчиком из района... И не варили пива, да наделали там ди-ива!..

И следовало такое прибавленьице, отливались такие новые колокола, что только остаётся подивиться, как молодая жена все ещё смела ходить по земле. Давно, ах, раздавно, гневилась толки, надо упечь её живьяком в самое в главное пекло.

Отходили дни.

Молва всё таскала небывлые слова. Что же делать? Всякому на роток не вскинешь платок. И Поля, и Никита, и старики почернели с лица.

Едва отмолотились, старик и скажи Никите:

– Худую молву, ёлка с палкой, эту злу траву, скосить можно лише чужой сторонкой.

– Отец, нет в Вас христианской души. Это ж намёк. Кидай родителей домок да с глаз вон? Не так ле? – в растерянности спросил сын.

– А то ж как ещё? И чем дальше, тем лучшей. Что вам-то? Кости молодые, руки в крепости. Завербуйся куда и с Богом. С отъездом хула примрёт.

Ранней ранью, на самой кочетиной прекличке, Поля и Никита унеслись в Калач к уполномоченному по переселению.

– Сам Днепр! ГЭС строить?

– Не. Не пойдёт, – отмахнул Никита предложение уполномоченного. – Это ж где-то в недалней стороне. Тестюшка чумаковали, так говорили что-то за Днепр. Нам понадальше куда.

– Ну, Ростов. Сельмаш.

– Не. Мимо и Ростов. Это ж такая близь! Слыхал я про Ростов. Нам и слыхом чтоб не слыхали!

– Аллах его ведает, чего вы не слыхали... Не желаете юга – есть набор на север. Ну, Заполярка вот... Заполярушка... Ковда, лесозавод семь... Полгода – ночь... Во козырь какой!.. Не греет?

– А где это?

Уполномоченный – молодые застали его за чисткой на себе уношенного, с блёсткими пузырями на локтях пиджака – ударил щёткой в самый вершок карты во всю стену:

– Тут ваш рай! От Кандалакши крючочек вправо... Натуральный край света! Вот то рядом голубенькое – Белое море.

Одна вода и вода. А повыше туда и вода уже чужая, и земли чужие. В году одне сутки! Полгода день! Полгода ночь! Темней неш у волка в желудке!

– По носу нам этот табачок. Работа-то хоть какая?

– Королевская! – хохотнул уполномоченный. – Хватай боле – кидай далее! Какое дело у чернорабочего... Приходит водой лес. Надо разгрузить... Там новое. Распиловка. Распилили весь его на нужный ассортимент. А там погрузи уже готовый распиловочник. С работой не соскучишься. Арабить придётся по-чёрному...

– Нам не привыкать... Выписывай литер.

– Так и выписывай! – От удивления уполномоченный хлопнул щёткой по ладони. – Ты хоть утрудишься спроси в подробностях, что там да как. Думаешь, мёд? Думаешь, дело стало за большой ложкой? Северюга! Холодищи! На берегу моря завод придётся ещё достраивать. А потом и вкалывать на нём как сто китайцев!. Не ручки с перьями со стола на стол переключивать. Работёха – чёрная ишачка, работёха египетская... Солнца по полгода не видют. Во льдах примерзает!

– Да не страшай, – повеселел Никита. – Не в грозу коту сметана!

– Я не страшая, а с литером погожу. Чтоб потом не кляли. Неделю подумайте.

– У нас всё давно обсказано-обкашляно. Неужель будешь год помечать, а два отвечать, утолкавши делу под красное

сукно? Не тяни резину, порвёшь. Рисуй давай лучше литер.

– За моим рисунком дело не станет... Мне надо ещё в одной инстанции это ваше дело усогласовать. Думаю, всё промигнётся. Забегайте через неделю.

Но на второй день они снова были у уполномоченного.

– Отпихиваемся мы от Заполярки, – сказал Никита. – Дома в спокойе сообща посудили-порядили что к чему... Зачем нам своей волей в такие северные страхи вламываться? Рисуй на Ростов...

– Заходите через неделю.

Но ждать неделю не пришлось.

Через три дня, ночью, двое с винтовками постучали в окно. Им открыли. Те, зевая, велели собираться всем. Взять можно только по жалкому узлику.

– Собираться? – Посреди комнаты Головок раскинул мёртвые руки. – За что?

– Он не знает за что! – помрачнели конвоиры. – Три годяры сибирского лесоповала отсипел ты или твоя кепка?⁴³

– Но я отсидел! Своё!

– Вот за то и берём, что уже сидел... Плохо сидел... Ты отсидишь своё, когда поймёшь, чего от тебя надобно. Сидел, сидел полные три годяры, а до мысли вступить в колхоз не досидел. Когда ты дозреешь? Когда в ум въедешь?.. Но у тебя

⁴³ В годы войны (при военном питании) лагерники называли три недели лесоповала *сухим расстрелом*. (А.Солженицын).

пляшет выбор. Пиши сей менток заявлению о приёме всем двором в колхоз и падай спи даль. Мы и одной твоей блошки не встревожим!

– Я без грамоты живу...

– Так мы за тебя напишем.

– От себя?

– Он ещё зубы мыть! Собирайсь живеи. На сборы полчасу!

– Полчасу... Как жа так? Всем родом... Век наживай – и в полчасу всё спокинь?! Дом... Амбар с новиной⁴⁴... Коровы... Лошади... Быки... Мельница... Покидай кому на растаск?

– Не горюй, дед. Власть не даст растащить твоё добро...

– Или она сама его и слопаёт?.. Так вьясните, за что вы нас угребаете посереёдушке чёрной ночи?

– За грубость. Ты власти не груби. Зовёт тебя власть похорошему в колхоз – иди смирно. Не кочевряжься. Сейчас побеждает тот, кто проигрывает. Смирись, иди колхозствуй и ты в победе. Хата и всё такое останется при тебе. А не подкоришься... Пять раз по три ещё откукуешь за кружочком,⁴⁵ покуда с радостью не влетишь в родной колхоз. Власть терпеливая, власть уждёт...

– Всё это я уже пробегал... Чего этой власти надо? Какой я в хренах кулак? Бумажный кулак! В колхоз не записался и объявила... обозвала кулаком. Захотела и обозвала... А там

⁴⁴ **Новина** – зерно нового урожая.

⁴⁵ **Кружочек** (здесь) – Полярный круг.

захотела и три годищи лесоповала всукала... Все налоги чуть не с переверхом сдавал... У меня в жись не бывало ни одного работника!

– А ехал бы на работниках, на тебе давно б каталась верхи госпожа Колыма... А власть с тобой нянчится, как с малым дитём. Всё ждёт, когда ты подумнеешь.

– Подумнела б сперва она, эта ваша властюра... Чего она ко всем лезет? Я не пошёл в колхоз, я запретил всему семейству вписываться туда... Так и рви меня одного! При чём тут моя больная хозяйка? При чём тут мои сыны Никита, Михаил, Иван? При чём дочка Мария? При чём тут невестка Поля? На конце концов при чём тут годовалый внук Митрей? – дед тронул колыбельку на цепи, накинутой на крюк в потолке. Мальчик проснулся с приходом конвоиров, сторожко тарщился на них и теперь, услышав своё имя, бездольно заплакал. – При чём тут парень годовик? Что, не помучивши его, ваша хвалёнка власть рухнет? Что, на детском горе она и дёржится? На детской слезе в советский рай въезжает? Шакалья ваша власть! Шакалья! Даже без суда гоните!

– А зачем суд? Это когда ссылка, суд нужен. А тут высылка... Всего-то... Безо всякого суда! Ты даже голосовать можешь! И все ваши... Хвата, дедушара, аллилуйку за хвост тянуть! Собирайсь и на подводу. Краснуха⁴⁶ на запаске уже заждалась...

⁴⁶ Краснуха – красный телячий вагон.

На их красном вагоне было мелком нацарапано: «Скоропортящийся».

Ни в долгие дни, пока красный состав тащился на север, подолгу отпыхиваясь в тупиках суматошных станций, ни после, в бесконечные заполярные ночи, Никита и словечком не намекнул Поле про её грех. Напротив. В чужедальней стороне он как-то ясно почувствовал виноватым во всём себя. Ну да, говорил себе, оставаясь наедине со своими мыслями, если подумать, так разве её не понять? Она ж честно созналась в первый же день, что любит другого. А любивши да разом с корнем из души – это только у того и получается, кто во-все не любил, кто только трещал про ту любовь. Разве она что-нибудь скрывала? Врала? И если по старой памяти Горбылёв забрёл на старую стёжку, какой я судья в этом клубке бед сердечных? Отлепись я от неё сразу, она, может, и дохороводилась бы до венца со своим Серёжиком. А раз я сам полез к ней не силком ли, взявши в помогайлы жадину её батечку? Кого теперь винить кроме себя? Досталась гадине виноградная ягода...

Конечно, ягода Поля. Его сжигала жажда поскорей замыть свою вину перед ней. Если в Криуше он раскладывал работы на мужские, на женские и уж не за свою и за золото не брался, – мог и отец подструнить, или ты не казак, что за бабьи хлопоты хватаешься? – то теперь, оказавшись на заполярных высылках, зажили они ладней, согласней, и Никита не различал, где в доме чья работа. Подбегала свободная минута,

ломил все подряд. И обед сварит, и пол помоеет, и пристернёт что по мелочи, и ночью к ребёнку встанет, покачает... За старушкой матерью шибко не разгуляешься. Часто и тяжело она хворала, ей самой нужна была подмога.

На вторую весну, в мае, нашёлся у них Глеб. Три года спустя, родился и третьяк, Антон. Вот тебе и полное хозяйство в дому.

Может, так бы и примёрзли, прожили б они за Поляркой, не получи однажды письмо от Полиных стариков. Сели читать. В обычае, Поля слушала, по временам просила повторить понравившееся или непонятное место. Непонятных мест было густо, потому что и из Никиты был чтец никудышный. На двоих один класс путём не кончили. Отходил Никитка в первый до Николы, отец и скажи, хватит попусту жечь монастыри (протирать штаны), и этого довольно за глазоньки. Читал Никиша по слогам. Длинное слово бралось с отдыхом посередине. Пока одолевал он конец, Поля порой умудрялась забыть начало. Разгадывалось всё сначала. Сам Никиша, еле-еле разбирая руку Анюты, Полиной товарки, сестры Сергея, – писала старикам под диктовку и читала ответы – трудно вникал в соль письма. Почти вся его энергия уходила на прочтение, на выкрикивание раскрытых с превеликим усердием слов. Казалось, Анята в зло писала так, что сам архиерей не поймёт. Даже Поля деловито пускала глаза в листок, манило помочь мужу.

Весь вечер забирало письмо. Прочитав его раза три, Ни-

кита выучивал его чуть ли не наизусть. И если потом Поля спрашивала про что-нибудь из письма, он не лез в конверт, куда складывали все собачанские и криушанские грамотки, по памяти говорил интересное ей место.

Обыкновенно, получение и чтение письма превращалось в маленький семейный праздник. Как-никак вестонька с Родины. Из ДОМУ!

В противовес прежним эта читка вышла какой-то невесёлой, смятой.

Никита невпопадку повторял не ясные Поле места, проглатывал целые слова, не то что окончания, всё спешил отпихнуть письмо в сторону. Поля уже привыкла к Анютиной руке, знала, что та всегда кончала одной и той же привеской «*Писала Анюта*» и тут же ставила дату. На этот раз ниже даты курчавились ещё строчки. Совсем другая рука. Чёткая, уверенная, смелая, сильная. Полю заподкусывало разведать, что ж то за слова, кто писал. И чем ближе подбирался к той пришлёпке Никита, тем всё заботливей, всё просительней заглядывала она ему в глаза.

– «*Писала Анюта. 15 мая*». И всё... – Никита воткнул письмо в конверт.

– На этом всё?

– Добавки не прислали.

– А под Анютой, под числом что подлеплено? И сбоку ещё что-то, на поле, поперёк? Рука совсем свежая. Другая.

– Руки все одинаковые. Непонятные.

– А ты всёжжи своими словами скажи, шо там.

– Да ничего стоящего. Про порядок в танковых частях...

«У нас всё в порядке». Очень интересно?»

Чисто бабьим чутьем уловила она, что бухнул он то, чего не было.

Бухнул и заалел. Враньё ему не давалось.

– Ты сказал три словка, а там вроде до паралика было на-кидано!

– Растянуть, размазать можно и одно слово на весь лист. Не веришь, так читай сама! – Он угрюмо подтолкнул к ней по столу письмо и вышел.

Поле стало не по себе. Он что-то скрывал от неё? Что именно? Наутро ей пришла мысль показать приписку одной своей *письмённой* товарке. Едва Никита ушёл к себе на распиловку в лесопильный цех – обычно он уходил первым, по пути заводил Митю в детский сад, – кинулась она к конверту. Вчерашнего письма не было.

«Старые письма годами целёхоньки, знай себе пыль копят, а это в мент исчезло? Да что в нём такое было? Тут какая каверза да и буянит!»

Чутьё не обманывало Полю.

Ни звука не сказала про пропавшее письмо. Под сурдинку наладилась ждать, как оно всё покатится. Заприметила, стал её благоверушка какой-то рассеянный, всё больше молчит. В лице толклись досада, недоумение. Казалось, недоумевал он только потому, что таил от жены что-то такое, что никак

не мог ей сказать, и это вынужденное молчание угнетало его, било.

А в конце нового письма была эта большая приписка, которую Никита не своей волей скрывал от жены.

Никиша, сынок, – сообщал милый тестюшка, – только на той неделе отписал под диктантйй вам свою писульку, а уже соскучилси, как малое дитё. Наехали мы сегодня с хозяйкой на секунд к вам в Новую Криушу. Постояли на вашем меловом бугре, на милой вашей Лысой горушке, посмотрели на вашу усадьбушку и всё в нас заплакало... Спускаться к соседям вашим побоялись – ещё неизвестно, что потом бы связали... Сынок, где усадьба ваша жила – теперь голая ладоша... Дом ваш взял себе колхоз под правлению. Землюшка ваша при доме брошенная плачет. Обижают её осот, лебеда, лопух, незабудь, калачик... Я писал уже, скот ваш колхоз прибрал. Колхоз прозвание имеет «Безбожник». Ох, «Безбожник», он и есть безбожник.

По обычаю, писала вам письма под мой диктантйй Анюта. Написала она и это письмо. Я его не отправил сразу. Отложил. Сегодня у меня писарчук надёженец, я и говорю, чего б не сказал при Анюте. Она писала, писала, много пустого места осталось. Не пропадать же, я и диктую ещё. Ты это Полюшке не читай пока.

Не соли лишний раз душу... Добежали до нас окольные слухи, нету Горбыля в Калаче. Перебросили не то в Нижне-

девицк, не то в Лиски, не то за Лиски. Можя, возвернулись бы к нам? Мы с хозяйкой истаяли, как воск. Ишию не таять! Нам же в субботу будет по сто лет. На том свете семеро колёс объездили, никак не същут нас, а мы-то ещё на этом свете. Я совсем слабкий... Кабы человек, а то хуже нашего старого кота. Старость, сынок, не младость, не красные дни. Поджалели б нас, возвернулись. А Полюшка не захочет, не съмайтесь с места. Было б вам хорошо, а нам и Боженька подхорошит...

Вчера полез на печь, подул ветер навстречь. И надул мне в уши... Что вы вцепились в тот север, как грешник в праведника? Грешника ещё поймёшь. В рай за компанию разлетелся пролизнуть. А вот вас я не понимаю. Что вы, каторжанцы, убёгли в холод? На север по тюрьмам засылают, а вы своей волькой туда вскочили! Скажете, как же это своей волькой, раз нас под ружьём на спецпоселенку... на те чёртовы выселки везли?! Смехота куриная эти ваши выселки! Вы б наших покушали, хоть нас никто никуда не выселял! Время какое отбежало, и только теперь видишь, что все мы на выселках. Только вас кудай-то вывезли, а нам наши выселки подали дома, до-ома... Вот так я сверяю и вижу, что ваши выселки слаще. Вы не стали вступать в колхозий-бесхозий и правильно сделали. Вас и повезли нашармака мир показать. А так бы, на свои кровнушки, куда б вы поехали и когда? А то везли с каким почетищем! Под проэекторами! Под охраной! В сталинских красных вагонщиках! Как

царей! Никто чужой не подойди! А поедь сами... Дорогой ещё какие бандюры и приплантовались бы... А так... Подходи! Пулемёт на вагонной площадке ждёт-с!.. Вы там свои часики отгрохали на лесозаводе и вы в свободе. А мы у себя дома? В колхоз столкали, как щенят слепых в отхожую яму покидали. Цвети и пахни, Владимирушка! До последнего обобрали. Всю живь, всё зерно под метёлку выдрали... Вы по часам отбываете свой завод. А мы горбатимся с ночи до ночи. А за что? За палочки-стукалочки! Палочек тебе можно с миллионий нарисовать. Только на них и мешка зерна не дадут за год. Что с огорода у хаты сгребёшь, то и твоё... Ни выходных, ни проходных... Беспросвет вечная. Так чем ваши выселки не лучшие наших? Охо-хо... Прежде, до коммунизми, мы жили не тужили; теперь живём – не плачем, так ревём! «Оглушены трудом и водкой В коммунистической стране, Мы остаёмся за решёткой На той и этой стороне». Ну разве неправду сказал дядько поэт?

В Криушу вам не к чему возврататься. И в Собацком вам делать нечего. А что позвал, так это так, от дури старческой. Ну чего вам, молодым, тонуть вместе с нами в нашей общей отхожей яме? Можса, перемахнёте в тепло в Казахстаний? Бабка Олена уже тамочки коптит свои косточки. Дед её Борохван примёр, угорел на службе. Пошёл сторожить, уснул в певчей и позабыл проснуться. Горе какое... Детишков у них не было. Олёнушка-свахонька и съедь к замужней приёмной дочке-выселенке куда-то в Казахстаний.

Видишь, дочка – выселенка, Олена – вольная, а живут под одной крышей. Навприконец Вы тоже выселенчуки. Начальство ваше разве не отпустит? Какая разница, где жить на высылках в Заполярье или в азиатском тепле. Так у вас козырь какой. Трояшка детишков! Всё про Олену, генералиху над дочкиными детьми, знает мой новый писарчук, в новом письме он даст точный ихний адрес. Спишись, уведай всё до точности. Понаравится, можса, и скакнёте на теплышко. Внучкам там было б ладно. Поле и про Казахстаний не читай. Чего допрежде время болты болтать? Уведай, расспроси письмом всё хорошенько. Устроит вас всё, тогда и пой. А так не баламуть бабу в пустой след. Не пристало мужсику ходить в болтунцах...

Криуша отпала сразу. Ну с какими глазами ехать домой? Все ж травинки знают, от какого сраму убегали. И на́, явились, как красны солнышки... Не станут ли Горбылём стебать по глазам? В сторону и Казахстан. Что мы там забыли?

Но примерно через месяц пришло новое письмо от Полиных стариков с припиской поперёк. На полях. Снова была рука не Анюты, а надёжного писарчука. Не читая вслух адрес-приписку, Никита мрачно отбубнил письмо, тут же его сжёг и тайком от Поли каракулисто настрогал бабе Олене целых полтетрадки. И как только отнёс бегом на почту, стало легко, ясно на душе, будто уже получил ответ и было в ответе всё как хотелось.

Не удержал себя. Однажды невзначай возьми и ахни под настроение:

– А чего б нам да не увяяться куда отсюда? Лично у меня один глаз на Кавказ, а другой на тёплые воды!

– Кавказ? – удивилась Поля. – Зачем?

– И правда, зачем? – Он спутал Казахстан с Кавказом. Подумал и не стал ничего уточнять. Весело подпустил: – Ну как зачем? У нас три женишка. Что им в промозглой ночи преть, в вечной темноте в этой? По полгода без солнца!

– Зато полгода и ночью сонце! – возразила Поля. – Спать при сонци.

Было в доводе Никиты что-то дельное. Тогда чего он о солнце молчал раньше? Солнца не было и раньше по полгода, хотя ребята и были.

Между тем разговоры эти вылезали все чаще. С ними свыклись. Склонилась к переезду и Поля, и вопрос всего стоял в том, куда ехать.

– Непременно в тёплую сторону. На солнце! Мы живём для ребят. Ихнее здоровье – наша главная забота.

Поля не возражала. Однако север ей нравился. «Обживёшься – думала она, – и в аду рай...» Здесь обрела она равнинный, душевный покой. Здесь пережила полную радость материнства. Здесь наконец ей нравились и завод, и люди, и посёлок, покрытый весь досками, где никто не видел на улице ни земли, ни асфальта. А доски, доски, доски одни кругом. В досках тротуары, в досках улицы...

Никита с Полей пришли по обычаю отметить – отмечались они в комендатуре дважды в месяц, – а отмечальщик, кротоватый, заплывший ленью и жиром коротенький старик, и скажи:

– Пятачок ваш истаял... Что думаете?

– Откуда взяли, туда надо и возвернуть, – сказал Никита.

– В Новую Криушу?

– А хотя бы...

– Для Новой вы умерли навсегда! Ниоткуда ни с кем из Новой никакой переписки! Даже в гости туда на минутку нельзя! Ни-ког-да! Нарушите наш закон – схлопчете лагерей!

– Но мы отбыли своё!

– Своё вы отбудете, когда... – он сложил руки на груди и полусонно всхрюкнул. – Не забываетесь, граждане ссыльно-поселенцы. Ссылка вам продлевается ещё на пять лет. А там продлят ещё... Песенка эта из рода вечных-бесконечных... И чтоб не было соблазнов...

Комендант положил перед ними по листочку с каким-то текстом.

– Расписывайтесь.

Никита насупился, дёрнул носом и чиркнул свою зави-тушку. Вспотев, Поля поставила крестик.

– Вы расписались за то, что обязуетесь хранить тайны до могилы. Первая тайна та, что вы были раскулачены. Ни-ко-

му ни слова, ни звучика. Даже родным детям. Даже через сто лет! С нового места высылки никуда ни на шаг. Наш незасыпный глаз вас видит *всегда и везде...* Побег с высылки – строгая камера хранения!⁴⁷ Вы предупреждены. Думайте, включайте мозги. Ваши головы пока с вами...

– Мы бы хотели уехать к знакомой в Казахстанец, – сказал Никита. – Тепло... малые парни...

– Хорошо, что сказали. Никаких знакомых! Казахстана вам не видать. Поедете, куда там, – он поднял указательный палец – велено. Заботливая власть об вас уже подумала. У вас трое малых детей. Надо вам в тёплую сторону. Добруша Софья Власьевна по-матерински узаботилась об вас и выпишала вам литер в кавказский край-рай... В Насакирали... В тот совхоз свозят лишь завербованных да ссыльнопоселенцев... Работать надо невпритвор, это вы можете... доказали... Работа на отпад... не замёрзнете... Молодые, честные трудари... Понравится... И главное – южная местность...

И комендант, белобрысая чухонь, так расписал грузинский малярный совхоз «Насакиральский», что молодые приняли его за рай. Ну как же не рай, раз тёплышко, шапок покупать не надо! Вокруг леса. В лесах всякой ягоды на полный год под самое «благодарю покорно» наберёшь. И потом, богатые валят деньжищи, если на солнце всё поглядывать⁴⁸ не будешь. Но разве привыкать волу к ярму? Работы Никита

⁴⁷ Камера хранения – тюрьма.

⁴⁸ На солнце всё поглядывать – лениво работать.

с Полей не бояться. Не из пужливых.

Совхозишко лет с пяток как завязался. На холмах сводят кустарники, по низам сушат болотину. Расселяют чаёк, мандарины, тунги.

С марта по глухую осень мужики в одних рубашечках. На Октябрьскую девчошки без головы⁴⁹ в платишках в летних картинничают. Такой только перушко в ягодку вложи да на ветер пусти, она и полетит. В феврале фиалки цветут! А снежок ежель и падёт ночью, к полудню испарился. И вообще снег там в праздник, солнце за обычай. Иначе разве б купались по полгода в Скурдумке, в Супсе? Эти речки омывают совхозные закрайки. А ж-жалаешь, можно на море дёрнуть. На Чёрное. Близко! В каком получасе на поезде. Но зачем поездом? Бывает, по воскресеньям совхоз катает на своих машинах. Купайся на халявушку до утопа!

И через всю страну посунулись молодые северяне в слезах с Белого моря на Чёрное. Стариков-то, стариков от них оторвали и одних воткнули в Сибирь... Без права переписки....

Только-только вросли Долговы в малярийную грузинскую гниль, ан разлилась война.

⁴⁹ **Без головы** (здесь) – с непокрытой головой.

10

*Все постоянно лишь за морем
И потому, что нас там нет.
А между тем, кто минут горем?
Никто... Таков уж белый свет!..*

На третий день войны, во вторник, Никиту позвали повесткой в военкомат, в Махарадзе, и комиссия всей-то час вертела его так и эдако, но из-за опухоли на ноге ни под какую статью не поджала, отбраковала. А он был уже рад-радёшенек сунуть голову парикмахеру в коридоре. Едва вываливался от комиссии признанный в годные, как крюковатый ветхий цирюльник подманивал бледным пальцем – а давай-да бумажку! – и в согласии с той бумажечкой слизывал чуприну. «Вот подберёт мне космочки старинушка... обрядит... На войну надо при полном параде, в опрятности! Гм... Покойника тоже провожают чистеньким. И войне подай чистенького? Чтоб проглотила и не запачкалась? А не подавится?»

Домашне, просто сказал военком:

– Вот подживёт ваша нога, месяца через четыре призовём в конники. А пока идите растите деток, припасы какие делайте для дома.

Выбрел Никита во дворок, привалился боком к штакетнику, никак не придёт в себя от комиссии. Мятежные глаза ловят, как катят с порожек всё чистенькие, от парикмахера всё уже, и обида затягивает его.

Как же так? Изо всех призывников один только он в негодности, один только он мимо парикмахера? Неужели он хуже всех? Ни в избе ни во дворе?..

С приступок уныло топает Анис Семисынов, первый его в совхозе закадыка. Никита с Анисом с первой встречи хорошо вошли в дружбу. Земли воронежцы. Слегка родня. Их сарай нашему плетню двоюродный дядя. Может, родня не тесней и той, когда чужой плетень горел, а их деды только руки грели. А всё ж роднюки. Свои. Анис лохматый, неприбранный.

– Ты чего некошёный? – хмуро допытывается Никита.

– Как же мне быть кошёну, ежли на тебе сломалась у дедка машинка? – постно отшучивается Анис.

«Похоже, не последняя я спица? Не одному мне отбой?»

Просторная улыбка трогает Никиту:

– Если б да кабы во рту росли грибы, тогда был бы не рот, а был бы огород! Выходит, из всего совхозного калгана лишь ты да я мимо стригалья стриганули?

– Выходит... – Анис надломленно кривится. – Как сказали, что погодят брать, у меня с удивления рожа на шестую пуговицу вытянулась... Состряпали таракана с лапами... Айдаюшки глянем, что за лапы у нашего у таракана...

В магазине Анис добыл бутылку красненького, прозванного одним стриженным *чтоб пуля плохо брала*, да по смоченному яблочку, хлестнули прямо из горлышка, не тратясь и не прося ни у кого стакана. «Мы не стакановцы!»

Потешно было Анису со стороны наблюдать, как это Никиша, и в рот не бравший бабьи слёзки, вдруг на радостях дёрнул горнистом полбутыли, и теперь, отписывая кренделя, усердно норовил шествовать как по струнке, но питое из горлышка срезало его старания на нет, бегом заводило то в канаву и тут же бегом выносило, то толкало с силой вперёд, так что он несколько пробегал сноровистым коником, то вдруг ни с того ни с сего заставляло сделать широченный резкий шаг в сторону. Он добросовестно, послушно его делал, а сделав, случалось, останавливался и думал, что это он такое делает, зачем делает, однако скоро забывал, о чём думал, и снова пробовал взять шаг к дому. Зуделось ему показаться перед Полей отчаюгой. Она никогда не видела его подогретым. Так пускай увидит!

Он отрешенно бойко вскинул ногу, хлопнул под нею ладошками. Назидательно погрозил пальцем ворчавшему за плетнём псу:

– Не бойсь... Я не тро... не т-трону...

И запел рычащему псу, вселюбовно раскинув руки:

– И-ие-ехала д-деревня м-мимо м-мужика-а,
Вдруг из-под с-собаки-и вышли в-ворота.

Кнут из-под телеги вын-нул м-мужика,
Хвост согнул собаку – шмыг под ворота!..

Пёс деликатно выслушал пенье и лениво щёлкнул зубами.
Идите, идите! Не замайте! Хорошего понемножку!

Анису не понравилось это вульгарное щёлканье. Пригрозил вареным кулачком:

– Соб-бачка... не дражнись... Не дражни дядю...

Барбос понуро авкнул, зевнул и утащился от греха подальше в прохладу садовой глуши.

– Анисушко! Что-то на душе душно... А не смочить ли моим «Дождичком»?

– Это можно...

Красивым, вязко-бархатным тенором Анис запеваёт про осенний мелкий дождичек, что сеет, сеет сквозь туман. Ни-киша сомлело вслушивается в начальные слова, угрюмо подхватывает и себе. Песня эта у него первая. Пел один, любил петь её с Анисом. И не понять Никите, почему эта жалоба о безответной любви умягчает его душу, поталкивает к слезам.

С посуровевшими лицами долго брели братилы молча. Каждый думал своё. Худо-бедно, всё было ясно ещё позавчера. Заведенная пружина жизни раскручивалась привычно. Работа. Дом. Семья. Война же сломала всё. Что с ними будет через месяц? Через день? Через час?

Как-то разом, не сговариваясь, в один голос запечалились

они мучительно бездольно:

– Ах как далече, далече в чистом поле
Раскладен там был огонёчек малешенек,
Подле огничка разостлан шелковый ковер.
На ковричке лежит добрый молодец,
Припекает свои раны кровавые.
В головах его стоит животворящий крест,
По праву руку лежит сабля вострая,
По леву руку его крепкий лук,
А в ногах стоит его добрый конь.
При смерти добрый молодец сокрушается
И сам добру коню наказывает:
«Ах ты, конь мой, конь, лошадь добрая,
Ты видишь, что я с белым светом разлучаюся
И с тобой одним прощаюся.
Ты зарой мое тело белое
Среди поля, среди чистова,
Среди раздольца, среди широкова.
Побеги потом во святую Русь,
Поклонись моему отцу и матери,
Благословенье отвези малым детушкам.

Голоса напитались слезами. Стыдятся они друг друга, каждый норовит держать лицо в сторону, хотя и идут рядом, плечо в плечо, сплетаясь руками.

– Да скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене.

Во придано взял я поле чистое,
Свахою была калена стрела,
А спать положила пуля мушкетная.
Тяжки мне раны палашовыя,
Тяжчее мне раны свинцовыя.
Все друзья-братья меня оставили,
Все товарищи разбежались.
Лишь один ты, мой добрый конь,
Ты служил мне верно до смерти
И ты видишь, мой добрый конь,
Что удалый добрый молодец кончается...

Домой Никита втащился вечером, уже все вернулись с чая. Неуверенно-озорным, заносащим из стороны в сторону шагом не переступил, а как-то торопливо перепрыгнул порожек, будто об него споткнулся. Под Полей подломились ноги – видела впервые мужа вросхмель.

– Ой, лишенько! Иля ты увэсь пьяный?

– Нехай буду пьяный, – готовно согласился он и, выставив одну ногу вперёд и избоченившись, качнулся петь:

– Чоловік⁵⁰ сие гречку, жинка каже: «Мак».

Нехай так, нехай так,

Нехай гречка буде мак.

Чоловік поймав шуку, жинка каже: «Рак».

Нехай так, нехай так,

Нехай шука буде рак.

⁵⁰ Чоловік (укр.) – муж.

– Не кует, не меле... – расшибленно загоревала Поля. – В ноль наквасился! В лапшу увэсь пьяный.

– Н-никак н-нет, – галантно возразил Никиша. – Слегка тверёзый. А с чего быть пьяну? Подумаешь, налиховал... Колупнули по масенькой... В кружкú, Полянчик, не без душку... Особо не печалься. Мужик не лешак, больше ведра в сутки не пьёт.

– Всадил же Бог душу, як в дуплястую грушу! Не комедничай. С каких это радостей накуликался, як зюзя?

Заморгал Никита, будто дивясь, а чего это и впрямь налимонился он, но тут же неестественно ровно выпрямился, сосредоточенно уставился в пол перед собой. Словно думу великую думал, проронил:

– Это чтоб примета твоя сошлась... Сама ж убивалась, а чего это не получается, как мама говорила. А мамычка твоя сочиняла библию будь здоров. Любит мужик соль – склонённый к пьянке! Сольку я, сама знаешь, обож-жаю. Чего ж мне ломать народово примечание? Вот я и...

– Э-э, хлопче... Тебя послухай... Ни Богу свечка, ни чёрту огарок. Кругом беда, а он... Тошно!

– А тошно, так дай вёдра, принесу воды. Зальёшь тошноту.

– Воды и без тебя на потоп хватит. Сама нанесла. Ты лучше с Глебом сходи на огород да молодого наломай пера.

– Луку так луку...

Минут десять спустя отец и сын шли по берегу Скурдумки, богатой раками и до смеху мелкой рыбешкой с палец. Бóльшей никто никогда здесь и не лавливал. Ещё речка была богата камнями. Через одни вода как-то беспечно, дурашливо переваливалась, вжимала в своё дно. Других, высоко выступавших, величественных, она боялась. Низко, точно в поклоне молчаливом, виновато, заискивающе обмякло обнимала-обегала камень, обнимала и боялась. Благополучно обежав, за спиной у камня вода смелела, снова пенисто смыкалась и что-то лепетала. Что было в том лепете? Жалоба, восторг, скорбь? Поди пойми язык воды.

А жила река среди гор. По её тощей долинке люди расквартировали огородишки. Долинка то почти слипалась, то разбегалась далеченько, и тогда молчаливые толпы гор отступали, подавались назад, сверкая на солнце царственно-могучими каменными лбами, подавались нехотя, в злобе, как подаются лошади, в оскале мотая и дёргая литыми пудовыми мордами. В непонятном чарующем беспорядке разместились горы окрест, будто кто гигантским бульдозером понадвинул сюда эти громады, изумительные, величаво-страшные в своей первозданной, светозарной красе.

У воды княжила прохлада. Уже ничто не напоминало о полуденном смертном зное. Подбитой птицей солнце свалилось за дальний утёс, однако было ещё светло.

Сутулясь, Никиша безразлично брёл по тропке, в блеск выглаженной по огородным межам. Держался он обычно

удальцом. Даже говаривали, вот бы хорошо к этой выправке в прибавку поддать росту да шири в кости, эким красавцем генераликом смотрелся б Никиша. А тут вовсе скис, ужался.

Мальчик шёл следом и в растерянности глазел на надлом в отце. Что варилось в отцовой душе? Понять того сын не мог своим маленьким рассудком, но уже хватило на то сердца, чтоб почувствовать, что у отца не все ладно. Тянуло спросить, в чём эта неладица, и не смел.

Тропинка воткнулась в речку. Никита обернулся, молча подал Глебке руку, чтоб перевести через воду по голому телу ольхи, перекинутому вместо мостка с земли на землю. Мальчик увидел, что небольшое скуластое лицо у отца было жёлтое; всегда огненно-живые, искристые, брызжущие весельем глаза потускнели, смотрели отрешённо и не двигались. Казалось, из него вынули жизнь. Мальчик содрогнулся, ему жалко стало отца.

Бокон, прощупывая ступая по бревну, перебрались на тот берег и очутились у раскоряченного красно-зелёного шатра тунга, что потрескивал под множеством плодов, похожих на яблоки краснобокие.

– Вишь, сынок, как тяжело их держать, – глухо заговорил Никита, показывая на тунг. – Плоды – нужное всем добро. А от того добра видишь, как тяжеле дереву? Так и человек... Добро добром живёт... А тут... Сколь ни твори добра, сколь ни клади в него сердца, а ответного добра, хоть маленького просвета ну никакоечкого... И тяжело, и больно душе...

А он не крикни. Не смей кричать про свою боль, не то хуже будет. И он молчит, молчит, молчит! Всё терпит! Всё-ё! А на кой, я тебя спрашиваю? Вот убреют туда... Уж милей... Поймал первую пулю в лобешник – и весь расчётишко с нею...

– С кем – с нею, па?

– С кем? – машинально спросил себя Никита и осёкся.

Сыну он не мог ответить. Ну, в самом деле, разве вывалишь шестилетику свою душу? Разве пожалуешься ему на Полю? Ты перед ней на пальчиках, чуть на ладонки не положишь... Всё стараешься, из кожи выскакиваешь... Смешно подумать. Четырнадцать лет они одна ложка, одна миска – одна семья! – а он всё её следы считает,⁵¹ всё горит попасть ей в честь. Кто во всякое утро аккуратно, до сини выбрит? Кто подобран по-солдатски? У кого кирзовые сапоги во всякий день в блеске? Кто не заявится в столовку или в магазин в рабочей одежде, а всегда только переодевшись во всё чистое да наглаженное?

Увивался он за своей Поленькой как неприкаянный, горький жених за невестой. Только у его невестоньки было уже три женишка мал маламень. В чистоте, в душевной опрятности, в праведности подымал ребят. Не делил на любимчиков и нелюбимчиков. У него все равны, как в бане. Сам стриг. Знал, кто какой носит размер одежды, обуви, и покупай что из обновы, покупал разом всем. Никто не носил братнины

⁵¹ Следы считать – сильно любить.

обноски. Недовольных не было.

В посёлушке не нахвалятся Поле, какой Никиша умница, какой уважительный, какой обходительный. Такого мужика посади только в угол да молись, нету ему равного по авторитету и у старого, и у малого. А Поле всё то в пустяк, всё то вроде так и надо, всё то и норма, и никакой ему особой почести, и всё-то она в холоде к нему душой, в равном душии. Ведь же и у воробья сердце есть! А где же её сердце?

Поначалу, похоже, вроде стерпелось. Но коли даёшь мёд, подавай и ложку. Стерпелось, так в непременноости должно и слюбиться. В свои тридцать три года он чисто верил, что непременно всё слюбится. Трёх богатыриков, полное хозяйство мужиков ему надарила. Все у неё у души лежат, все ей по сердцу не потому, какой палец ни зашиби, всяк больно, а лишь потому, считал он, что это *его* дети, что в них она любит именно *его*, что через любовь к сыновьям дойдёт пора и до любви к *нему* к самому. Ещё спасительно думалось, может, стесняется Поля любви навывушку, нараспах. Поди, хранит обычай казачек сполна не выказывать мужу открытой любви, не распускает особо вожжи, держит меня как бы в прохладе? Так оно, сорочило старичьё, надёжней. Крепче будет мужилка почитать свою благоверку.

Он почитал её до невозможности, ждал такого же ответа себе. Что за заноза сидела в её душе и не позволяла ей шагнуть к нему в горячей радости?

И вот теперь, когда ударила, подпекла война, ощутил он

неотвратимость рока, безысходность великой беды личной. Как-то враз обмяк душой, потерялся. Неужели вот так пойду и не вернусь? Не получивши полной меры любви? Не поднявши на ноги своих соколков?

Но Боже великий, но Боже правый, это сама судьба положила его желание в боговы уши. Бог вернул его из военкомата, вернул только на то, примозговал Никиша, чтоб вволюшку надышался он любовью своей жены-душеньки. Хоть и сказано, что перед смертью не надышишься, а уж лучше подышать, чем не дышать вовсе. Уж теперь не в пример другой станет ненастужка Поля: всякая великая беда воедино сливала русских людей, роднила роднее родного.

Он очумел, что его отпустили домой на целых на четыре месяца. На радостях плеснул в себя винца, этого бабьего переполоха, потому что слышал, к забавнице-присухе варяжистой подкатишься, пока задорит тебя веселуха. Тогда всё полетит как по маслицу. Ему хотелось, чтоб всё так и было. Размахнёт он до пят дверь, любимка Поля увидит – Никишенька под мушкой, посмотрит именинницей, в восторге засмеётся. Увевливо скажет, дуранюшка ты мой ненаглядушка, что ж это ты делаешь, и преданно обнимет, поджалеет поцелуем, поджалеет отходчивой лаской.

Как же... До смерти уласкала гадким зюзей!

«Зюзя! Мокрый зюзя я ей, а не Никушечка...»

И такая в нём закипела обида, что просто в удивленье, как это он вслух ещё там, в бараке, не рубанул про ту пулю. Оби-

да выпихнула, вытолкнула из него крик безмолвный поймать лбом первую же на войне пулю себе в вечные любовницы. Мало-помалу он уверовал, что короткое игрище с той пулей-любовницей у него ещё впереди, смирился с этим, ждал его и боялся, что дождётся. Ослаб, обмяк духом, не удержался, проговорился сыну про свой расчёт. И пожалел.

И пока ломали лук в соломенку кошёлку, и потом ещё всю дорогу в обрат Никита всё сушил голову, как поделикатней смягчить парню смысл под запал выложенного, но так и не смог, досадуя на небогатый свой умишко.

Глебка нёс на манер отца, на плече, кошёлку с луком. Кряхтя, угинаясь под тяжестью, Никита впробежку тащил пень, прибило водой к огородному берегу. Не пропадать же добру, жалко. Печка зимой сожрёт. Да и моим тепло. Он перебежал от ёлки к ёлке и отдыхал стоя, привалившись пнём на плечах к теплому телу придорожной ели. Он боялся бросать ношу на землю, потом её не поднять. Уже у самого дома, в последний стоячий привал, Никита, откинувшись на пенёк и отпыхиваясь, глухо попросил:

– А знаешь, сынок, ты не докладывай мамке, что я так сказал.

Пускай это помрёт меж нами. Мы ж мужики, не брынчалки?

– Я не скажу, отеценька...

Глебушка сдержал слово, не проронил матери ни звука ни в тот вечер, ни после. Однако давящее чувство беды росло и росло в Никите, словно снежный ком, что катился с горы. Ком матерел, пучился, всё толще наливался кручиной неми-

нучей разлуки с домом, с Полей. Не отходила сердцем, не оттаивала она. И по-прежнему была к нему равна, прохладна. Это мучило её, но что она могла с собой поделать?

Видел это Никита и с необъяснимым большим ликованием уже загодя выдёргивал себя из этого дома, из этой семьи, в каждую свободную минуту выменивая по окрестным селениям пустяк зерна на свои личные вещи. Вещей становилось всё меньше. Значит, и его самого оставалось здесь все меньше? Пускай. Зато больше хлеба своим на чёрный день!

– Никиш, – сказала Поля, – ты б уж не трогал второе своё пальто. А то ж все свои рубашки, костюмы, сапоги вжэ повытаскал. Всё сменял! Ничо своего не оставил. Шо это на тебя накатило? Или ты не собираешься после войны жить?

– Жить-то оно мне надвое помечено... Доведётся... нет ли... Без пальта без моего не завянете. А не станет хлеба, тут уж не до пальта. Вот завтра в последний разок сбегая в Мелекедурики и тем бал кончится. Трындец!

На работу, на чайную плантацию, которую мотыжил, он прихватил утром и пальто. Вечером, не заходя домой, уплясал в горы, в селение.

Начинало уже темнеть. Никто не брал то пальто, и всё ж в Мелекедурах охотник грузин наскочил-таки, дал три пуда пшеницы. Хоть и сдешевил Никиша, но отдал. На пустой карман и грош хорош.

Бодро молотил он домой и совсем не догадывался, что в

те же минуты чёрной птицей постучала к нему в окно почтальонка Аниса, жена Аниса Семисынова.

Дрожащей рукой Поля взяла повестку. Румянец на щеках померк, лицо побледнело. Хотела что-то сказать, раскрыла рот, а говорить не могла. Будто задыхалась, ловила ртом воздух.

– Да возьми ты себя в руки! – прикрикнула Аниса. – Не одного твоего утребовали. Видишь, какая кипища? Надо разнести. Завтра к десяти с вещами. Ох, Господи-и... Земля треснула – зверюга Гитлерюга напал. Зло-ой собаке мно-ого надо.

Поля молча заплакала.

– Не опускай крылья, – жалела Аниса. – Чего так убиваться? Мой Анис – а плановали разом с твоим в конники брать – полные уже два месяца как воюет. Хорошо воюет. Колошматит немчурят и не жалуется. Только ленты в пулемете успевают менять. А вчера, слышь, письмо было. А в письме кусок голубой ленты. Это он Катюшке... Кабы ты видела, как она обрадовалась, как плакала с радости. Вишь, и контроль над письмами пропустил. Анис Христом-Богом просил: не выбрасывайте, прошу вас, это я дочери, она у меня немая. Э, какие добрые. Посочувствовали.

Поля и Никита не спали ночь, укладывали мешок, и не было такой вещи, что легла туда не окроплённой жениной слезой. Он не ожидал, что вот так будет. Внове, в странность

ему было, что за мерклым, тихим разговором она всю ночь проплакала. Казалось, этими отчаянными слезами она молила прощения за то, что была с ним и лишне суха, и лишне строга, и лишне холодна. Вот только поняла и жалею. Что же теперь сделаешь? Что? – спрашивали её слезы.

Он мог читать слёзы. Он всё понял, пожалел и простил. Его душа успокоилась, зажглась верой в проснувшуюся взаимную любовь Поленьки. Он весь сжался, налился гневом. Теперь он знает, что будет до смерти биться вот за эти счастье дарящие слёзы, вот за эти покаянные взгляды, вот за эти дрожащие в беде руки, вот за эти нежные прикосновения её щеки к его щеке. Комок поджало к горлу. Стиснул мешок, куда в бережи опускались самые необходимые ему вещи, потянул к груди. Забыл, что это мешок, принял за автомат, готовый к атаке.

За эту ночь в нём сделался желанный переворот. Он пойдёт *туда* не ловить первую попавшуюся вражью пулю, нет. Он ещё так подерётся, что ему никогда не будет стыдно ни перед этими слезами, ни перед вздыхавшими во сне своими тремя богатыриками.

Первый проснулся утром меньшеак. Поморщился на еле мерцавшую на столе лампу.

– Ма, а на что ты плачешь?

– Как же не плакать, сынок?.. Батька от нас забирають на хронт...

Антон подумал.

– А что такое хронт?

– Это где война, сынок...

– А что такое война?

– Война – это где убивают. Война – самое погане слово.

Брезжил, просыпался поздний дождливый рассвет. Пора была прощаться. Никиша посадил к себе на колени Митрофана. Митроша насупился, угрюм. Взгляд исподлобья.

– Разделался ты с первым классом на пятёрки, – рассудливо, как с ровней говорил Никита. – Похвальный лист ты уж и за второй выстарай, пожалуйста. Вот смотрел дневник, пока ты спал. Что ж, хорошо. Хорошо идёшь и по родной речи, и по русскому, и по арифметике, и по пенью. Пятёрики круговую. Так и держись дальше. Не балуйся. А то за громкое поведение да за тихие успехи живо вымахнут из школки. И останешься при печальном интересе без высокого образования.

– Без высшего, – подправил Митя.

– Всё равно...

– Па, а какое оно, высшее? Вышей потолка?

– Вышей.

– На что оно мне?

– На хлеб будешь намазывать... Нам с мамкой не далось, так хоть Вы... Теперь ты самый старший в доме мужчина. Мужик Мужикович! Хозяйко! За что берёшься – дожимай до конца. Будь аккуратец в деле. В ком да в кучку на скорую ручку ничего не ляпай... На твоей совести подмога матери,

забота про младших. Ты понимаешь?

– Угу...

– Договорец-братец... Крепись... Ты уж постарайся. Я ненадолго покину тебя в старших. Поди, белый свет не углом сведён...

А Глебу отец сказал:

– Ты у нас теперь главная нянюшка. Некогда больше торговать воздухом.⁵² Смотри, чтоб Антошик рос у тебя без происшествий. Не обижай. Он самый малютенький. Три годущка малёхе всего.

– Три-то три... Да дерётся на все десять!

– А вот это твоя печалька. Отучи. Присеки хвосток. На то ты и нянька. Не доводи дело до сшибки, не будет драться. Не будет, отсохни у меня рукав!

Шутливый зарок подвеселил Глебку. Он вопросительно быстро глянул на Антонку на постели (все трое ребят спали на одной койке).

– Ну будешь, сумкин сын, драться?

– Не знаю...

Отец поманил по очереди к себе на руки и младшенького:

– Иди ко мне, маленький.

– Был маленькой, икогда в люльке качался. А тепере я быльшой! – отчеканил сердито Антон и надёрнул на лицо одеяло.

– Ты чего бастуешь? – спросил Никита и подождал отве-

⁵² Торговать воздухом – бездельничать.

та. – Ну чего молчишь? Коза язычок сжевала?

Боясь ухолодить сына, он сгрёб его вместе с одеялом на руки, потянулся прощально поцеловать. И тут заварилось невиданное. Мальчик с рёвом трубным стал вырываться, вывинчиваться из отцова кольца, отбиваясь руками, ногами. Тёплые со сна пяточки остукивали отцовы руки, грудь, лицо.

Никита размыто улыбнулся, выпустил сына.

В одной майке, босой мальчик зверьком забился под низкий барак-мазанку, что стоял на столбцах не выше локтя, и уж из той засады ни одна живая душа никакими калачами не могла его достать. На все растерянные уговоры выйти кричал одно и то же сквозь ливень слёз:

– Не пойду!.. Не пойду на твою войну!.. Не пойду!.. Я не пойду, а ты без меня не пойдёшь! Айдаюшки не пойдём вместе!..

Мальчик верил, что отец, не простившись с ним, не пойдёт ни на какую войну, а потому и не вышел из-под мазанки. Так Никита и ушёл, не попрощался с сыном.

С ночи всё подсеивал дождь.

По дороге в военкомат Никита говорил Поле:

– Вы тут не очень-то экономничайте. Не век нам с тем кривоногим однойцовым Гитлерюгой маяться. Может, вернусь, не успеете ещё и то зёрнышко прибрать, что поприпас. Под завязку три чувала. Надолго потянет Вам на четверых?

– Бери выше, Никиш. На пятерёх считай. Пятый под сер-

цем ось туточки уже стукае...

Никиша опустился перед Полей на колени.

Сторожко приклонил ухо к животу и зачарованно вздохнул:

– С-с-сту-у-у-учи-и-ит...

*Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?*

Месяца через три у Поля нашлась дочка Маша. Пришла Маша в мир болезненная и до того придавленная страданиями, что уже почти не могла плакать. Она безучастно лежала в люльке и если всё же плакала когда, так без голоса, как старуха, умученная болью, хорошо знающая, что криками боли не унять, не задавить, только домашним да Богу досадишь. Плакала девочка молча, *про себя*, как говаривал братец Антошик, лишь слезинки торопливо погоняли одна другую по сухому пергаменту личика. Не было недели, чтоб Поля не носила её к врачу, лежала с нею трижды в совхозной больничке. Чуть подживёт в Маше дух, едва залопочет что-то своё радостное, да не век звенеть звоночку, снова к врачу.

Ермиле Чочиа, старый седой грузин врач, высушенный весь долгим своим веком и пропахший лекарствами, настаивал в четвёртый лечь раз.

– Во-первых. Будешь в больнице с дочкой, тебе оплатят бюллетень. Прибыльней и ребятам твоим по хлебной части.

Как-никак твоя и её нормы идут...

– Да что там той нормы!?! – плеснула Поля руками. – Кило триста на пятерёх. Хочешь ешь, хочешь молись.

– По военной поре и это большой хлеб, хоть и кукурузный. Положение с девочкой крайне серьёзно. Как главный врач говорю...

– А на кого... К кому я приткну тех трёх своих гаврюшат?

– Уже взрослые... На пожарный случай, соседи не примут?

Кого ещё просить как не Анису?

Как свёл Господь в один кулак Аниса и Никиту (взяли в одну часть), Аниса ещё прочней приварилась к Поле.

– Ты гляди, – гордилась Аниса, – прямушко подбор. Вместе воронежские и там, на войнёнке. Как тута, дома, держаться кучкой сам Бог повелел!

И если раньше они просто дружили семьями, поскольку мужья вместе тохали, мотыжили, чай, у обоих были щемливо-нарядные, мятежные голоса и случалось, нет-нет да и запоют на крылечке так, что сбегались соседи послушать, то теперь они выручали всегда друг дружку. В письме одного обязательно сообщалось о судьбе другого и из дома обычно писалось про обе семьи, а иногда слалась и одна грамотка на двоих. Писала Аниса, Поля поддиктовывала что от себя.

Аниса даже обрадовалась, что вошла в открытую пользу Поле. Оттого каждое утро, каждый вечер залетала она к ребятам, весело пыталась:

– Ну как вы тут, домовята? Никто ещё не умёр с холода?

– Неа! – гремело отовсюду и мальчишки выкатывались к её ногам из разных углов, из-под кровати, из-под стола.

– Тогда, геройчики, по сто лет будете жить! В этой своей волкоморне!

С ходу она кидалась разводить печку. Сварит какого супа из жареной кукурузы, наколотой Митрофаном молотком на скрыне. Заштопает кому там носки, рубашку. Вымоет пол красным кирпичом. Пристирнёт что.

И ой как не нравились эти благотворительные наскоки Митрофану. Ну кого оставляли в доме за старшего? Его! Кто в доме хозяйко? Он, Митроша! Это ещё сам отец заложил, как уходил на фронт. Так по каковецкому праву она тут царюет?

И солоней всего подпекало то, что ни надумай он сделать, только соберись со всей мужской основательностью, к чему приучал отец, то-олько вот он вот разготов взяться, ан, ни слова не говоря, Аниса уже делает всё то со смешками.

«Ну уж тютти! Хватя из меня буланчика строить!»⁵³ – пальнул ей в мыслях, а вслух не отважился. Как взрослому такое ахнешь?

– Всё бы хорошо, да с ботинками у вас, воителюшка, скандалик, – заметила Мите как-то Аниса. – Каши просят прожорливцы столько, что и котла такого не найдёшь сварить.

⁵³ Буланчика строить – строить дурака.

Да и самой крупы где эстоль сыскать?

Митроша понял, что тут тётя Аниса ничего не может поделаеть. А вот он и покажет, кто он такой в деле. Потом вежливоенько попросит не путатьея её под ногами.

На следующий день шёл он из школы, подобрал в канаве и прикатил шину с легковушки.

– Украл? – выразили скромное предположение Глебка с Антоней.

– Взял, – тактично подправил Митя.

– Раз взял колесо, так сгоняй ещё разик туда, забери всю машину.

– И без второго захода отхватите по целому легковику. Будете по лужам летать быстреей всякого автомобилика!

Мальчику хотелось, чтоб все в семье имели по две пары новеньких чуней. Одну пару на будни, другую на праздники. Чтоб не было обиженных, настроился шить размером всем одинаковые. У нас все равны, говорил в школе Сергей Данилович. Так пускай и обувку все носят одинаковую.

Снял мерку с подошвы маминой калоши, топором разрубил потёрханную шину на десять равных кусков. Больше подошв не выходило. Ну что ж, будет обувка пока на будни. С праздниками подождём.

С огнём завязатого сапожника, с каким-то внутренним горением навалился он пришивать к литой шине-подошве верх из отошенной кирзы голенища, макая цыганскую иголку не в мыло, как делал отец, а в простую воду в мамином напёрст-

ке. Загляни Никиша в окно, он бы увидел в этом маленьком усерднике себя в далёкой родной Новой Криуше. Манера работать в наклон, слегка выпустив и прикусив язык, качающийся на вершинке жёлтой мётелкой хохолок – всё то его, Никишино.

Мальчика распирала гордость. Никто не учил, никто не заставлял, а спонадобилось – сам сел и шьёт. Сам! И разве хуже отца?

Подкатилась печальная отцова песня.

Митя не удержался, бесшабашно замурлыкал:

– Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман,
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.

Ожидавшие обновку Глеб и Антошка стояли в размолоченных ботинках у Мити за плечами, как ангелы. Подхватили припев яростно-прилежно, с укоризной:

– Полно, брат молодец,
Ты ведь не девица.
Пе-ей, тоска пройдет!

Митя благодарно покивал братцам и уже один взял повёл песню дальше.

– Не тоска, друзья-товарищи,
В грудь запала глубоко,
Дни веселья и дни радости
Отлетели далеко.

Безмятежность в его голосе подломилась, пошла таять,
уступая раздумчивости, грусти.

– Э-эх вы, братцы, вы, товарищи,
Не поможет мне вино,
Оттого что змея лютая
Гложет, точит грудь мою.
И теперь я все, товарищи,
Сохну, вяну день со дня,
Оттого что красна девица
Изменила мне шутя.
А и впрямь-ко я попробую
В вине горе потопить
И тоску, злодейку лютую,
Поскорей вином залить.

После каждого куплета шёл припев. Глебка и Антоха ни один не прокараулили, брали в самую пору. Митроше пало к душе, как ему подпевали, и в ответ он, едва дошив первую чуню, с ласковой важностью проговорил:

– Певчуки! Необутики! Получите отдарок. Меряйте!

Глеб, заранее разувшись, торопливо воткнул ногу в чуню и скис:

– Ой!.. Больша-ая... Как корабель!

– Ну и радуйся. Не утопнешь в луже.

– До лужки ещё надобится добежать. Зачем такие большие мастурячишь?

– Где большие? Ну где большие? Я на вырост шил! Ты, клопик, собираешься когда-нибудь расти?

– Что, сиди и жди, когда нога вырастет по чуньке? Это ско-оль ждать?

Глеб вжал в чуню вторую ногу. Сделал прыжок и, не удержавшись, вальнулся на бок. Зажаловался:

– Бо-ольшие... Горбатые чуники... Я из них выбегаю... Выскакую... Ты маленькие сошей.

– Не положено.

– Большие положено, а маленькие не положено?

– У нас все равны, как в бане. Все носи одинаковые!

Глеб присвистнул:

– Хэ! Кто все? Кто все?.. Не хочешь, а рассмешишься!.. Что, и Машуня, и Антонка, и я, и ты, и мамка – все равны? Антя достаёт мне головой до мышки. Машутка ещё короче. И все одинаковые носи? Ты сошил эту чуньку по маминой калошке. Маме её и оставь. А нам... – Глеб поставил на отрезанный кусок шины свой размолоченный ботинок, очертил карандашом. Другой кусок подложил Антону под обутую ногу, обмахнул карандашом. – Нам давай по нашим меркам. Зачем нам шить по маминой ноге? Не перевязывать же чуньки на ноге верёвочкой, чтоб не слетали!

В душе Митя согласился с Глебом. Но принять это он не мог. Не дорос ещё, братка, учить старших!

Не дорос-то не дорос, да тогда неправ и Сергей Данилович? Сергей Данилович говорил в классе, что все у нас равны. А этот шкетик упёрся: не равны. Похоже, его правда. Выходит, учитель неправ, а вместе с ним и я? И прав один Глебочка, не выдавший ещё школу и в глаза?

С досады Митрофан щелкнул Глеба по верху уха.

– Эв-ва, Балда Иваныч! Ещё в школу не ходил, а уже такой вумный, как вутюк. А что с тобой будет, когда в ту школендию побежишь?

Глеб зажал боль в ухе, промолчал. Чего не вытерпишь ради новых чунок?

До самой старой ночи Глебка с Антоном ждали чуники. Но так и не дождались. Зато утром, едва пролупив глаза, увидели у койки две новенькие пары. Надели. Ловкие, удобные. В самый раз.

– Нога в чуныке прямо спит как дома! – подхвалился Глеб Мите.

– Да что она, беспризорка? – довольно пожмурился Митя. – Где ж ей ещё спать как не дома?

Ещё вчера за окном беспризорно болтались редкие снежинки, а сегодня повалил точно из ковша февральский дождь, уже по-кавказски тёплый, обомлело-радостный.

Митя убежал в школу, а братья вылетели в беспогодицу обгулять обновку. Раскидав перед собой руки на вообража-

емом огромно руле и правя им, то басовито подвывая, как студебеккер, тяжело ползущий в гору с грузом, то жалобно подскуливая на лад полуторки, Глеб с Антохой бешено носились под ливнем по жирной грязи, и пацанва, с фырчаньем табунком клубясь за ними следом, обалдело млела от восторга, во все глазоньки с немым изумлением тарасилась на их отпечатки легковушных шин.

– Вот это класс! – стонало пацаньё.

Вечером на чуни положила глаз и сама Аниса. Осведомилась, в какой это Москве раздобыли.

– Братик Митя сошил! – похвалился Глеб.

– Что-то веры не дам... Моднячие штиблетики, вечные. Избою не жди... Всёшки где, Митрюшечка, укупил?

Митя зацвёл. Его чуни принимают за магазинные! Вот и он на конике!

– Да не покупал я, тётъ Ань! Правдушки, сшил... Видите, кое-что и я могу... Сварить что, помыть... Руки-то на что привязывал Боженька?

Тем временем Глеб разулся. Аниса увидела, что носки на пятках у него прохудились. Сняла с мальчика носки.

– А то сапожульки новые, а пяточки голые. Негожо так...

Аниса села штопать. Это выдернуло Митю из себя.

– Да не беспокойтесь Вы за нас! – въехал он в каприз. – Мы сами! Сами! У самих же руки без дела висят!

И будто в оправдание того, что вовсе не зря болтаются у него руки, Митя нервно свалил в корыто ведро холодной во-

ды. Тут же птицами полетели в нее рубашки, штаны, майки, что толсто висели на спине койки. Из печки черпнул ладошкой-лопаткой золы, шлёпнул в одёжную горку.

– Ты зачем ещё грязней делаешь мои штаники? – крикнул Глебка. Его штаны лежали поверху. – Разве так мама делала? Забыл?.. Она сыпала золу в марличку, завязывала и клала не в холодную воду, а в горячую. И мыла нам головы.

– Так то головы! – нашёлся Митрофан. – Такую дурную башку, как твоя, и кипятком не отмоешь с самым лучшим мылом! Не то что в холодной воде с золой. Жалко, нету мылки... Ну да этот тарарам, – взгляд в корыто, – и в холодной воде с золой денька за два умякнет, чисто выстирается сам. Без помогайчиков!

На первые глаза, увлечённый маленький человечек толковал сам с собой. На самом же деле выпевал Анисе. Поймала это она и не знала, как быть. Взять и уйти? А Полькин наказ? Её замешательство накинуло мальчику храбрости.

– Так что уж не учащайте Вы к нам, – сказал прямо. – Не убивайтесь. Мы сами с усиками... А у Вас и своих забот полный мешок да ещё вприсыпочку.

– Лепишь ты, Митрюха, старее деда... Ну-ну... Что эт, дедо, за мой мешок у тебя такая переживанка?

Митя насупился индюком. Отмолчался. Аниса не полезла в новые допросы. Живо дочинила носки и ушла.

– Ты чего так с нею? – насыпался Глеб на Митрофана. – Она помогать приходит. Она добрая, хорошая. А ты! А ты!..

– Все хороши, пока спят носом к стенке и ничего не видят кроме снов.

– А разве видят с закрытыми глазиками?

– Видят. Невредно бы и знать.

– Ну-к закрой... Тэ-эк... Ну что ты видишь?

– Ничего.

– Жалко, – постно вздохнул Глебка. – А я тебе дулю скрутил.

– А я тебе за такое скрутю шейку. Но мне сейчас некогда. Это удовольствие я перенесу на потомушки.

Щёлкнув гаврика тихонько, жалеючи по носу, Митя тут же был смыт будто водой в пропасть неотвязных дел. Как пироги валял⁵⁴ он их, чувствуя себя первым человеком во всём доме, тем человеком, которому дом в непременно обя-зан своим спокойствием, жизнью и даже тем, что и рассвет в эти окна входит лишь с его высокого соизволения. Нарубить дров, натаскать воды, протопить печку, наготовить еды, покормить коз, подоить – на всё хватало Митю. Вертелся как волчок. Ложился хозяйко позже всех, вставал раньше всех. И ещё вскакивал среди ночи, напахивал на острые плечишки мамину фуфайку и, дрожа от холода, от страха, шёл к сараю. В сам сарай он боялся заходить, там было ещё темней чем на улице, где хоть звезды подсвечивали, останавливался у двери, накладывал ухо на щёлку и, остановив дыхание, вслушивался в темноту за дверью. Не родился ли кто? Нет

⁵⁴ Как пироги валяет – споро, легко работает.

ли прибавки?

Но было всё тихо, и лишь по временам козы вздыхали во сне.

Во всякую ночь мальчик подолгу зяб под дверью, боялся, что проспит нового козлёнка. А в ночи коза может ненароком наступить козлёнку на ногу или вовсе стоптать. Правда, случалось такое редко. Однако случалось.

Докисала на отходе зима. Холода уже основательно подрастеряли свою осатанелость, хотя в иные дни и февраль садился на нос крепким декабрём. Начинался окот. Ещё мама дома была, когда окотилась первой Белка. Белкины двойняшки жили под кроватью, огороженной табуретками, фанерными кусками, и будут в доме до поры, пока не падёт стужа.

Теперь вот в тягости ходила серая большая коза с жёлтыми подпалинами на животе, на груди. Её звали Серка. Четыре ночи Митя бегал к ней под дверь, всё слушал, не родила ли. На пятую почувствовал, что именно сегодня произойдет всё самое главное. Опасаясь, как бы чего не произошло худого, привёл на ночь Серку в дом, чем остро изумил младших братьев.

Огрузлая важная гостьюшка, сухо постреливая вытертыми старыми коленками, охотно прошлась по душной комнате, всё с любопытством оглядела, познакомилась и ко всеобщему удовлетворению рассвобождённо улеглась на чистенькой ветхой дерюжке, раскинутой ей на пяточке между жар-

ко натопленной печкой и койкой, на которой укладывались спать Глеб с Антоном.

Раздеваясь, Антоня с излишним усердием бросил носок на кроватьную спину. Носок перелетел через спинку, повис на высоком литом роге Серки. Она удивилась, видимо, хотела посмотреть, что за напасть села на рог, устало подняла голову. Рог подался назад и вышло, будто подала Антону носок.

– Спасибушки! – Мальчик благодарно погладил её по лицу, по седой бородке. – Серка, а Серка! Скажи, а где у тебя грудь?

Коза покачала рогами, словно твердя, чего не знаю, того не знаю, притомлённо положила голову перед собой на дрюгу. Отвянь, дай отдохнуть!

Антоня озоровато протарахтел тот же вопрос Митрофану. Митрофан не знал, что ответить (когда люди не знают, они злятся), сердито пробухтел:

– Ума у тебя палата, да ключ от неё потеряян!

– Поискал бы ключ от *своей* палаты, – подпёк Глеб Митрофана.

Митрофан состроил вид, что не слышал нарывистого совета, и скоро установилась тишина.

Первый сквозь сон поймал тоненький, жалостный зов новорожденного Митя. Спичек в доме не было. С криком «Глебка!.. Антоха!.. Вставайте, вставайте!» накатился он их тормошить и, не разбудив, кинулся в барак напротив за огнём.

Напротив жил одинокий бригадир. Батлома. Мерклый свет уже грел низ его окна. Первое свое дело – пораньше поднимать посёлок в работу – он переложил на петуха, выменял в городе за пиджак. Не всегда бригадир надеялся на себя и частенько вскакивал под оранье петушаки, единственного во всём первом районе.⁵⁵ За бригадиром просыпались соседи. Обычно, выглянув в окно, говорили:

– А у Батломы уже светится.

Это значило, что и нам след вставать.

Когда ни посмотри на бригадирово окно, в нём всегда теплился слабый, сиротливый огонёшек. Даже поговаривали, что Батлома вовсе не тушил лампу. Как же, богач! И богат лишь тем, что у него были спички. По утрам ближние бараки стучались за огнём. Спичек он никому не давал, а лучинку от лампы почему не зажечь? Зажигай и неси, что и сделал Митя-огнедар. Каждое утро-вечер добывал, приносил в дом огонь, в бережи защищая полой фуфайки или пиджака зябкое пламешко.

Митя торопливо поднёс лучинку к каганцу на столе – свет несмело облил комнатёшку. Мальчик увидел: на дерюжке лежал маленький козленок. Серка старательно вылизывала его.

Митя выгреб откуда-то из-под койки кукурузный ломоть, накрытый перевёрнутой лёгкой бамбуковой корзинкой, куда мама собирала на плантации чай.

– А-а!.. Ты от нас хлебушку прячешь?! – заныл Антон. –

⁵⁵ Район (здесь) – отделение совхоза.

Расскажу мамке!

– Пока не расцвело, скорей бежи в центр в больницу и докладывай. Голова! Это ж ещё сама мама спрятала полпайки. Давно-о... Черствеёй кирпичины...

В миску с водой Митя положил хлеб.

– А зачем спрятала? – донимает Антоха.

– Значит, надо... Так ведётся... Наказывала дать козке хлеба, как родит... Тогда будет помно-огу таскать молока. Ты любишь молоко?

– Ну!

– Не нукай, я и так довезу... Не ной...

Набухший, потолстевший кусок Митруха щедро осыпал синеватой крупной солью, протянул Серке. Ела она захлёбисто, с опаской, со страхом, что эти детские руки, пахнущие только что сдоенным её молозивом, возьмут вдруг да и решат годового лакомства, случавшегося от снега до снега, раз на году, в окот, отчего – опасайся бед, пока их нет! – угорело отхватывала куски во весь рот, роняя пену, трясая блёстким пуком тягучих нитей до полу; в спешке глотала, поводя шеей из стороны в сторону, помогая живой пройти хлебу, и было видно, как он в спехе бежал по горлу – один бугорок за другим.

А у её ног, голых, вытертых на коленках, билась уже новая, молодая жизнь. Примерно через полчаса после своего появления беленький прибавленец храбро ловчил встать. Подымался на колени, а на большее, ах ты, боже! духу невдо-

хват. Коленки разъезжались, и он, аврально вскрикнув, падал ничком. С минуту лежал не двигаясь, приходил в себя, а придя, снова за своё, и снова падение, и снова отдышка... Бог весть на какой попытке он все ж таки подымается в полный росток. Ух как высоко! Даже дух занялся!

Стоит на тоненьких длинных ножках неуверенный, дрожащий, не отваживается и голову повернуть. Страшно! В следующее мгновение незаметно для себя, скорее по толчку чутья – всё живое двигайся! – делает первый самостоятельный шаг, делает и не падает! Печальные глаза наливаются праздничным ликованием, и беленький, выгнув шёлковую спинку и отставив далеко левую заднюю ножку, всласть потянулся до весёлого хруста в косточках. Не удержавшись на трёх ножках, упал и тут же снова резво поднялся.

Заслышала, заметила его квочка – сидела под маминой койкой в ящике. Подошла, с шипом присела, пристально посмотрела беленькому прямо в глаза красным воспаленным пылающим взглядом, а тронуть не тронула. Поохала, поохала да с тем и села снова на яйца. Познакомилась...

Громкое наседкино оханье разбудило близнецов, что спали в тёплом углу возле печки, спали, встречно обнявшись долгими шеями и положив головы друг другу на спинки.

Увидев новенького, двойнята обрадованно подскочили к нему и, толкаясь, поддевая друг дружку зудкими прорезывающимися рожками, стали бесцеремонно рассматривать его со всех сторон, ласково посмеиваясь глазами, словно гово-

рили:

«Неужели и мы были такие потешные слабачки? Дрожишь?.. Ну, грейся, грейся дрожью!»

Лёгкий, грациозный перестук копытец в столь ранний час – уже отпевал третью песню петух – заинтриговал Анисина кота, дремал у Антона в ногах. Кот, прозванный за невероятно роскошные усы, за осанистый, вальяжный вид Ус Усович Усатенко, к тому же, по словам Семисынова, «с отличием окончивший церковно-приходскую школу и насобачившийся там открывать лапой комнатную дверь и тумбочку», изящно спрыгнул на пол.

Сильно горбясь, он ради знакомства картинно продефилировал под новичком, основательно задев того. Беленький зашатался, едва не упал. Усатенке этого показалось мало. Заигрывая, он зажмурился и, блаженно потягиваясь как после пробуждения, навалился всем корпусом, всей своей тянущей книзу свинцовой тяжестью – ростом они одинаковы, а в кости Усач и поразмашистей, – и беленький с паническим вскриком упал. Повалился на него и сам Ус Усович. Ну это слишком!

– Ну, дядь Ус! Вотга заснёшь, я состригу тебе усищи. Будешь знать, как обижать маленьких! – погрозил коту Антон.

Душа у мальчика мягкая, отзывчивая, чувствительные кости слышали чужие падения. Потому при падении беленького он так вскрикнул, будто упал он сам. Зверьком слетел с койки, подхватил козлёнка на руки.

– Мой маленький братик... Мой маленький братик...

Почувствовал себя козлёнок в безопасности, чисто с младенческим доверием прижался к мальчику; греясь, плотно обвил шейю насколько мог его шею. От этой доверчивости, от этой незащитности, от этой дрожи мальчик как-то обмяк сердцем, ещё острее ощутил боль при падении беленького. Судорожно притискивая его к голой грудке, мальчик тихо заплакал. Он был легкоранним, оттого при всякой беде он был так прост, так скор на слезу. Он снова лёг на койку уже вместе с беленьким, и чтоб никто не видел его слёз, накрылся одеялом с головой.

Антон боялся расспросов и всегда прятал слезу от показа. Выплакавшись, вылив душу, приподымает край одеяла, в щёлку смотрит, что же делается без него в комнате. Внимание упало на то, как сосредоточенно, как натужно Митя почему-то уже второй раз за утро доит Серку, приговаривает:

– Да не крути, не крути ногой... Серка! Не на танциях! А то и я крутану кулаком в лоб. Знаешь как! Искры пудами полетят!

Доволен Антоня, что его слёзного водопада не заметили, смелей приоткрывает одеялко. Видит у себя на животе беленького. От него пахнет молоком, он ещё не совсем обсох. Только что Серка сняла с него и съела его рубашку, послед. Она ещё облизывала беленького, когда мальчик брал его к себе. В тепле он перестал дрожать, угрелся, присмирел, вытянул у мальчика на груди шейю, упёршись головой в подбо-

родок.

– Вут посмотрите, кто к нам пришёл! – Антон приподнял-ся, показал козлёнка всей комнате. – Ты кто? Мальчик? Девочка? А-а... вижу, вижу... Мальчик. Наш. Ну что, давайознакомимся? А как тебя зовут, Зовутка? На Борьку согласишься?

Беленький зевнул, показал алый беззубый рот. Ему было не до знакомства. Поудобней положил голову мальчику на шею, прикрыл глаза. Хотелось спать.

Мальчик слышал, как торопливо настучивало у Борьки сердечко, слышал слабое дыхание, и ему отчего-то сделалось хорошо-хорошо, и он дал себе слово, что и сегодня вечером, и завтра вечером, и послезавтра, и потом, и ещё потом обязательно возьмёт к себе на ночь под одеяло Борьку, хотя и преотлично знал, что через какой час шебутной Борька его разбудит.

Так оно и случилось. Едва задремал Антоня, как беленький, проголодавшись вконец, навалился сосать у мальчика ухо. Спросонок Антон испугался, но, поняв что к чему, улыбнулся и тихонько вытянул ухо изо рта. Однако Борька не растерялся, поймал мальчика за нос, оказался перед самой его мордашкой; и вовсе не было больно, а было щекотно, смешно, и мальчик смеялся, отводил нос. Беленький, разгораясь, ловил его за все, за что можно было лишь ухватиться: за подбородок, за клоч сбившихся волос, за пальцы.

Жадность, с какой Борька кидался сосать, перестала за-

бавлять. Надо бы подкормить. За спинкой койки на табурете белела литровая банка с молоком по плечики. Антон дотянулся до ещё тёплой банки, ткнул козлёнка носом в молоко. Борька чуть не захлебнулся, заперхал. Заупрямился, не стал пить.

Тогда мальчик набрал в рот молока. Поддразнивая, показал беленькому кончик языка. Борька обрадовался, что можно схватить и за язык, и, схватив, не промахнулся. Мальчик тихонько пустил по свёрнутому в желобок языку молоко. В глазах беленького зажглось даже удивление. Откуда это?

Посмеиваясь, Антон отдал весь глоток. Беленький отпустил язык, он был уже почти сыт.

И теперь мальчик и козлёнок довольно смотрели друг на друга, улыбались. Вдруг лицо мальчика исказила страшная догадка. Суматошно пощупал на себе майку.

– А-а!.. Пустил мне на живот горячую росу и ещё хихикаешь?!

Козлёнок не мигая всё смотрел прямо Антону в лицо, смотрел с интересом.

– Ну, зачем ты так сделал? – с напускным огорчением зашептал мальчик. – Хочешь знать?.. Я сам так умею! Зачем же два таких хорошика на одной коюшке?

Эта авария вовсе не расстроила дружбу, и во всё утро мальчик не разлучался с Борькой. Из всех живых существ он уживался только с козлятами. Только с козлятами ему было весело, легко. Он мог не выпускать козлёнка из рук во всё

время, пока бодрствует. Уже пора идти в сад. Антон «твёрдо, как пуговица» стоит на своём. Пойду с Борькой! И держит того, как гармошку. Борька обречённо мекает. Пусти! Я ж так и помру!

– Нет. В садик ты пойдёшь с паном Глебианом! – Митя отбирает козлёнка.

У мальчика одно оружие. Слезы.

Заревел рёвушкой и примолк, лишь когда Митя серьёзно посулил принести из школьной библиотеки книжку с нарядными картинками. Книжки Антона любил рассматривать наедине.

– Из-за вас ещё опоздаю в школу за своими пятаками, – по-дедовски ворчит Митя. – Да ну собирайтесь!.. Уже все пробежали в школу. Да собирайтесь вы, охламоны, в сад! Ну живо! Живо мне!

12

*Все творенья в божьем мире
Так прекрасны, хороши!
Но прекрасней человека
Ничего нет на земли!*

Поля не знала привычку провожать ребят в детсад. Собрать соберёт, выпроводит с крылечка, накажет Глебеке:

– Ты большенький. Гляди там за Антоном, не бедокурил чтоб. Поберитесь за руки та идить с Богом, хлопцы.

Говорила Поля мягко, уважительно. Знала Глебкин нрав. Скажи что не так, не по нему, кольки только самолюбие – первые слова упрямика:

– Не хочу! Не пойду!

И не пойдёт, и не сделает, хоть в лепёшку перед ним разлейся.

Зато когда гордыня не потревожена, не пощипана, доверие греет его. По праву персональной няньки берёт он братчика крепко за руку и вышагивает так широко, что меньшак бежит за ним полубоком.

Поля постоит посмотрит вослед, вздохнёт да и втащится назад в комнату.

Теперь её нет дома. Однако в утренних сборах ничего не

изменилось. Может, набавилось чуть детской деловитости, взрослости. Собирать меньшего никто за Глеба не станет, это он делает сам, делает старательно, внешне иногда грубовато. Но это показная грубость. Не липнуть же к брату в открытую, как смола от кедра. Засмеют ещё.

Вот подгоняемый Митрофаном застегивает он на Антоне красную рубашку. Ворот тесный, с верхней пуговицей никакого сладу. Ни под каким мармеладом не сходятся пуговичка с петелькой. Кое-как наконец свёл их рядом. Норовистая пуговица упрямится, не гнётся, не ныряет в петельку, точно в обиде смертельной на неё.

Глебка досадно морщится, припадает перед братцем на одно колено. Снова ладится застегнуть, снова ничего не выходит.

– Ты б на ушко шепнул, братушка, где это ты так раскушался. Я б тоже туда слетал на подкорм.

Антоха рога в пол. Насупился, косится.

– Один глаз на нас, – раззадоривает Глебша, – а другой на Арзамас! Не согласный? Чего молчишь?.. Ну, молчи, молчи. За умненького сойдёшь. Это ты от воздуха распух. Выдохни поглубже и не дыши. Шея сразу стоньшает, тогда и застегну.

Антон делает наоборот. Собранно, длинно вдыхает, жертвенно поднимает глаза к потолку. Глеб влюбовинку смотрит на него, улыбается. Ему нравится брат, он любит брата.

Антон не выше велосипедного колеса, клоп пока. Бе-

лое полное лицо щедро закидано веснушками. Податлив, неустойчив нос перед солнцем, как исключение перед правилом, и, естественно, по весне являл скандальное поползновение к шелушению. По его облезлому носу мама в шутку определяла приход жары:

– А Антонка принёс нам новостёху. Набежало лето!

Его округлая большая голова со старательно оттопыренными ушами горела рыжим пламешком коротких густых волос. В ясных, в светлых глазах лучилась чистота.

– Ну, можно мне дыхнуть?

Что Антон спросил именно это, Глеб догадался скорее по губам, настолько глухо это было сказано.

– Да мне что, дыши. Воздух бесплатный. А потом, сикось-накось, я уже застегнул.

Они выходят из дому. Антоня останавливается. Не двигаясь с места, пробует пошире сделать первый же шаг. Одна нога плавно уползает вперёд, другая назад, и он, пухлявый весь, толстенький, как тыква, в шпагате садится на землю.

– Ты чего расселся, как на именинах? – в нетерпении подпирает Глеб. – Ты не уснула, бабушка?

Со спины Антон и впрямь похож на маленькую бабушку. Ветхое пальтецо из байкового одеяла совсем скрывало ноги. Вдобавок он сутулился, это делало его фигуру ещё больше похожей на старушеньку. Вместо шапки или фуражки, этих величественных отличительных знаков мужчин, Антон с на-

полеоновским упрямством⁵⁶ носил повязанный хаткой скандальный белый платок. По платкам мальчик обмирал. Однажды ему купили фуражку. Однако на площадку, в сад, он всё же пришёл в платке, а в руке нёс фуражку. Через неделю покаянно пролепетал:

– Я стерял фуражку.

– Где, Потеряшкин? Айдатеньки искать.

– Она уже далеко.

– Она у тебя ходит?

– Плавает... Большие ребята ловили в неё раков, положили на берегу...

– И что?

– Раки уговорились убежать. Столкнули фуражку в воду. А чтоб не утонуть – плавать раки не умели, – сели в фуражку и поплыли.

После столь сомнительного происшествия – на поверку, всё выскочило куда проще, мальчик просто забросил ненавистную фуражку в реку – Поля не стала покупать парню фуражки, и часто-густо, взяв себе платок, повязывала им сына, а сама бегала в старом.

Восседать с разодранными ногами неспособно. Подхватил, втянул под себя Антон одну ногу, встал, капризно хлопнув брата по руке, протянутой в помощь.

– Этот шаг не считается. Сначала! Я буду идти широ-

⁵⁶ Наполеон сказал о себе: «Ребёнком я был упрям и любознателен». (Стендаль).

ко-широко. Как ты!

Снова ладит сделать порядочный шаг, снова ноги разъезжаются, снова шпагат.

– Пряник, кончай ломаться! Опоздаем на завтрак!

Напоминание про завтрак производит на Антона слабое впечатление. Он кисло переваливается с ноги на ногу. Глубка на бегу ловит братца за руку, в спехе тянет, и тот боком семенит за ним, откусывает тропку частыми-часты-ми шажками. Нежданно Антон ужимает ладошку трубочкой, выдёргивает из цепких сердитых пальцев, бдительность которых была усыплена внешней, притворной покорностью маленького лукавца.

– Ты не ходи за мной! – отскакивает Антон в сторону.

– Почему?

– Кочерыжкой по кочану! Не ходи и всё. Я только нарисую след.

На ходу Антон снимает с ноги чуню вместе с носком. Босой ногой сторожко ступает в прохладу пыли на краю дороги, где её, пыли, всегда больше, чем на самой проезжине. След на обочинке живёт дольше, первая же машина не уметёт, не поломаёт его. Мальчик оглядывается, убеждается, что след спечатан чёткий, глазастый, довольно обувается.

– А чем тебе следы чуней не угодили? Легковушные ж следы!

– Так то неживые следы. Мертвячие.

За завтраком Антошик постреливал глазёнками в открытое окно за ряд ёлок, на дорогу, что пробегала у самого сада, прислушивался, переставал жевать, навязывая короткую безработицу всесокрушающим челюстям. Не идёт ли откуда машина? Не везёт ли беду?

Но вот мимо простонала на ухабах полуторка. Мальчик больше не едок. Высматривает, где там тётя Мотя Пенкина, воспитательша. Ага, собирает пустые тарелки и тихонько ужимает левый уголок рта. Она всегда стесняется своей сшитой на фронте нижней губы и старается, чтоб шов не так был виден. Сейчас тётя Мотя понесёт тарелки на кухню. Стоит той выйти, как он вышныривает из-за стола и во весь дух к своему следу.

Антоша лучезарно рад, увидев, что машина взяла правей, и он благодарно думает о шофёре. Вот заметил его следок, объехал, не смёл, поджалел чужой труд.

Зорче всматриваясь в след, подмечает, что он немного потускнел. Села свежая пыль от пробежавшей машины. Так след можно подновить, починить! Он раздевает одну ногу, торжествующе опускает её на старый след. Вот и всё в порядке!

Назад он скачет на одной ножке, скачет до самого сада.

На недоуменные взгляды воспитательницы ребятня радостно выкрикивает:

– А он живой! А он живой! А он весь живой!

Но через минуту-другую мальчика снова начинают под-

кусовать мысли про злые машины. С опаской косится он на окно, и как только проходит машина, в панике летит к следу. Возвращается разбитый. Плечишки опали, голова вниз. Не подымая глаз, находит Глеба за столиком – деловито изучал картинки. Лицом уткнулся ему в спину и заплакал.

– Ты что? Молчок, сверчок!

– Да-а, молчок... Машина след убила...

В слезах его столько горя, точно в самом деле лихая сила разрушила всё, что создал человек за всю жизнь, уничтожила всё, что составило его след в жизни. И разве так уж смешны его слёзы? Разве дорога к следу в жизни не может пойти со следа на пыли? Три года это тоже жизнь, у неё свой след. У всякого времени свои удачи, свои потери. Найти бы, кто отомстил бы обидчику. Антон понимает, какой брат ни самый старший в саду среди ребятни, какой ни сильный, а обидчика на вольной неизвестной машине уже никому не догнать. Сознание этого бессилия валит мальчика в ещё большее горе, он плачет ещё кручинней.

– Слышь... ну... хватит... А то я уже плыву, – жалеючи шепчет Глебка. – Не то обоих унесёт рекой от твоих слезов.

Мальчика не манит новая беда, он потихоньку замолкает. Вошла воспитательница с маленьким ведёрком.

Глебка дёрнулся навстречу, взял ведёрко.

– А я разбежалась вклеить тебе выговорешник. Думаю, неужели наш Глебулеску на речах, как на органе, а на деле, как на балалайке? В садике ж ни водиночки! Забыл сего-

дня про свои обязанности?

– Забыл, – краснеет Глеб. – Но я, тётъ Моть, натаскаю. Я побежал.

Дразняще нагромыхивая ведёрком – слушай, мелкота! – Глебша пулей вылетает во двор и по двору вышагивает не спеша, обстоятельно. Знает, вся детворня подсыпалась к окнам, завистливо таращится. Вота счастливчик! Вота вольный казак! Куда левая нога захотела, туда и повела. А ты до самой ночи парься в саду!

Их горячие взгляды Глеб чувствует спиной и идёт вовсе не куда вздумается, а строго к роднику за дорогой и до обеда, подплывая пóтом, таскает на кухню воду. Самый старший в саду, самый сильный, он сам напросился в помощники к поварихе, хиловатой, сухой, хоть в щель пролезть. Мелкокалиберного была замеса. Наносит ей на полный день, она не знает, как и благодарить. Поцелует, заслезится:

– На цельнай потопище водицы доспело. Вут спасибушка, сь́нка... Вут спасибушка...

И за обедом обязательно поставит перед ним алюминиевую мисочку попросторней.

Оставшись без брата один, Антон не примыкает ни к мальчишкам, ни к девчонкам. Он долго сидит один в углу, по-завхозовски строго перебирает игрушки. Поломанные налево, хорошие направо.

Как-то всё грустно вышло. Все игрушки оказались в левой кучке.

Может, все-таки пойти к девчонкам? К девчонкам его тянет, но с ними ему совестно. Набирается храбрости, идёт к ним в комнату, незаметно утягивается в дремлющий затенённый уголок, где его почти никто не видит из-за кровати, а он видит всех.

Старшие девчонки с бамбуковыми спицами, учатся вязать. Стальных спиц нет, а бамбук вот он вот, за овражком. Нарезь, обчахни какой прутик, вот тебе спица. И спицы у девчонок настоящие, и нитки настоящие, и вяжут они вместе с тётёй Мотей настоящие варежки, носки на фронт. Совсем рядом, по тот бок Кавкасиони, горела война. Адрес её был близкий. На Марухском перевале, под Моздоком, по всему Кавказскому хребту воевали их отцы, братья. А в горах с вечными снегами очень холодно.

Младшие в саду были *вольношаталики*. Ничего полезного не делали, только ели, спали, играли, а то и просто не знали, чем ещё заняться со скуки. Такое про Антона не скажешь. Из своего сумрака он жёстко, немо пялился на девчонок. Они хотели, чтоб он всегда был под рукой не потому лишь, что так преданно и в солидарность с ними носил козынку. Дело не в козынке, что само по себе и лестно девчонкам, вся соль в его рыцарском покровительстве.

Одна половина сада имела необъяснимое желание носить косы. Другую сжигала неодолимая страсть дёргать за те кошишки и вообще по прочим иным мотивам она врезалась в конфликты с прекрасной половиной детского сада. Хорош-

ки нуждались в надёжных, в могучих заступниках, на ниве коих и подвизался наш юный геройка.

Думаете, в комнату к хорошкам его вело пустое, праздное лицезрение?

Вот он вошёл.

Девочки зацвели и ни одна не подбежала к нему. Это значило, сегодня ни одна не обижена. А будь обижена, непременно подошла б, взяла его за руку, и он, ничего не спрашивая, шёл бы за нею, пока дорога не упёрлась бы в плутишку, который разобидел. Показав на него, девочка вежливо чуть отходила, а Антон чувствительно шлёпал того по руке. Он считал, рука – зло. Люди дерутся руками, потому бил только по руке. Не протягивай! Бил всего разок, расплата укладывалась в одно касание. Ударив, с чувством свято исполненного долга поворачивался и уже он гордо вёл девчошку до того места, где она пихнулась к нему за защитой.

Случалось, нарывистый драчунелла давал сдачу. Тогда Антон со слезами тащил её, сдачу, и виновницу сдачи к Глебу. Тот без слов понимал всё. В бой теперь вступала тяжёлая артиллерия. Петушок сполна получал за наработанное, поскольку, как уже сказано, из детворы сильнее Глеба никого не было в саду.

Нынче весь день горе. До обеда Антон просидел пенёчком в углу, горестный, панихидный. Машина раздавила след...

Борщ да каша подживили его. Без спросу увеялся гонять

ржавый обруч с бочкина живота. Подвывая тяжело нагруженной машиной, поталкивал перед собой обруч, излетал весь район. Наконец упрел от беготни, спрятал обруч в чайные кусты.

Надо бы уже назад, в сад, – нелёгкая возносит его на ёлку, на самую вершинку. Глянул вниз – кругом пошла голова, разнимаются пальцы.

Мальчик зажмурился, инстинктивно крепче обнял потеплевшее на солнце тело ствола. Затаился.

Он боится открывать глаза. Всё кажется, открой, тут же и рухнешь мешком. Он делает усилие над собой, капелечку разжимает один глаз, второй. Велит себе не пялиться вниз. Да и зачем вниз? Разве лез он любоваться отсюда землёй у ёлки?

Он нетвёрдо отводит взор в сторону. На дорогу. По этой дороге мама ушла с Машей в больницу. Мальчик ненастно впивается в белёсый каменистый проселок. Забираясь на ёлку, Антоня думал, что первый увидит, как она идёт из больницы. Каждый же день переказывала с Митькой, что вот-вот придёт. Да всё не шла. А если она нас бросила? Мальчик засопел в обиде, слёзы белыми стрелами посыпались вниз.

Его поведение, его слёзы вбивали в тупик всякий зрелый ум. Ключа к нему близкие не могли доискаться, списывали все его странности на счёт детского возраста. Вырастет, авось, пройдёт. А между тем до той поры, когда *вырастет*,

далеко. Что сейчас с ним происходит? Что сейчас в нём варится? Может, что-то прояснит его дорожка из вчера, по которой он прибежал в сегодня? Хотя он сам или кто другой разве скажет, где и как именно начиналась та дорожка, по которой он в свои три сентября дотащился до себя вот уже до такого запутанного? По натуре он совершенно одинок. Мира, гама не выносит. Он мальчик из угла. Растёт в углу; его душа живёт лишь в безмолвных, в подёрнутых тенью углах то ли дома, то ли сарая, то ли чердака или в дремучих зарослях бурьяна, кустарника...

На ветру тихо покачивается тонкая вершинка ёлки. Вместе с нею отрешённо покачивается и Антошка. Не закаменел ли он со стёжками слёз на щеках?

Крутятся в голове шестерёнки-винтики, выкручивают такое, что мальчику уже не по себе. Забыто, что сам ушёл от людей. Ему мерещится, будто все его отвергли, будто решительно всё от него отвернулось.

Призрачные мучители корчат гримасы, бросают колкости. Он слышит лихостные ябедные голоса, видит скорченные рожи, чувствует, как его бьют. Сыплются болькие удары, мелькают одни огромные, как привидения, руки, а за руками ни лиц, ни фигур. Он ужимается в комок, ревёт навскрик.

Выплакавшись в одиночестве, он смуро побрёл домой.

Дверь на замок не закрывалась, припнута ольховой рогулькой. С кирпичины, поставленной попоком, легко дотянулся до палочки, вытолкнул снизу.

Закипал вечер. Уютный полумрак селился по углам. Мальчик тихонько прошёл к табуретке в углу; как воробейка, присел на край. И даже дома, среди привычных немых вещей, держался он в сторонке, словно боялся их, робел молотить им глаза.

Три козлёнка, не признававшие его, как вытянутые нити, то белые, то чёрные, то серые, призраками летали друг за дружкой с табурета на койку, с койки на скрыню, со скрыни на стол, со стола на подоконник. А оттуда уже скакать некуда и прыг назад на пол. Снова праздничные скачки по полу. Какие вихри носили их? Откуда эта грациозность в прыжках? В чём суть их игры?

Мальчик поймал себя на том, что улыбается.

Кажется, по-своему расценил эту улыбку Борька и, недолго думая, весело махнул мальчику, сутуло сидевшему на табурете, прямо на плечи. Удержался на шее, панически свесил тоненькие ножки Антону на грудь.

Мальчик угнул голову, стяхнул козлёнка на готовно вытянутые руки.

– Признавайся, разбойник, ты внарошке уронился на меня? Или по нечаянке? Заигрался?.. А если я накажу?

Борька просительно заблеял.

– И не хнычь... – Антон слышал через рубаху ласковое тепло его тельца, зашептал умоляюще: – А можно, Борик, я на те поиграю? Побудешь гармонюшкой?

Борька тревожно молчал. Мальчик благодарно прижался

к нему и, подыгрывая себе языком, принялся старательно нажимать на *клавиши*, на тёплые рёбрышки. Борька не пушинка, изрядно тянул книзу, почти весь выкатился из рук, низко провис животом. Антошка едва держал его за горло и за заднюю ногу.

Перехватило дыхание. Борька захрипел, укатывая чистые глаза.

Мальчик испугался, выпустил.

Оказавшись на желанной свободе, Борька возгорелся бороться за неё до смерти, и когда мальчик погнался за ним, яростно взмыл на сундук, с сундука на стол. А дальше? Снова на пол, в горькие руки? Не-ет!.. Борька храбро кинулся в незанавешенное окно.

Лопнул холодный звон стекла, Борька вывалился на улицу. На счастье, в мазанке окно было низкое, всё обошлось. Очутившись на земле, Борька с мгновение чокнуто стоял, как бы стараясь сообразить, что же произошло. Но тут всполошённо позвала Серка. Обрадовавшись, он метнулся навстречу к перепуганной матери. Она бежала из леса впереди стада и видела, как он падал из окна.

Заслышав маятное бляение своей мамушки, высыпались в окно за компанию и близнюки, сразу к своей мамке-кормилке; ликующе повиливая хвостами, налетели сосать с коленок.

Антон выскочил на крыльцо и обмер. Молоко, которое бы он ел, уходило в ненажорные глотки. Подбежать отнять коз-

лят? Боязко... Ещё козушки на рожках понянчат. Ему ничего не оставалось, как зареветь в надежде, что на его слёзы кто-нибудь да явится и прекратит это ералашное безобразие.

Никого из соседей не было рядом, и мальчик, глядя, как козлята урча, взahlёб дохлопывали последнее молоко, очумело скулил.

– Ты чего? – вдруг спросил из вечернего сумрака Митрофан. Митрофан брёл из школы. По пути насобирали в придорожных посадках елового сушняка, и сушняк вязанкой-горушкой дыбился у брата на спине. – Или у нас дома несчастье – таракан с печки свалился?

Антону было не до шуток. С пятого на десятое отмолотил про разбитое стекло, про коварство козлят.

– Они высосали всё! Я остался без монюшки. А я хочу!

– Хотеть можно бесплатно. Нечего было лопушить! Нечего было мотать Борьку! Вот тебе за это отплата. И правильно сделали. Покукуешь вечерок без молочка.

– Ка-ак правильно? Я хочу!

– А где я тебе возьму? Выпляшу, что ли? Жди теперь, сеньор Подсолнух, до утра. Не помрёшь?

– Была б охота!

– Ну и молодцом. А по монькиной части не горюй. Нету моньки – смотри красивую книжку!

Митя сбросил вязанку, подал из полотнянки сумки нарядную книжицу. Сдержал слово, принёс!

Митя сбегал за огнём к Батломе, зажгёт коптушок.

Выбившись из сил, Митя волоком потащил вязанку к сараю, стал рубить сушняк. А тем временем Антон заткнул низ высаженного окна подухою. Подсел к коптушку с книжкой.

Книжка была очаровалка. Мальчик в нетерпении подтолкнул коптушок к самым глазам, ещё ниже припал к книжке, почти лёг на стол.

Крошечное, болезненно-чахоточное пламя, хило выбегавшее по ватному жгуту с потрескиванием из пузырька на полнотка, зародовалось, увидев, как над ним свесился угол косынки. Пламешко озоровато качнулось, будто разогналось, вытянулось, подпрыгнуло. До косынки не доплеснулось. С досады упало, сжавшись гармошкой, уменьшившись вдвое, однако вдвое и потолстев. С минуту оно завистливо косилось на косынку, точно кумекало, как её достать. Сил подпрыгнуть повыше не было ни граммочки. Оно пошатывалось, словно молило про себя, чтоб подбросил его ветерок, и тут Борька, лучезарно взлетевший с лавки на стол, приплавил упругий вихрь. Вихрь дуря подкинул пламя, оно успело ухватиться за край косынки. Сам вихрь сразу же отлетел вместе с Борькой, вознеся того уже на тумбочку.

Косынка загорелась. Мальчик не понял, откуда это огонь, да ему и не до выяснений было за интересной книжкой. Он повеселел, что стало светлей, ярче. Теперь куда лучше рассмотришь картинки. В новое мгновение он почувствовал, как огонь жжёт в правый висок, слышал, как навспех затрещали на нём волосы.

С диким воплем стриганул он на крыльцо. Всё окрест осветилось живым факелом, и Аниса – шла с тяжёлым ведром от родника – в ужасе выронила ведро. Ведро кувыркнулось, вода с сердитым змеиным шипением побежала впереди неё.

– А-а, Господи! – со стоном кинулась Аниса к мальчику.

Она не знала, как поступить. Бездумно сдёрнула с себя фартук и ну размахивать, ладясь сшибить ветром пламя. Но оно ещё злей подымалось шапкой. Тогда Аниса ударила растопыренной пятернёй по пламени. Оно ослабилось, село. В следующий миг косынка корчилась в огне уже на полу, Аниса зверовато топтала её ногами.

– А малахольный ты мужилка! Вот божье наказание! Ты ж дом мог спалить! Ты про то подумал, глупендьяй? – укорно ткнула она его двумя пальцами в лоб, и под вскрик мальчика это её прикосновение навсегда впечаталось над правой бровью. Впрочем, отметина её легла, может, и раньше, когда угарнохватила всей пятернёй по горячей на голове косынке.

– Ох! Что ж я, чумородина, делаю? Тутоньки погорело всё! До корня! – Она горько сморщилась, всматриваясь в лоб.

Из жалости к себе мальчик залился навзрём.

Аниса внесла его в комнату, усадила на лавку. В спешке стала жевать жареные кабачковые семечки, что остались у неё со вчера.

– Сожжено не огнём, а золою. Золою... – ласково уверяла.

Подула над бровью, приложила прямо изо рта кашицу. Повязала полотенечком, добавила заговорщически: – Где был огонь, будь песок, будь песок...

Вошёл Митя с охапкой нарубленных дров.

– Ты чего, – спрашивает Антона, – весь перевязанный, как битый немой?⁵⁷

Антон не говорил за слезами. Аниса сама рассказала, как задавила пожар. Под конец попросила:

– А покажи, праченька, как ты беленько отстирал то, что замочил даве. Покажь, как устарался.

Митя потускнел.

– Забыл... Я не стирал ещё...

– Да оно всё в воде погниет! Давай я ментишком!

– Не-е... Сёни, тетя Ань, постираем. Завтра выходной, в школу не бежать. Сёни постираем, а завтра с утра на речке отполоскаем. Не переживайте. И без нас в хлопотах купаетесь...

– Давай. Я скоренько.

– Не-е...

– Оха! Какой же ты... – В ней закипала хмурая злость. – Ни рыба ни мясо ни кислые щи. Ну... Подай Бог здоровья кнуту да хомуту, а лошадь довезёт!

Аниса ушла.

Митя накипятил воды, из-под койки выволок на середину комнаты корыто. Достирывать Мите помогал Глебша.

⁵⁷ **Немой** (здесь) – немец.

Во всё мамино отсутствие Митрофан важничал, был чересчур весь строгий. Полагал, раз тебе доверили вести дом, так и будь серьёзный, солидный. С проголоди Глеб с Антоном просили нажарить кукурузы, а он ни в какую.

– Мама велела беречь от вас, коркоедов, кукурузу. Это на крайнюю случайность. На самую горячую!

Кукуруза хранилась в скрыне, в кованом сундуке, в котором везли на разукрашенном свадебном поезде Полино приданое, когда выходила замуж. Везли из Собацкого в Новую Криушу. Потом семья держала в этой скрыне, подпоясанной жестяной лентой, дорогие вещи. Вещи поменяли на зерно. Сундук опустел. В него и ссыпали выменянные последние пуда два кукурузы, ссыпали вперемешку с соей.

В первый же день, как остались без мамы, Митрофан нацепил на сундук хитрый замок. Ни Глеб, ни Антон не могли открыть. Спать теперь Митрофан не ложился на койку, всё лез для надёжности на сундук, плутовато лыбясь братцам. Дескать, народишко вы тё-ёплый, только зевни, сейчас же панихиду и отслужите!

Братцы уныло кисли. Попробуй тут отлучи хоть зернинку. Но сегодняшняя Антошкина беда умягчила строгого хозяйчика. Подобрел, сам назвался:

– Жарь, братухи, кукурузу, сою! Сколько душеньке завгодно! Пойду позову на пир своего Пегарька.

Весь вечер весело жарили, ели. Митя подмигивал погорельцу Антоше, ласково допытывался:

– Что это ты напиралась на одну сою?

– А на две я не умею! – отмахнулся Антон.

– Медвежья хворь не проймёт?

Митрофан объявил, что ляжет не на сундуке, а вместе со всеми на одной койке. И добавил:

– Сымаю с кукурузы охрану! А ты, Пегарёк, дуй к маманьке.

Жадобистый Петька Пегарьков, Митин корешок, замялся. Он не верил, что царское пиршество могло состоять лишь из двух блюд, из кукурузы и сои. «Наверняка у них наприпрятано за глаза ещё чего-нибудь. Я за порожек, они без меня и утрескают! Не на того запали!»

Притворяшка заскулил:

– Я боюсь один бегти домой... А ну чикалки⁵⁸ напанут? Можно, я у вас сночую?

– У нас всё можно! – свеликодушничал Митрофан.

Было впрохладь, свежо. Валетами попадали все четверо на одну койку, вжались друг в дружку.

В глухой час, ближе к свету, то и стряслось, чего так опасался Митрофан. Во сне Антон облил всех «цветом детской неожиданности». Невидимой волной всех смыло с койки. Один Антон уже без одеяла всё безмятежно спал.

– Антоха... башка незаплатанная... – кутаясь в одеяло, хныкал Пегарёк. – Ты чё меня всего устряпал? Холодина, зуб на зуб не бьёт... Как домой иттить?

⁵⁸ Чикалка – шакал.

– Ножками! – резнул Митрофан. – Отдавай сюда, задрёпа, одеялку нашу и шлёпай!

Митрофан выдернул из рук Пегарька одеяло, подтолкнул к двери.

– Катись отсюда колбаской. Чтоб тебя чикалки пощекотали! За пятки!

В окне черно, жутко.

Ёжась, Пегарёк выскакивает в черноту.

– А теперь с тобой разберёмся, ненаглядный китайский партизаник! – Митрофан дёрнул Антона за ногу. Мальчик так и не проснулся, ужимаясь в калачик. – Что Пегарька уделал – пять с плюсом! Так бы он и завтра не ушёл. А что всю постелю упоганил, нас с Глебом... Кто за тобой будет настирывать? Я? Я не нанимался к тебе в прачки. Ты у меня с рёвом нацелуешься с этой дрянью! А ну вставай!

Митрофан шлёпнул Антона по ноге. Антон вскочил, припал плечишком к стене и затих. Он продолжал спать сидя.

– Ты бесстыжие свои лупалки-то не жмурь! Давай открывай. Смотри, чего ты натворил!

– Я... не могу... проснуться... – сонно бормотал Антоша.

– Так я помогу!

Митрофан остервенело схватил сонного за голову, отвёл назад и с разгону трижды воткнул разрывающегося в плаче Антона лицом в кружок «золота».

Из школы Митрофан забежал в больницу.

Поля положила на него тревожные глаза:

– Как вы там? Живы? Вчора выходной, школы тебе нема.

Один денёчек не був и у мене. Еле выждала душа... День-год... Ну, як вы там, сыночок, кулюкаете? Голодом не сидите? Кукуруза, наверно, уже вся? До званья подмели?

– И ничего мы не подметали... Кукуруза вся целая. Только разик, позавчера, малешко гульнули. Две сковородки пожарили. А так больше ни во столечки, – Митрофан показал кончик мизинца, – не трогали. Вся на месте. Кре-епко я берегу от Глебки с Антохой. Как велено!

– Кто велел?

– Сами Вы и велели! Кто наказывал? Ты старший, так ты уж береги?

– И-и, головушка медная... Бездольный воспрещатель... И слушать тошно! Я ж говорила не про то совсем! Берегти-то береги, да не по-твойски! А так: йисты – ешьте, мимо рота только не кидайте.

– Во-она как! – разочарованно протянул Митя. – А я думал, не надо давать Глебу с Антоном.

– Ты там хлопцев не поморил мне? Ноги, може, уже не таскають...

– Ну да, не таскают. Скачут кузнечики!

– Посмотрю, как скачуть.

– А домой скорочко, ма?

– Скоро... Чоча твёрдо посулил списать завтра. Крайний день послезавтра. Приду гляну, як ты там хозяиновал у мене.

Последние дни перед домом были у неё самые тягостные за полтора месяца больницы. В каторге едва дождалась нового утра, потом век выглядывала обход, Чочу. А он будто всё напрочь забыл, не шёл, лишь под вечер вкатился.

Как обещал, дал полную отходную, да пойти в ночь с дочкой на руках уже не пойдёшь. Поля поникла, не притронулась к ужину. Уложила Машу, к своей койке и не подошла. Всё сидела поближе к дому, в прихожалке с дежурной сестрой, и когда та выскочила куда-то на *минуточку* (до утра), грустно обрадовалась, что не будет та докучать пустопорожними уговорами. Всю ночь толклись перед глазами ребята, дом, ловила в маяте себя на том, что во всю больничную полосу так щемливо не думалось про них, а тут с ума нейдут, и как они, и что они, в горячке то и знай всё отдёргивала на окне штору, лупилась в темь, готовая бечь. Только внесло предупреденным ветром сестру – лопнул терпец, прикинула Машу щёчкой к своей щеке да и бежака.

Видело материнское сердце беду.

Размахнула дверь – постель прибрана, Митька с Глебом потерянно сидят на скрыне с кукурузой, повтыкали носы в пол.

– Чего в таку раницу одемше? В честь чего сполáгоря повскакали?

– А мы не ложились...

Её морозом так и одёрнуло.

– Иль случилось шо?

– Да случилось... У нас, мамычка, Антошик пропал...

– А Божечко мой! Как пропал?! Доскажуте! Толком...

Порядком...

Братья переглянулись. Кому говорить? Глеб качнулся к Митрофану плечом. Давай ты!

Пропажа казнила Митрофана. Но ещё солоней казнило его то, что пропажа эта свертелась именно в то время, когда главой дома был он. «Не мог шныря одну ночку утерпеть... Пришла матуся, спокойно и укатывайся-пропадай на все четыре ветра. А то напоследушки запашку мне подпустил...»

Митрофану не верилось, что брат пропал всерьёз. Отыщется. Жрать захочет, прибежит. Да и потом, подумаешь, потеряли одного, зато у нас ничего другое не пропало! Мог же этот обормот вообще сгореть вместе со своей косыночкой скандальной, мог заодно и домишко спалить, могли всю, под черту, кукурузу слопать – но всё цело! А это что-то да значит. Вон и на старуху живёт проруха...

Митрофана не манило начинать впрямую с пропажи, поджигало сразу дать понять матери, что сладкое бремя властелина нёс он с достоинством. Завёл песню издалека, с субботы. Обстоятельно, как и просила, рассказал, как старательно стирал-настирывал весь вечер, как под конец помогал ему Глеб. Про воскресенье пришлось молчать. Собирались полоскать, да забыли, проиграли весь день в мяч.

Зато про понедельниковы страдания улился соловейкой. Корыто с настиранным еле обратали с Глебом на свою тач-

ку в одно колесо да к реке. Тачку так с бугра разогнало, что не удержали, сорвалась с берега, перевернулась. Перекурыкнулось и корыто. Хорошо, что речка воробью по грудку, не выше мизинчика. Из настиранного ни холеры не унесло, только прозрачная вода, что сонно прыгала по мелким камешкам, враз почернела.

Макая тряпицу в воду, Митрофан бил, охаживал ею лобастый гладкий камень, как делала мама. Глеб полоскал в отдалке, чтоб не забрызгать друг дружку. Не усидел и Антон – прокинулся, заслышав на первом мерклом свету их сборы, – тоже хлопотал в подмоге. Он считал, мало проку в том, что колотят братья по булыжникам бельём. Оно скорее станет чистым, если... Он кинул полотенешко на камень, застучал сверху другим. Камнем. Полотенце оказалось не из стали, тут же в нём явилась мелкая разрывка.

Как вещественное доказательство Митрофан достал из вороха и в самом деле чисто выстиранного, сухого белья на койке полотенце, показал те пробойники с белой бахромой.

– Развесили потом всё под яблоней у окна, наказали ему не забегать далеко и погнали с Глебом череду пасти...

– Что, уже наша была очередь?

– Не погнали бы без очереди... В субботу Погарьковы, в выходной Клыки ходили за козами, а в понедельник, вчера, уже нам набежала очередь. Не Вам говорить, по очереди пасёт каждая семья, сосед за соседом... Помог я Глебу выгнать стадо в лесок. Из леса прямошком на уроки. Не усидел всю

школу, сорвался к Вам. От Вас снова к Глебке в помогайлы.

– Без обеда?

– Зачем же?.. Краюшка у меня была-а... Солькой подбелил... Всё бегом, бегом... Употел, присел у родничка передохнуть. Умял хлебушко, из кринички запил... Ну, приходим вечером со стадом... Нету нашего пустопляса. Мы туда – Антон! Мы сюда – Антон! Нетушки. Думали, у тётъ Анисы. Нету. Тётъ Аниса говорит, всей день просидел он как именинник в канаве у дороги. Вы-то, ма, знаете, ух лю-юбит он со своим обручем обгонять машины. Ждет-пождёт в засаде. Только уравнилась машина, нырь из бурьяна и лёту. Гонит перед собой обруч на всех парах, горит выпередить машину... Останется когда один, нету родней печали, за обруч да на дорогу... Ещё тётъ Аниса сказала... Уже перед нашим приходом мыла она в столовке котлы, так он заскакивал чего перехватить. Дала. Он и исчезни не знай куда. Прошарили все канавы, все траншейки, все окопы, все сараи... Всю ночь лазили. Ни с чем и кукуем вот...

– А Божечко мой!.. А взрослым хоть кому стукнули? Тому ж бригадиру?

– Не. Думали, найдём. Чего по пустяку дёргать всеха?

– По пустяку... Ум расступается...

Плохо соображая, Поля вышатнулась на крыльцо.

Бригадирово окно скупо золотил сонный огонёшек – угасал в тугом тумане утра.

Она побрела на свет.

И уже на ступеньках её перехватил Анисин голос:

– Полька, а Полька! Ты этого демонёнка знаешь?

Поля обернулась. Аниса встречно подтолкнула в спину Антона – вела за руку, и тот угрюмо тащился сзади неё боком.

– Та где ты его откопала? – Поля обомлело сложила руки на груди.

– Где! Он меня, анчутка беспятый, чуть было на тот свет не отправил чертям на пензии воду возить... Подхватила я спозаранья да на кухню в детсад. Одна у поварихиной у подсобницы дорога. Заливаю котёл, другой. Все котлы у меня с вечера выскоблены, высушены, спят-отдыхают ночь кверху копчёными жопками. А это один чегось стоит на тёплой печке на своих ногах, невплоть прикрыт. Я крышку в сторону, хватъ ведро да туда было... А там чтой-то чёрное и заворушишь. Матеньки! Подкосились подо мной ноженьки, я и села, где стояла. Ведро всё-о-о на меня опросталось! – Аниса показала на кофту, на кубовую юбку, мокрые спереди до последней ниточки. – А он, колоброд, встал во всей росток да ещё потягивается. Тянет один кулачок за спину, другой за голову. Вроде того как и надсмехается, и грозой грозит.

– С него станется. Шо ж ты творишь? – накатилась Поля на сына. – Иле твоим бесстыжим глазам не первый базарь? Ты чего в котле забыл?

– Ничего я там не забыл. А Глеба наказывал далеко не заходить, я и был совсема возле дома. Я думал...

– А-а! То-то по всей улице вонишка была. Он думал! Горький арестантик бобруйской крепости! В котле ты, ворожённок, чего забыл? – подкрикнула Аниса.

– А это, ма, я так... – лисил Антошка. – Поел я её кашу, залез в котёлик в пустой. Тепло, темновато... Угрелся. Сижу слушаю, как скребёт она ножом котлы рядом. Уже ночка в окна залезла. Накрылся я крышкой, ночка сразу ко мне легла. Свернулся в калачик, думаю, а пускай тётъ Ан найдёт меня. Я там вничайке и уснул совсема...

Последнюю фразу мальчик произнёс с такой горькой досадой, что в самом тоне прозвучало признание того, что сделал он всё это крайне нелепо, что это нелепство он понимал, раскаивался. Он переживал, что из-за него страдали другие. Уже одно это прощало невольную его выходку.

И когда отчитанный от лихорадки, отруганный, Антон, Поля и Аниса появились на пороге, Митя вихрем слетел со скрыни. Запрыгал:

– Я так и знал! Я так и знал! Я говорил себе: раз обруч дома, так никуда не денется и сам этот раздолбайка! Из-под земли придёт за обручем! При-дёт! Вот и пришёл!.. Всё, ма! Получайте своё хозяйство в полном составе!

По улыбке матери ликующий Митя видел, что она довольна и горой отстиранного белья, и свежим, вымытым полом, и нашедшимся пропащей душой Антоном, так что вовсе и не зряшний был он, Митрофан, хозяйко. Ему хотелось похвалы. Мама заметила это.

– Спасибо сыночку Митеньке, – приобняла его за плечики. – Хозяиновал гарно. Повезде держал порядок, чистоту. Во всякую норку залезет, вытрет... Гарный хозяйко... наш Мужик Мужикович... А ты, Антоха, умывайся да в сад мне с Глебом марш!

– За мной, каурый! – Глеб поймал братца за руку. В злости Глеб называл его за огненно-рыжие волосы каурым. – Не упирайся, иди. Кто за тебя будет ноги переставлять? Давай шевели помидорками!

Антону зуделось убежать, дёрнул руку. Но Глеб удержал, поднёс кулак ему к носу:

– А пять весёлых братиков не встречал, малёха? – И легонько, без зла подтолкнул коленкой в то место, которое не плачет. – Бабушка велела кисельку поддать.

За завтраком Глебка всегда садился в саду рядом с Антоном. На то были две причины, весомые, как железнодорожные шпалы. Первая: на случай защиты младшего брата от всяческих козней детсадовской скорлупы. Глеб самый сильный, с ним справится лишь воспитательница, отчего так рыцарски вёл себя Антон с ровесницами: не боясь мести за свою вероломную измену сильному полу, выказал однажды открытое поползновение обратиться в девочку. Носить одну косынку явно недостаточно. А что нужно ещё, чтоб совсем стать девочкой, он не знал. Полез за советом к Глебу. Глеб сложил вид, что страшно напряжённо думает, но ни шиша

так и не надумал, со вздохом капитулировал:

– Глухо, братко, дело...

Из ответа последовало, что сила в руках не всегда пропорциональна силе в мыслях, и сила ума сейчас меньше всего нужна была самому Глебу. Зато сила в руках уже прирабатывала на него. Ему сказали, чем драться, лучше таскай воду в сад из кринички за Шкириным огородом. Глебка исправно носил, за что теперь отхватывал в обед по две порции первого. Две порции все-таки покуда больше, интересней против одной, и в Глебе прокинулась дремавшая предпринимательская жилка.

И вот вторая уже причина, почему он по утрам подсаживался за стол к брату.

К чаю обычно выдавалось по два овсяных печенья, без которых он легко обходился, теща себя мыслью о царском обеде с двумя первыми. Уже от одной только этой думушки он сытел. Взяв стакан с чаем, неторопливо подносил ко рту и обе печенюшки. Дух печенья сладко пьянил. Забивала слюна, сами собой размыкались зубы, неодолимо тянулись к дерзкому аромату. Мальчик с надсадой сглатывал слюну, стискивал прочней зубы и, внимательно-небрежно кинув глаз поверх ребячьих голов, убедившись, что воспиталка не следит за ним иль вышла куда, незаметно опускал сладинки в пазуху.

А кругом всё молотило со зверским аппетитом. И ничего так не хотелось, как печенья. Он машинально подносил пу-

стой кулачок ко рту, «откусывал», шумно, как все, тянул чай из стакана. Других просто обмануть, что пьёшь с печеньем, да навар из обмана не крут. Разве обведёшь себя?

Он лениво-деликатно давнул локтем брата в бок, просительно наклонился.

– Поделись, – показал на его печенье, – с братиком побратски. А то чай мёрзнет мой.

Антон гонористо выпрямился, задумался, не переставая жевать.

– Ну!?

Горячее понуканье взорвало младшего.

– Отзынь! Аржаную⁵⁹ пуговичку дам.

На замену Глеб не согласился.

– Аря-ря-ря! Жадоба! Пуговичка самому тебе нужна. На чём штаны будут твои висеть? Ты мне печеньица одружи на один зубок.

– Что ты как побирошка? Всякий день дай-подай!.. Давалка сломалась. Вот я склал про тебя. – И Антоша вшёпот пропел, назидательно тыкая брата в коленку:

– Побирошка, побирошка,
Дай печеньица немножко...

– Ну, хоть вот это. – Глеб ласково погладил сколок печенья, что выглядывал из братова кулачка. – Там осталось все-

⁵⁹ Аржаная – медная.

го на три духа. Крошка. Ну!?

Антон оценивающе уставился на Глеба. Дать или не дать? Глеб свойски мигнул. Мол, чего ещё думаешь, и смешливо выпустил ему кончик языка.

Не остался внакладе Антон. Из-под мышки насупленно вывернул уже фигу, обстоятельно впихнул злосчастный сколок себе за щеку.

Глеб проводил взглядом тот кусок в рот, посмотрел, как братец жевал долго, сосредоточенно. Всё не верилось, что не даст. Но печеньё уже в желудке, оттуда, как та коза, не вернёшь его отрыжкой.

– Ну, ладно, каурый, – зло облизал Глеб сухие губы. – Оставил шиш да кое-что ещё. Ладно...

Глеб ядовито покивал братцу одним прямым указательным пальцем. Да пропадай ты, лавушка, со своим товарушком!

С ведёрком он побежал к кринице. В посадке пристыл у высокой, у толсто раскормленной ёлки. Заозирался. Ага, ни один глаз подглядливый не гонится. Можно! В спешке достал из пазухи оба свои печеньица, завернул в тряпочку, с которой играли девчонки перед завтраком, сторожко вложил тряпицу в тёмное сухое дупло, застланное им самим газетным листом.

Почти весь день мальчик не выпускал из рук ведёрко, всё носил на кухню воду. За ужином перед всеми Аниса – она одна в четырёх картинках: и помощница у поварихи, и ня-

ня, и уборщица, и почтальонша, – Аниса и тётя Мотя, воспитательница, сказали ему спасибо, дали за труды лишние три блинца в сметане.

Вечером никто не приходил в сад за детьми. В синих сумерках воспитательница, иногда брэнча грусть на древней гитаре, сама отводила за район ребят на окопы к родителям.

От света до света люди ломали как быки. Кто формовал, стриг под овал лохматые чайные кусты. Кто перекапывал междурядья на чайных плантациях. После основной работы, к вечеру, усталые взрослые убредали за посёлок рыть окопы. Фронт ворочался, рычал невдали, взрывы вздыхали по ту сторону гор, вздыхали так, что дрожь пробирала дома, деревья, и по ночам ошалелый без сна бригадир кидался от окна к окну, лупил в стёкла палкой.

– **აბააბაა**⁶⁰ Тушы свэт! Тушы свэт!

Ребятё знало на окопах, где чья мать копала. Кучками, в одинарку молча растекались лаврики по своим. В мирное время любили они играть в войну. Теперь же и разу не подумалось сыграть в войну в настоящих окопах. Не игралось.

Младшие, крошутки, найдя своих, столбиками мёртво стояли в сторонке. Сражённо пялились, как гневно-яростно рвали с огня, быстро копали матери, смотрели и ждали, ко-

აბააბაა⁶⁰ (аба – грузинское) – ну-ка.

гда подадут руку идти домой.

Детсадовский народишко постарше уже не был просто сочувствующий зритель. Тот же Глеб. Влез в окоп к маме и, пугаясь у её ног, занялся подбирать со дна комки глины, упали с бережка, выносил или выбрасывал эти глудки за насыпь.

Было совсем черно, хоть в глаз коли, когда по бригадирову голосу женщины безмолвно покинули окопы и посунулись к посёлку. Все в смерть уработались, выпали из силы, еле ноженьки молчком несли и было едва заметно, как в кромешной тьме покачивались высокие и низкие – от горшка два вершка, от чашки на четверть – сгустки ночи, фигуры людей.

Поля вела за руку меньшенького. Глеб плёлся сзади. Раза два окликала, он отвечал:

– Тут. Тут я. Куда я денусь?

Мама забылась. Кинулась парня уже у двери.

– Гм... Где ж он? Вора не було и батька вкралы, – сказала самой себе. Негромко спросила темноту: – Гле-ебушка, ты где?

– Где же!.. Вот он я! – празднично звенел приближающийся голос из черноты. Мальчик бежал, тяжело нёс перед собой шатром отдутый подолок рубахи. – Ма!.. – вывалил на стол из пазухи холмок красных, синих, оранжевых круглых узелков, в которых было по два печенья. – Ма! Это Вам! Сегодня, говорила тётя Мотя в саду, Ваш День. Восьмой Март. Праздник!

– Дела! – Мама даже растерялась от радостного разноцве-

тъя тряпочек. – Дождалась и Полька от своего сыночка первого подарка. От спасибо, от спасибочко сыночку!

Мама конфузливо-светло рассматривала тряпочки, развязывала, брала печенья и боязливо клала назад, не веря, что всё то ей одной. Она улыбалась, сквозь слёзы спрашивала:

– Довго собирал?

– Да ну с нового года.

Антон встал на цыпочки, раздёрнул печенья на две неравные кучки.

– Это, – угрёб к себе бóльшую горку, – мне. А то всем вам.

Глеб взял брата ниже локтей, повытряс из рук всё до крошки. Поманил в сумрак угла, куда каганец не мог добросить болезненно-жёлтого трескучего света, к тому же шаткого, стóило кому рядом пройти.

– Я хочу по-братски поделиться с тобой, братик, – заговорил так, чтоб слышал лишь Антоня. – Из этих печений тебе, братик, причитается только это! – Глебка приставил ему к носу дулю. – Помнишь, как ты мне совал из-под мышки? Так что хороша Наташа, да не ваша.

Антон надулся, молчаком плюхнулся на кровать. Сычом косится на печенья.

– Хлопцы, – сказала мама, – и шо ото вы на них смотрите, как на икону? Сидайте за стол, ешьте все разом да то и будэ нам праздник из праздников. Я и не знаю, когда покупала вам печенья. А туточки полный стол. Да ешьте, ешьте вы. А то стол сломается!

– У нас и так один стол, – пробурчал Антон, не дойдя до шутки в маминых словах.

– Так вот и береги его, – весело подбила мама. – Садись да ешь. Чего упираться? Чего?..

Глеб с царственной милостью подпихнул к брату цветастый бугорок тряпочек с печеньями.

– Работай. Ломи за троих.

Антон понёс руку к радужной горке.

– Ага...

– Коровья твоя нога.

Тут втащился Митрофан с Машей на руках, жутко удивился:

– Что это в тайностях от нас все так разбежались в еде, что аж потеют!? А кой да кто, знаю, в работе мёрзнет... Ну-ка, Маша, гордость наша, спроси у мамушки, спроси у братиков, чего это они так горячо трескают, так набивают в оба конца, что аж за ушками трещит, а нам и не подадут? Ну-ка, спрашивай, золотушечка...

Все взоры собрала Маша. Стало так тихо, будто ангел пролетел. Девочка сосредоточенно молчала, словно прислушивалась к тому, как прозвучали слова брата. Казалось, она силилась догнать ухом тот улетевший куда-то голос и послушать его ещё, послушать сказанное. Но разве это возможно? Девочка бросила вслушиваться и занялась внимательными глазами обходить всех в комнатке, смотрела и улыбалась, и в том непередаваемом взгляде, в той непередаваемой улыбке

были восторг и сожаление, досада и радость, обида и торжество. Боже правый, легче сказать, чего в нём не было, и каждый увидел в этом взгляде укор себе, укор тому, что делал.

Как это никому не пала в голову прежде догадка, что эти печенья, пожалуй, всё-таки нужней самой маленькой в семье, самой слабенькой? Из больницы ж только что! Каждый, наверное, подумал про то же, каждый по-своему среагировал. Мама с какой-то виноватостью подала дочке капелюшечку надкушенное печенье. Девочка взяла, стала серьёзно рассматривать. Антон поднёс весь ворох, высыпал сестрёнке на лавку, где присел с нею Митрофан.

А назавтра Глебка шепнул Антону за завтраком:

– Я оставляю Машуньке одно.

– Я тоже.

И братья приносили каждый вечер по два печенья. Весь день мучительно таскали в кармане, прятали от себя, только бы не маячили перед глазами, только бы не разъяриться, только бы со зла не воткнуть в рот – бездна бездну призывала, как говорят о соблазнах. Крепок был бес искушения, но мальчишки находили в себе силу смять его.

*Или доля моя
Сиротой родилась?
Иль со счастьем слепым
Без ума разошлась?*

Никишин не вышел ещё хлеб, ещё полный под завязку мешок пшеницы, выменянный мужем перед уходом на фронт, толсто дулся в углу, а Поля, не привыкшая дожимать всё до крайности, не ждала, как последние зёрнышки снесёт за речку Скурдумку мельничихе Теброне, и потому, едва выскакивал пустой час, совала что уже из своего из личного барахлишка в мешок и бежала менять в горы. Одна ходить боялась. Чужие горы, чужие люди. А ну какой блудила навялится?

На всякий случай она брала в спасители Глеба. В то воскресенье будила его затемно, ещё лукавые не схватывались. Мальчик долго не просыпался. То ли слишком крепко спал, то ли будила она очень уж боязливо, и шла та боязливость от сердца. Жалко ей было поднимать. Она будила и боялась разбудить. «Ну, хай ще трошки...» Проходило с минуту, она несла руку к его плечу и, не решившись дотронуться, унижала её к себе. Она видела, как сладко он спал, отходила.

Окно уже брезжило. Мяклый свет дня подстёгивал, возвращал её к койке. Ждать больше нельзя. Она ставила в постели засоньку на ноги. Не поддержи – упадёт, так и не проснувшись. Она знала эту его сонливость, не бросала одного стоять и чуть не со слезами мягко покачивала из стороны в сторону, дула-дышала ему в лицо.

Помалу мальчик просыпался, не понимая, чего от него хотят. При этом он не капризничал, а шептал лишь одно:

– Не могу... Не могу...


Поля так и не добилась, чего же он не может. После выяснилось, никак он не мог проснуться, хотя помнил, что встать надо нарани. Вчера же весь вечер мама про это только и жужжала.

Наконец мальчик проснулся, живо оделся. Вот он и готов весь бежать день за нею верной собачонкой.

Только наши менялы на порог – прокинулся Антон. Что было силы в ручонках молча впился коготочками в материнскую юбку и, дрожа от страха, что вот сейчас уйдут от него, цепко держался. Мама пробовала высвободиться, разжимала пальчики, уговаривала:

– Пусти... Мы тоби лобии,⁶¹ чурека принесемо. С сыром... Мы нанедовго...

– Да-а, нанедолго... Вы всегда так говорите. А приходите

⁶¹ Лобно () – фасоль. Здесь: грузинское кушанье из фасоли.

совсема-совсема тёмнышко!

Митрофан дураковато хлопнул себя по лбу.

– Фу, Антоняка! Совсем ну забыл... Тебе ж мышка велела передать из своего магазинчика новую косынку!

– Где косыночка? Где косыночка?

Митрофан важно повязал ему на голову отцов носовой платок. Мальчик млеет от восторга. Рассматривает себя в ведре воды на полу, как в зеркале. Забыто всё на свете.

Мама с Глебом спокойно, незаметно вышли.

Густая синь неба чиста, без облаков. День набежит жаркий. Но сейчас, на первом свету, чувствительна прохлада знобкая.

Проворные, быстрые ноги Поля ставила широко, отшагивала совсем по-мужицки. Глебка, мелкорослый, худее спички (за худобу мальчишки прозвали его Чаплей), прыткий на ногу, не поспевал шагом, вприбежку следом топтал тропку стригунком.

– Ма-а! Подождите!

– Шо там ще?

– Гляньте... Растёр ногу этими проклятыми чунями. А ладно, я пойду босячком?

– Да иди.

С чунями под мышками Глебка завил клубок, резво побежал по толстой сонно-ленивой прохладе пыли. Отпечатки залегали глубокие, глазастые. Мама кисло усмехнулась, подумала вслух:

– Баре мы больши-и-ие: сапоги чищены, а след босый...

Из-за далёкой каменной череды радужно-багрово било, подсвечивало, и скоро доброе солнце пролыбнулось с высь-горы нашим путникам.

Глебка упоённо пялится на солнце скользом. Жалуется:

– Ма! А почему Солнушко ругается, не даёт глазикам на него смотреть долго?

– Знать, ему твоя компания не наравится, – светло утягивается мама от прямого ответа. – А ну с каждым поиграй в переглядушки, когда оно в работу поспеет?

– А что, Солнушко работает? Как Вы? Как дядя бригадир?

– Оё, брякалка, уравниал!.. А ну каждому в мире посвети? А ну каждого согрей?.. Каждого человека, каждую пташку, каждую травинку, каждый листочок... Большь сонца кто и робэ?

– И у него хлебных карточек забольше всеха?

– А карточки у него ни одной нема.

– Разве это честно? А давай отдадим хоть одну нашую!

– Отдадим. Передавать будешь сам?

– Ага. Вечером Солнушко упадёт за горку спать. Я разбудю и отдам...

Словно в благодарность солнце подпекало всё азартней. В селении Мелекедуре маме с Глебкой стало ещё теплей от живых прямых дымков, что подымались на погоду сизыми столбиками над саклями.

Улица начиналась богатым особняком. За могучим плет-

нём здоровенный, с телка, пёс на цепи. Зачуял чужих, с сытым рыком загремел цепью, но не встал: старый пёс брешет лежа. На резной балкон во весь второй этаж выстукивает хромой старик с воловьей шеей.

– ბიბია!⁶² Мануфактура не нада!? – деревянно кукарекнул Глебша.

ბატონო
– Нэт, !⁶³ – Старик с издёвкой, хищневато поморщился и сердито постучал назад в комнату за летящее на ветру крыло голубой шторы.

Менялы приупали, конфузливо поскреблись к соседским воротам.

Полный-то день с верхом вприсыпку толкались они со двора во двор, и никому, ни одной душе не в надобности их тряпчонки. Сомлели в поту, в голоде, каждый про себя молил: ну хоть кто да ни будь, ну хоть сколь да ни будь дай, абы

⁶² ბიბია (бидзиа – груз.) – дяденька.

⁶³ ბატონო (батонo) – уважительное обращение к старшему (мужчине). Буквально: сударь, государь, барин, царь.

не плестись домой без хлеба. С пустом.

Чёрной погибельной скалой наваливалась ночь. Мать с сыном потеряли всякую надежду на удачу. Брели уже назад, не стучались больше ни в один двор. Ну что попусту звонить в лапоть?

Глеб побито тащился сзади, думал про то, что солнцу легче, чем его маме. Солнышко пробежалось по небушку, свалилось за горку и спи. Никакейских забот! Ему никого кормить не надо. А у мамы четыре голодовщика. Во весь день не присела, не было во рту ни порошинки. Ничего не выменяли и до района ещё по ночи идти да идти...

Ему хотелось сказать маме что-нибудь хорошее и обязательно про то, что у неё хлопот больше против солнца, но он не знал, как сложить свои раздёрганные мысли в слова, насуровленно молчал.

– Пропало воскресенье, пропало до основанья... – жаловалась Поля сыну. – Такое наше счастье. На веку, як на долгой ниве, всякое буває... Всякое-то всякое, а почему скрозь нам подавали одни дули из Мартынова сада?

Глеб молчал.

– Сынок! Так ты знаешь, почему нам везде подавали одни отказы?

– Подскажете – узнаю...

– Нас все боялись! Вот глянь на нас со стороны, в смерть выпужаешься. Нищebroды! Як на порог таких допускать? Ещё утащат чего... Ты весь босый...

– Ну и что? Тёть Мотя читала, король тоже был босый, как разуется.

– По книжкам не знаю, ни одну не раскрывала, а так таких босых короликов, як ты, в Мелекедурах бояться. Може, думают, краденое меняют... И никаких с нами делов не заваривают. Ты обуйся, солидниш так...

Глебша заныл:

– Да ноги болят в чунях.

– А у кого не болят? У самой аж горят. Все ноженьки износила. Мне тоже не сахарь. Бач, какие тяжелюги батьковы чёботы, а я, как солдат, иду. А ты королик-задрыпка.

Такой щелчок, как мылом по губам. Мальчик уточняет:

– Не король я... Просто хороший я...

– Хороший, хороший! Обуешься, ещё лучше станешь.

Глебка покорно влез в чуни и пожалел. Идти-то уже не к кому! До конца улицы два дома. В последний, где спесивый старый небритый гуриец в насмешку обозвал Глеба своим господином, они, конечно, снова не покатыт. Может, эта соломенка? Так ещё утром мама нарочно обминула эту жалость!

Мама перехватила его удивленный взгляд. Кивнула:

– А давай-но, сынок, зайдём вот в этот двор. Нашим глазам не первый базарь. Перелупаютъ.

– Что там делать? Смотрите, каковецкая хибарушка? Не вышей плетня! Там богатики не королевистей нас.

– Не подговаривай под руку. Можь, и не посадять на ра-

кушки. Не обидят отказом. Давай на святого Лазаря зай-
дём... Нужда велит и сопливого любить... Утрёшь да поце-
луешь. Утром вот обежали. А ну здря?

От раскрытой калитки игристо отбежали две тропки. Од-
на к дому, другая, побоевей, к косому сарайке в тусклой со-
ломенной шляпе. Сквозь необмазанные, плетённые хворос-
том стены, сквозь закоптелую солому крыши сочился дым.
То было что-то вроде кухни, топили по-чёрному. Называлось
бухара.⁶⁴

Наши перекаати-поле посунулись к бухаре.

«Земля треснула – незваные гости наявились», – подума-
ла Поля про свой приход и, приоткрыв дверь, спросила в
дым:

ბიცოლა

– ,⁶⁵ можно?

Изнутри толкнули, дверь охотно растарацилась до отказа.
Из дыма выпнулось доброе женское лицо.

– Руски, заходи! Заходи, руски!

ბუხარი

⁶⁴ Бухара () – камин.

ბიცოლა

⁶⁵ (бицола) – тётя.

Втёрлись наши ходоки в тёмный уголок, осматриваются. Со света ничего не видно. Зато дым сразу настырно полез к гостюшкам. Через минуту какую дым поредел вроде, зыбко замаячили рёбра стен, покрытые на палец сажей. Посреди бухары на цепи висел вёдерный казан. Под ним тлели сырые ольховые коряги. Варилась мамалыга. Сладкий её дух так взбесил голод, что Глеба едва не сорвало. Ни граммочки же за день во рту не было.

– Мамычка! – горячечно зашептал он с близким ливнем слёз в голосе. – У меня головка кружится. Я хочу есть.

– Ну, попей воды. Я попрошу.

– Не... Воды я не хочу...

– И-и, орала-мученик! Ещё харчами будешь перебирать в чужих людях? Тошно слушать. Тогда сиди та мовчи!

Как грибы вокруг дерева, сидели вокруг костерка на земляном полу человечков шесть мал мале. Погодки, видать. Босоногие чумазики что-то лопотали по-своему, с живым любопытством постреливали угольно-чёрными глазенятами в угол на незнакомиков. Вдруг мальчишки сели тесней. В их гомонливом колечке вокруг костерка зовуще сверкнул пустой простор. Показывая на освободившееся место, хозяйка с поклоном позвала нежданных гостей к огню, в свой круг.

– Руски, аба, иди огон! Руски, аба нэ стиснайса!

Это радушие полоснуло Полю по сердцу. Видишь, думала она, пересаживаясь с Глебкой поближе, у самих бедность верховодит, не за что рук зацепить, а душа человечья не по-

теряна. Это поважней всего другого.

Завязался односложный, отрывистый разговор. Вперемешку сыпались русские, грузинские слова. Женщины не знали языка друг друга. Но каждая скорей чутьём поняла и приняла тяжёлую судьбу другой. Доли их были схожи. У хозяйки муж тоже воует. Дома оставил вот этот калган, шестерых сынов-погодков, притихших у костра.

შვილი

– ,⁶⁶ idbkj! Горки твои дэнь! – сокрушалась хозяйка, обводя печальным взглядом ребят, что устали в чадающие коряги суровыми глазами. – У тебе idbkj дома эст?

Поля вскидывает три пальца:

– Ещё три швилёнка. Некуда правду деть.

Хозяйка в отчаянии хватается за голову:

შვილი

ვაიმე! ვაიმე!

67

ბოგო ბიჭი

68 или,

769

– Одна гогочка... Маня... Два ещё бичика...

– Бедни idbkj, бедни...

Ужинали все вместе в саду под яблоней за врытым в землю столом. Ели сосредоточенно, молча, и была кругом разлита такая тишина, что слышно было, как падали с деревьев то спелые орехи, то яблоки. Одно яблоко бухнуло прямо в стол, заставило своим неожиданным стуком всех вздрогнуть.

Потом свалилось ещё одно уже Глебке в оттопыренный кармашек пиджака. Мальчик растерялся, не знал, как посту-

ვაიმე!

67

(Ваймэ!) – Горе мне!

ბოგო

68

(гого) – девочка.

ბიჭი

69

(бичи) – мальчик.

пить. Взять или отдать? Совсем некстати прилезла в голову коварная мыслишка про то, что мама не жалуется воришек. Мальчик заалел. «Воруют – это когда потихошку просто берут чужое. А я брал? А оно не само упало? И чьё оно? Людское?.. Не-ет, веточкино. А разве можно у веточки украсть?..»

Ему нравится так думать, но чистое сердчишко тревожно настукивает. Подавливает сомнение, что всё здесь хорошо.

«Моё – это когда только моё. Но разве дерево с яблоками моё?»

Яблоко уже согрелось, вспотело в его руке.

«Принесу своим... А если мама выбросит или заставит отнести назад, где взял? Было ж у Митьки... С пацанами собирал где-то в саду орехов. Пацанву свои мамки ухваливали, а наша в кровь обдёргала Митюхе все уши, навелела оттащить орехи туда, где собирал. Потаци-ил с песнями... А как я понесу один аж сюдашки?..»

Склонился мальчик к тому, как ни хорошо яблочко, да не его, в замешательстве положил на стол.

Грузинчата вскинули недоумённые чёрные мазки бровей. Поля всё боялась, что Глеб спрячет яблоко, отводила всё глаза в сторону и теперь долго посмотрела на него с благодарностью. Хозяйка ласково потрепала его по щеке. Сказала:

– Когда куши кончил, рви яблок, сколько нести можэш.

Мальчик повеселел и тут же выкатился из-за стола. Уже наелся вдохват, насадился, как Антипов щенок!

Руки сами поднялись к нижним веткам. Со святым ликом-

ванием осторожно стали рвать яблоки в пазуху.

А между тем хозяйка завернула в газету тяжёлый твёрдый ком смачной мамалыги с лобией, кусок зандульского⁷⁰ чурка.

– Поля, это, bзj дома кушай.

Поля было заупрямилась брать, но хозяйка не на шутку в обиду въехала. С какими глазами заявишься ночью без ничего к тем, кто дома?

– Там, bзj тожа хочэт кушай!

Свёрток Поля приняла и в ответ – не оставаться же с накладом! – выдернула из узла кашемировый, и разу не гревший её голову платок. Никиша ещё на севере к седьмому октябрю, к её рождению, брал. Хороший платок, дорогой, ни разу не надевала, самое лучшее, что было сейчас у неё из вещей, она и отдай за хлеб-соль, за привет. Хозяйке не манилось обжечь отказом, с дорогой душой взяла да в придачу к свёртку вплеснула Поле в мешок пуда полтора пшеницы, ведра три яблок – полный под завязь мешок!

Поля не знала, как и разойтись. За весь этот бугор еды одного платка по нонешней цене ой как мало, ни мой Бог. Под яблоней на лавке развязала она узел, суетливо завмахивала всякой барахлиной, кидавшейся под руку.

– Выбирай! Что на тебя гляне, то безразговорочно и бери!

– Я чито – вор? – вскрикнула хозяйка. Она судорожно

⁷⁰ **Зандуле** – сорт грузинской пшеницы. Чурек из неё не черствел двадцать дней. Вскоре после войны, в пятидесятые годы, этот сорт пшеницы вымер.

сгребла снова всё в узлину, впихнула в мешок и, сронив нескладные, разбитые руки Поле на плечи, смято посмотрела ей в глаза да и зареви в голос, так что с соседских плетней потянулись растерянные лица. Хозяйка что-то буркнула им, те усунулись назад, горестно закачали головами. – У мне сад, – загнула она один палец, ласково поясняя Поле свой отказ от её добра. – У мне огород, – загнула второй. – У мне коров...

– У тебя и шесть работников за столом из миски ложкой...

– Ничаво... Мала растёт, мала скоро помогай мне... Приди у мне гост после война ти с твой хозяин, с твой все шви-лико... У мне хозяин приди от Гитлер. Гуляит будэм у мне...

– Живы будем, на замиренье в обязательности придём, бицола. В обязательности! – пообещала Поля, макая концом косынки слёзы у себя.

Всем двором провожала бицола неожиданных горьких гостей до поворота.

Тусклый лунный свет лился по пустынной улочке. Изредка накатывались встречно запоздалые арбы с кукурузой, с дровами, с чаем; ещё реже колёсный скрип покрывали устало-сердитые голоса аробщиков – в нетерпении покрикивали на засыпавших на ходу волов. Угарно подтораплавали:

Ծախյաճո՞ւ! Ծախյ

–
Молодому месяцу дома не сиделось. Не заметили ходоки, как умытый уже молодой с острыми рожками, этот хохолок сенца посреди польца, упал за гору. Враз придавила такая потемень, что пропала из виду тропа, и Поля пошла наудачу, зыбко припоминая до точности всякую на той тропке щербинку, всякий камушек.

Время от времени она останавливалась, удерживала дыхание. Не поворачивая голову под смертельно-тяжкой ношей, вслушивалась в шлепоток частых детских шажков за собой, рассвобождённо вздыхала. За роздыхом вмельк давала заполошным шажкам ближе подбежать и, едва они подбирались вплоть, неслась дальше.

Во сто крат мальчику было сейчас круче против утра, но он мужался. День беспрестанных плутаний, натертые ноги, яблоки, вздувшие рубаху до самого подбородка... Он всё боялся, что рубаха вот-вот выпрыгнет из штанов и согревшиеся от его живота яблоки чёрт знает с какой удалью прыснут поверх пояса и убегут, раскатятся по ночи. Где тогда их ис-

Ծո՞ւ! Ծախյաճո՞ւցո՞ւ!

– (Аачкаро! Аачкарзет!) – Живей! Быстрей!

(Аач-

кать? Он всё уже стягивал матерчатый ремень, пошатываясь под тяжестью яблоч.

– Ма-а... отдохнём... – без аппетита канючил Глебка. Знал, никакого привала мама не сделает с таким чувалищем. Ну, опусти его на землю, чуть расслабься, уленись – уже не поднять ей самой эту скалу, и в горах среди ночи никакая душа тебе не пособник.

– Опять за рыбу гроши... Начинается стара писня! – нарочито сердито отзывается Поля, хотя преотлично понимает парня. Эта передышка ей и самой надобна. Помолчав, продолжает тоном ниже: – Не ты один устал... Я все ноженьки по щиколотку стоптала и мовчу. Сынок, ещё трошечки подожди.

Мальчик знает, до мельницы привала не выпросить. Там, на мосту, не ссаживая с плеч мешка, мама привычно обопрётся на деревянные перила, сбросит пот с лица, подправит волосы, косынку... А ну пройдёт и не заметит мост? Потому уже за целую версту до воды уточняет:

– До мостика подождать?

– А хотько и тако...

Поля пристыла на берегу, не ступает на мост. У мальчика ёкнуло сердце. Глядь из-за неё – моста нету!

А окаянцы умывали б этот молодой месяц! Недельные ливни на молодик, про которые говорят, что это молодик умывается, до того выбанили чистёху, что вот шалая вода содрала мост. Новый урядить не успели, кинули бревно с бе-

рега на берег. Перелетай как знаешь!

«Оохоюшки... – сгорилась Поля. – Нарвалась девка с ковшом на брагу, на эту передрагу... Хоть матушку репку запевай. Кабы знатьё, шо тут така петрушка, обмахнула б кружной утрешней дорóгой...»

Поля приклонилась, бережно опускает мешок на землю. Огорок важно, грузно съехал с плеча. Поля не удержалась на дрожащих ногах, ткнулась лицом в верх мешка и упала на колени перед ним. Так и простояла, пока не отдышалась.

– Ну шо, Глебушка, будем делать?

– Переходить, наверно...

Сказал это мальчик буднично, с таким спокойствием в голосе, что мама не поверила, что ему всё то пустяк, одновременно и поверила его твёрдости, с какой он говорил. Глеб вжал чуни под мышками, ощупал бревно одной голой ступнёй, поставил ту ступню поперёк бревна, поставил так же поперёк другую и пошёл боком, не отрывая босых ног от горбившегося над одурелой водой кругляка и держа руки в сцепке у низа живота. Пуще всего он опасался, что именно здесь, над стонущей бездной, яблоки могут удрать от него. Тут уж не подберёшь. Поддерживая снизу яблоки, он очень боялся выпустить из-под ремня край рубашки, как джина из бутылки.

Но всё обошлось.

Высыпав яблоки на росистую траву, мальчик деловито вернулся к матери.

– Уй ты-ы! Пока ты патишествовал на той берег, я вся со страху сопрела... Я думала, ты у меня, хлопче, так... Ни в избе ни во дворе. А ты молоде-ець!

– Как солёный огурец.

– Дальше, Глеба, шо делать? Считать звёзды до утра?

– А зачем? Из мешка рассыпьте всё по маленьким кучкам, я перенесу.

– Вот головонька светлая! Как же это ты, девка, не дотумкала сама? А? – укорно спросила себя Поля.

Торопливо-услужливо развязала она комок с вещами и в шевиотовый костюмный отрез, лежал сверху, суматошно отсыпала яблок. Яблоками набила и хорошие мужнины чёботы. Глебка поволок узелок на ту сторону.

Тем временем мама снаряжала богатство из мешка и в шаль, и в косынку с головы, и даже в отцовы рабочие брюки, которые, вышло, оказались под случай самые вместительные, ловкие. Перехватила низ у штанин драценой, напустила пшеницы. Глеб ликующе воткнул голову, как в ярмо, меж торчком стоявшими брючинами и вприбежку к кладке. Зерно только покряхтывает, охлопывает сноровистые молоденькие коленочки.

И покуда сын перетаскивал яблоки, пшеницу, Поля о них только и думала. Но когда всё переехало на *свой* берег, её вдруг окатило холодом. Хочешь не хочешь, а и самой надо переходить!

В первое мгновение подумалось варяжисто:

«А чего? Переползу, Анютка бессерёжная. Никуда не денусь. Напусти Бог смелости, а то и горшки полетят!»

Вызывающе шагнула к кладке – вся смелость её сварилась. Её обомлелый взор столкнуло вниз, в ревущую, в неутешную пропасть и, не помня себя, она порачилась назад.

– Сынок, я боюсь... Вода из-под кладки бурунами... Голова кружится... Этой крутаницы я боюсь...

– Такие большие и боитесь. Пойдёмте. Я переведу.

Глебка взял её за руку. Свободной рукой она изо всех сил вцепилась ему выше локтя.

– Вы только вниз не смотрите.

– Ну, сынок, – чуть не плача сказала Поля, – давай крепко друг дружки держаться. Если понесёт вода, так пускай несёт обоих. Если погибать, так разома.

– Чего погибать? Ну чего погибать? Всё нашенское уже на нашенском на бережку и – погибать!

– И-и, сынок... Всяк жмётся к лучшему, а завсегда треба буты вготове к хужему.

Не отлепляя босых ног от бревна, они ощупкой, боком посунулись в кромешной мгле к *своему* берегу. Со страху Поля плотно зажмурилась. Дрожь мелко потряхивала её и чем дальше, всё сильнее. Надо перехватиться! Обеими руками мёртво вкогtilась в Глебово плечо; её дрожь теперь уже и его подёргивала.

«Да не дрожите! Не тряситесь Вы так! Не то свалите меня! Загremите и сами!» – мысленно выговаривал Глеб, боясь

спугнуть её внимание.

Кладка кончалась.

Баловной вертушок кольнул мальчика в ребро. Сделалось забавно, как это он, малец с палец, перетащил через речку по одной лесине не кого-нибудь из детсадовских пузыриков, а саму маму. Воды боится! А ну скажи в саду кому, ухочутся головастики!

Тонкие губы сложились в зарождающуюся усмешку. Тут он почувствовал, что его заваливает. Невероятным усилием, сообщенным чутьём, рванулся во весь дух вперёд, и они благополучно слетели на обрывистый берег.

Пенистая грязная вода, судорожно обегавшая утёс-камень, хищнегато доплёскивалась до них, холодно, зло мыла им ноги. По обрыву щетинились мелкие цепкие деревца. Поля клейко ухватилась за кустову чуприну одной рукой, другой помогла Глебу встать и, поталкивая его перед собой, держась за кустарики, покарабкалась кверху.

– А не будет того... Плыла, плыла девка та на берегу и утопла? Теперь ты, девка, до-ома. А на своём пепелище и курица бьёт!.. Знать, Глеба, е Бог. Не турнул девку с кладки прямёхонько в речку. Сжалился. И на том спасибонько.

А кому спасибо? Богу или сыну? Она подумала и с такими словами вернулась к своей мысли:

– А спасибоньки сыночку! Бог сжалился, а сынок, мужичок с сапожок, помог. Кабы сынок не сдёрнул с пропасти, несло б водой уже где... Спасибоньки, сыночку...

Меж ёлок сиротливо глянул, просквозил горький огонёшек своего домка.

Где-то далеко в селении, откуда они брели, ударили мятежные петушиные голоса, и совсем рядом, впереди, подпел в ответ единственный в районе петух одинокого бригадира.

Хвалу дню пели в ночи петухи.

*Дуют ветры,
Ветры буйные;
Ходят тучи,
Тучи темные.
Не видать в них
Света белова;
Не видать в них
Солнца краснова.*

Будто магнитом подогнало Полю к своему к окну, вжало в низ стекла. До двери шаг. Войди и узнаёшь, чего это дедства среди ночи при огнях. Ан нет. Подожгла нетерпячка, невмочь сделать этот последний шаг, пристыла с мешком на плечах у окна.

Митя загнанно кружил по комнате, убаюкивал плачущую сестру. Чем усмирить её? Мальчик сел на лавку у стола, пододвинул ближе каганец. Девочку заинтересовало сопящее, качливое пламешко, и она, притихая, засмотрелась на него.

– Ой, Ма-арушка! А правдушки, красивый у нас коптушок? – сквозь близкий сон допытывался у неё Митя. – А правдушки? Тебе под интерес знать, как его слáдили? Слушай... В пузырьрёк из-под твоих лекарствов мамка налила керосину и опустила туда палочку из ваты. А чтоб палочка не

уплыла вся в керосин, на неё надели картохину пластинку. Белый воротничок из картошки! Оя, какой красивый у огончика воротничок!

Девочка сморщилась и снова улилась.

Митя яростно трясёт её, нагоняя на неё сон, рассеянно тянет пробаутку:

Солнушко, солнушко,
Выглянь в окошечко,
Твои дети плачут,
Серу колупают,
Нам не дают,
Черному медведю по ложке,
Нам ни крошки...

Но все его старания напрасны. Девочка слезой слезу погоняет и, похоже, это до бесконечности.

– Музлейка!.. Для тебя для одной поясняю... Плаксиха! Вот ты кто!.. Ну, чего ты?.. Не битая, а плачешь! Сколь в тебе ведров слёзок? Думаешь, я не могу заревти? Только станешь ты меня нянькать? Станешь? Вот придёт мамка, всё расскажу! Всё!.. Ну... Прикуси язычок, плакуша. Умолкни. Хочешь, я перед тобой на коленки?..

Мальчик кладёт её на пол, спускается перед нею на колени.

Девочка закричала навзрём.

«Похоже, серьёзно дочка подболела, – подумала Поля и

пошла в барак. – Совсем рухнула здоровьем. Плаче и плаче... Шо его делать? Не знаю, и в какую бутылку... лишь бы повернуться... Эхэ-хэ-э... Хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь...»

В первые после больницы дни девочка ела охотно. Бледные щёчки подвеселила розовость, заиграла живинка в ясных сколках глаз, но скоро снова снесло её в вечные капризы, в слёзы.

– Вот тебе, сынок, за труды. – Поля дала Мите чурек с любовью. – Антон не утерпел, заснул... Лягайте и вы с Глебом... Спице... А я...

С плачущей дочкой она вышла во двор.

Укачивала, выговаривала бессонницу-полуночицу:

– Пойду я с Машей под восток, под восточну сторону. Под восточной стороной ходит матушка утрення заря Мария, вечерня заря Маремьяна, сыра земля Полина и сине море Елена. Я к ним приду поближе, поклонюсь им пониже: «Вояси ты, матушка заря утрення Мария и вечерня Маремьяна, приди к ней, к моей Машеньке, возьми ты у неё полунощника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ретивого сердца, изо всей плоти, из ясных очей, из черных бровей, изо всего человеческого сустава, из каждой жилочки, из каждой косточки, из семидесяти семи жилочек, из семидесяти семи суставчиков; понеси их за горы высоки, за леса дремучи, за моря широки, за реки глубоки, за болоты зыбучи, за грязи

топучи к щуке-белуге в зубы, понеси её в сине море». Щука в море, язык в роте, замок в небе, а ключ в море; заткнул и ключ в море бросил!

Дочка вслушалась в слова. Примолкла. И как только Поля стихла, заплакала в изнеможении, хрипя с простонам.

Майское утро катилось из войны, из-за гор. Посерел воздух. Из тающей ночи чётко выступил белый ком цветущей яблони. Томила духота. Окно было раскрыто настежь, и невесть какой судьбой белая яблонева ветка покоилась на подоконнике. Спала.

Привыкшие к ночному плачу парни спали.

Поля и на раз не свела глаз. Склонилась у окна над дочкой, шёпотом просила её покоя у зари:

– Заря-заряница, заря, красна девица, твоё дитё плаче, пить-исть хочет, а моё дитё плаче – спать хочет. Возьми наше бессонье, отдай свой нам сон, отдай...

Девочка утишилась, а там и вовсе перестала. Мама положила её к братьям на пол, где из-за жары с Мая спали впокат.

Вскоре Маша уснула.

Барак придавила тягостная тишина.

Зоревой упругий сквозняк вытягивал из мазанок последнюю душность ночи, когда огромная, с малахай, птица чёрно ударилась с лёту в закрытое окно и, не разбив, сползла по стеклу к его низу, царапая могучими когтями. От этого скрежета проснулось всё в доме. Все видели, все застали тот

момент, когда неясная птица скользила по стеклу. Свалившись на землю, она взмыла в угаре и снова с разгона бухнула в окно, заставив всех в ужасе сбиться в кучу.

Только Маша спала спокойно. Она не видела ту птицу, не слышала свист и стон её когтей по стеклу.

Девочка умерла во сне.

Повязала Поля гробик с дочкой платком, будто живую, прижала к груди и понесла хоронить. Следом Митя нёс крышку гробика. По бокам понуро брели лишь Глебка, Антоник да Пегарёк.

Митя шёл и думал, почему же умерла Маша.

В её смерти он чувствовал и свою вину.

Всю последнюю неделю сестрёнка беспрестанно плакала и просила еды. Главнянька Митя сказал:

– Будет тебе, Машка, еда королевская! Над нами ж растёт! Только вот ещё чуток недозрелка...

Он пододвинул лавку к стене, взобрался на подоконник. С подоконника малец дотягивался до веток яблони – росла вприжим к окну. Митя рвал недозрелые яблочки. Они были ещё горькие, и мальчик нашёл управу на горечь. Сорвав несколько яблок, он летел подальше от гомонливой малюсни за угол, обыскал свою поживу. Яблочки становились не такими горькими и их можно было разжевать и проглотить. Сладостей в доме не водилось. Когда-нибудь перепадёт детишкам в праздник по тощему кулёчку дешёвых конфеток-ли-

пучек. В редкость был и сахар. Сахар повсегда был только в собственной моче. «Живой сахар». Этим тёплым «живым сахаром» Митя орошал зелёные яблочные комочки и раздавал всем своим. Ел сам, ели Пегарёк, Глебка, Антон. У Маши не было зубов. «Усахаренные» яблочки Митя разжёвывал и изо рта в рот выдавливал свою жеванину Маше.

Все ели, все живы... А что же Машенька?..

Печаль причети беззвучно лилась с закаменелых губ.

– Отлетела ты, маленька пташечка,
Ты от батюшки, от матушки,
Ты на чужу, дальнюю сторонушку,
Ты на веки-то вековечные.
Прилети ты, маленька пташечка,
Посреди-то летичка теплова,
Когда распустится наш зелёный сад
И расцветут всякие цветики.
Прилети ты серой пташечкой,
Сядь на яблоньку на сахарну,
Запой хорошеньким ты соловушком,
Чтобы батечка с матушкой догадались,
Во зелёный сад похватались;
Как поймали бы эту пташечку,
Эту птичку во белы руки
И сказали бы этой пташечке:
«Ты скажи нам, пташечка,
Что ты, какого роду-племени,

Какого ты поколеньица?
Ты не нашего ль рода-племени?
Ты не нашего ль поколеньица?»
Мы узнаем маленьку пташечку
По белым волосам, по белому личику,
По хорошему наряженьицу.
Унимали мы маленьку пташечку:
«Останься ты, маленька пташечка,
На родной-то на сторонушке».
Нам отвечает родима пташечка:
«Да ты скажи, кормилец тятенька,
Что не останусь я, батюшка с матушкой,
Я на вашей-то сторонушке,
Там ведь жизнь-то горазд хорошая,
Там и хлеба-то хлебородные,
Там и люди-то доброродные».
Удалая ты головушка!

Две буханки-кирпичины жёлтого кукурузного хлеба, осклизлого, непропечённого, выписал бригадир Батлома на поминки. Поля позвала соседскую детвору. Сквозь слёзы смотрела, как взахлёб ели. При этом мальчишки тайком отпускали ремни на целую дырочку. Когда-то ещё столькушко дадут хлеба? Надо наесться под перёд.⁷²

Беда не живёт одна.

Беда *здесь* теперь срослась у Поли с бедой *там*. Ей посто-

⁷² Под перёд – про запас.

янно млилось, что ниточка смерти дочки вытянет и весь ком беды *оттуда*.

В посёлке никого так не боялись, как почтальона.

То дважды на неделе бегала в центр совхоза на почту Ани-са. Но разносить повестки-похоронки, эти вечные смертные крики, было ей не вмоготу, и она столкнула эту беду новенькому почтарику.

Отощальный, побегливый Федюха Лещёв – месяц назад отпустила домой война без руки по самое плечишко – весь измаялся скакать по мазанкам. От него закрывались на засовы, прятались при встрече, ныряя куда вбок. И нарешил Фёдор вручать почту прямо на окопах. Там от каждой семьи кто да и катался всегда на лопате.

Он знал, где чья делянка, и, не желая смущать лишних, кружной петлёй выстёгивался в сумерках в нужном месте. Шёл ужимаясь, стараясь быть незамеченным. Однако его видели, не комар, и на всякий случай приседали в окопах. Вот вроде отстукивает мимо. А ну пади ему в глаза, не поднесёт ли здравицу⁷³ *оттуда*?

Уже в третий вечер Фёдор приворачивает к Поле, всё не отдаст письмо. Только была – нету! Как корова языком слизала да сжевала. Где она? Сыщи впотемну!

И на этот раз едва уметила почтарика – в ров, в кусты. Фёдору гнаться не в удобность, но и не таскать же её цидулку до второго пришествия? Довод ему кажется убедительным,

⁷³ **Поднести здравицу** – поразить неожиданным известием.

он срывается вдогонку.

Затрещало, заохало всё живое под ногами.

В самую чашару залетела Поля птахой, запуталась в колючках пхали, толстой высокой стеной преградивших ей до-рогу, упала. А встать нет её, нет сил. С устали выпятила язык на плечо, никак не отпыхается.

– Шо ж ты... – загнанно окусывается, – шо ж ты, чертяка обрубленный, в ночь за молодой бабой у кусты прёшь? У мене детворни трое по лавкам. Мужик живой! Чего ты лезешь не в свою лавочку? Иля думаешь, как без хозяина, так побегу за волей?⁷⁴

– А я, Поленька, не в конкуренции твоему Никитарию... Я скачу вследки не за блудной потешкой. Я по делу...

– Хох! Не было у бабы писку, так купила шелудивое поросья? Яки ще у тебя ко мне дела по ночам?

– А угадай... Маку в мешочке насыпано, а не перетрясётся? Что будет? Молчишь?.. Думаешь про меня: маменька породила, да забыла заморозить. Дурашка, мол. А думай! А я те на засыпку ещё шлю вопросец. Маком по белой земле посеяно, далеко вожено, а куда пришло, там взошло? Что это? Что? Не слышу...

Поля отдышалась. Встала.

– Федька, – повела задумчиво, – ты навроде взрослый мужик. Тебя даже на фронт призывали. Руку даже оторвали... А шо ж ты прикидываешься огурцом? Чё крутишь пуговики?

⁷⁴ Бегать за волей – нарушать супружескую верность.

Чё этим маком глаза порошишь? Иль ты в сам деле малоумный!? Или ты перекупался со своим столбом?

Лещёв надулся, засопел. Нашла чем попрекнуть!

По утрам, собираясь умываться, однорукий Фёдор сперва намыливал на крыльце столб, об который тёр уцелевшую руку, поливал себе изо рта.

– Соображалистая... – проворчал без зла. – А умишка невдохват культурную загадку про письмо развязать. Твои маки вот чего будет! – Фёдор ткнул в её локоть письмом. – Мог ведь под дверку сунуть. А я в ручки подаю. Надёжно... А то не дай Бог утерется, а там важное что... За таковскую работку не грех пуп целовать, а она в долбёжки произвела... Эх, мадам Фуфу, голова в пуху, а кой-что в перьях...

– Фе-едь, – повинно тянет Поля, – не корми обиду на бабский глупой язычок. Ляпанула сдурику... А ну там... – не найдёт речей, ужимается от письма. Понимает, не то мельница мелет, а взять не отважится.

Фёдор впихнул ей грамотку в руку. Деваться некуда. Ни жива ни мертва приняла.

– Прости, Федя, на слове худом...

Не до Лещёва, не до окопов теперь. Воткнула лопату в куст до завтрашнего вечера и, не чуя под собой ног, ударилась домой, к Митьке. Видят все, при письме она, а не спросит никто ни словечка. Робеют липнуть с расспросами, надеются на лучшее. А какое оно лучшее то, поди разгадай, и каждый в посёлушке сторожко прислушивался к воздуху. У

беды голос трубный.

– Ну-ка, Митька, сынок, читай скорисше, шо тут нам от батька.

Мальчик поднёс письмо к каганцу, трудно, по слогам отхватывает адрес. Всё-таки каракулисто строчит отец.

«Глядит, как корова на писанные ворота!» – осуждающе думает Поля, в нетерпении теребит сына за рукав:

– Не сомневайся. От нашего батька. Рука его... Письмо – рука, а где рука, там и голова... Вышей от адреса, рядом со звёздочкой... Что там чёрными книжными буквами сказано?

– А, это... **Будь бдителен, сохраняй военную и государственную тайну. Разглашение военных секретов есть предательство и измена Родине.**

Поля как-то испуганно суровеет, встаёт с табуретки.

– А ниже нашего адреса, – Митя стоит на лавке коленками, опёрся локтями на стол и вертит конверт, – напечатано грозно ещё... Вот слушайте... **«Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!»**

– Ну за кем же ще? – недоумевает Поля. – Ничего такого больше нема на конверте?

– Неа.

– Тогда давай само письмо. Раздевай... Скидывай конверт... И-и, возишься... Тебя только за смертью посылать. А шоб тебя совсем!

Мальчик слез с лавки, набрал полную грудь воздуха, вы-

прямился и, чуть изогнувшись перед огоньком, мёртво-помпезным, высоким, срывающимся голосом, каким на пионерском сходбище рапортуют преименитому гостю о готовности линейки к торжеству, пробарабанил:

– Письмо пущено сентября десятого!

– Шо ты орёшь? Не в лесе. Уши полопаются!

Мальчик затужил. Ему вовсе не хотелось читать на обыденку. Это ж донесение *оттуда!* С фронта! Читать надо так, чтоб вся земля слыхала!

– Здравствуй... – уже тише, с кислым вызовом кукарекнул он.

– Сбавь ще куражу на полграммки.

– *Здравствуй, дорогая моя...*

– От так и читай. Смирно. Без авралу.

– Ну, ма! Только сбиваете... *Здравствуй, дорогая моя супруга Пелагия Владимировна. От супруга вашего Ник...*

– Никиты, значит, – подсказывает Поля.

– У папки, ма, почти всё без точек. С маленькой буквы всё сподряд летит!

– А тебе горе? Завидки до озноба подкусывают? И ты поняй всё заподрядки!

– *От супруга вашего Никиты Борисовича шлю...*

Скучливые приветы на полный лист остужают мальчика.

«Донесение с фронта называется. Куча приветов да поклонов всему району! Где ж войница?» – растроенно думает он и по диагонали проскакивает начало письма.

– Ты чего не всё читаешь? – дёргает его за руку Поля. – Обычно отец никого не обделял вниманием. Поля наизусть помнила начала всех его писем, знала, какой привет идёт за каким. – За приветом Анисе шёл привет бабе Вале. А ты пропустил, зажевал.

– Ну раз Вы знаете, что этой бабке-косолапке есть приветик, чего ещё и читать?

– Ну, хлопче, так не годится. Читай як положено.

– А что тут кроме приветов наложено?

– Митинг прикрывай, читай безразговорчно, – прихлопывает мама ладонью по столу.

Скрепя терпение, Митя наново читает всё с первой строчки. Гудит уныло, монотонно. Оживает, когда наконец-то доезжает до интересного.

– А с неделю назад, – бодро зазвенел колокольцем, – со мной было такое пришествие. На всемка скаку убило подо мной Синичку. Лошаденка дробненькая, шустрая, а убило. Пуля клюнула ее в грудку, прошила сердце (это посля узнали, проверяли, экспертиза называется) и пошла ко мне. На полмизинца высолопилась уже из спины, уткнулась в седло. Тут-то и нету ей ходу. Ребята сорочат, не судьба, видать, тебе еще, Никитока, белы тапки по ноге подбирать. Подмиловил, подсластил сам жеребий, помолотишь еще фрицья. В ином разе, как затишок, без боя, возьмут весело на зубок: ну охвались, как это ты верхом на пуле прокатился?

А оборот оно такой. Хоть глупа пуля и прожгла сердце,

а Синичка по воле инерции еще какой куцый шажок и сделала. Гляди, пуля уже у меня под седлом утаилась. Вроде выходило, будто несла она меня, будто ехал я на ней верхи.

Но ты на эти глупостя не клади вниманию.

Только вот мало тижологато пришлось, когда Синичка кувыркнулась через голову. Я-то на ней. Запутался в стреленах. Не вырваться. Да и сообрази сразу что почем. Вот мы и хряснулись союзом, вместях колечко слили – петлю Нестерова. Помяло меня малешко, самый пустяк. Ну, очухался, а встать не встану, завалилась Синичка мне на ногу. Кой да как вынул ногу из плена. Дерг, дерг за уздечку, а у Синички моей глазыньки стоят. Какой-то мураш чинчнкует прямехонько по открытому главному яблоку. Синичка никак на то не отвечает. Тут я дотюпал, копец, нету больша у меня Синички.

Хотели было запихать меня в госпиталь на дурной харча да на легкое житие, да я в обиду въехал. По мне, госпиталь – это где лапоточки надо откинуть. А чего мне лапоточка раскидывать, если у меня нигде никакой стоящей ранешки? То в блиндажике, то в окопчике полежу... Окунял. Безо всякого лазарета все посвятилось. А так боль ничего такого. Одна забота, одна работа – громи, Никита, Гитлерюгу.

Поля, пишу на коленке, кривовато подчерк идет. Подложил лопату – лучише.

Поля, не жалея мое тряпье, снеси в горы на зерно.

Рушник, что вязала мне цветами, весь целай. Я им не вы-

тираюся, только ношу всю время скрозь с собой. Память какая... Гляну когда – сердчишко обмирает.

Вот было забыл. Часть нашу, Поля, крепко раздергало в боях. Осталось жиденько, человек так...

– Тут, ма, растёрто...

– То ревизор по письмах затёр.

– А... Значит... Осталось жиденько, человек так... да я, да шапка моя. На отдых, на подполнение часть нашу через два дня перекинут в Кобулеты. Совсем к Вам под бок. Так что ты с Анисей и приехать проведать можешь. Передай Анисе на словах, что Аниса ее взяла под сохранность да в полюбовники везетеха. Жирно везет милушке, ни одна горинка не привязалась...

До скорого свидания, чистая моя реченька Поля... Ты – Поля. И живет под Москвой реченька Поля. По мне, так называли речку в твою честь. Про такую речку я узнал от одного сослуживца, он как раз родом из села Гармониха на берегу той Божьей реченьки...

Пугливо слушала Поля письмо. Ей всё казалось, вот-вот Митя такое прочтёт, что рухнешь с лавки. Но боязнь та была напрасная. Ожидание беды не сбылось. Сегодня беды уже не жди. Фёдка лишь завтра побежит на почту. И завтра вряд ли что будет нам. А там никаких страхов не выглядай. Мужик на курорте! Что страшного сварится на курорте? Переест пшёнки с салом или перекалится на сиротском солнце-

пёке?

Счастье с её лица обрызгало парней, стояли колечком во круг, и в комнате посветлело.

Первые минуты, пока читалось письмо, Аниса толклась у порожка. Потом как-то само собой так связалось, что она и не заметила, как подшмыгнула, прикипела к незанавешенной оконной полоске. Вполглаза следила за Полей. Коль не воеет, всё покудочки путно. А разулыбалась – в письме верный глянец!

– Ну что там твой? – не стерпела, вломила Аниса. – Как дела?

– Два бела, трети, как снег! Лабунится приехать!

– Навовсе?

– Не-е. Поближще. Иха часть в Кобулеты уже, поди, услали.

– А про моего молчит?

– С чего бы молчать? Живой твой. Весь целой.

– А знаешь, подружака, – раздумалась Аниса, – давай на выходной отпросимся и укатимся к своим хвастунам-певчукам на свиданку.

– Оно-то так, да из хаты как? Кто тебе даст той выходной?!

– Невжель за полный год не дадут один выходной? Слезой отыметим!

– Може, и отыметим. Да тогда на кого сю артель спокинешь? – Поля показала на сыновей, игравших в углу с козлятами. С четверенек Антоня угарно бодал оробелого Борьку,

поджигал к ответному удару.

– Нашла об чём горевать! – осуждающе возразила Ани-са. – Не ты ль пела, где нельзя перескочить, там можно пролезть? Перезвоним так. Съездим порозне... Я выплачу себе второй выходной, а ты поняй в этот. Невже я не уголяю за твоими козлятками-ребятками? Спокойно собирайся. Удалось кулику на веку! Случай такой не пускай... Вот к разу... Я к тебе с заданьишком от площадки. Вручишь командиру наши варезки... Эти варезки под моим глазом вязали девчатишки.

– Варезки я отдам... В горах заходит зима. Ко времени... А шо взять в гостинец своему да твоему? Хлеб не повезёшь же?

– А зеленуху? Сегодня что у нас было с утреча? Пято-ок!⁷⁵ Настраивайся к ночи с субботы на выходной... Подхватишь с собой одного своего парубка. А завтра Митьку ушли в Мелекедуры. Наране подыми, на коровьем реву. Пускай покорячится на чаю у какого грузиняки куркуля да приплавит корзинищу груш, орехов, яблок, царского виноградику. Пустые руки да базарные глаза кому радостны? Как лупать ото? Да там со страма сгоришь. Не так я кажу?

На первом свету Поля нерешительно положила руку Митрофану на плечо, а сама попрекает себя:

«Ну, чего ты липнешь к малому? Не зверёк же, не чужак

⁷⁵ **Пяток** – пятница.

який. Твое дитё, под серцем ношено... Нехай соспить ще минутушку какую...»

Будить она не отваживается, на пальчиках утягивается в угол. Через некоторое время возвратилась, постояла-постояла с протянутой к сыну рукой и снова отдёрнула, будто ужалила её змея. Бродит как во сне по комнате из угла в угол, крутится веретеном и не знает, к чему прибиться.

«Подымать жалко... А не разбудю, заспит всё малый. По-едешь ты, девка, с таким в те Кобулеты!»

Эта мысль насмелила её, подтолкнула к койке. Парень лежал на боку. Она опало колыхнула плечико, поднималось в сумерках над одеялом маленьким утёсишком.

– Митька... сынок... вставай... Пришёл генерал Вставай... Скоро зовсим розвидниться!

Парень приподнялся на локоть.

Смотрит оловянно, пропаше.

– Ну шо? Нияк не опомнишься? Дома. Не в гостях...

– Да вижу...

– Не забыв, про шо учора говорили, як тётка Аниса пошла?

– А и скажи, забыл, так всё одно напомниме... Не забыл. Иду. Школе отгул за прогул. Бегу в Мелекедуры на заработки!

Митя встал, заскакал глазёнками на все стороны. Где одежда? Нескладёха он препорядочный всё-таки. С вечера Бог весть куда позашвыривал, теперь бульдозериком воро-

чает всё вверх тормашками.

Штанцы добыл под койкой. Борька на них спал, свернулся в калачик. Рубашку выдернул из-под своей подушки. Чуни!.. Вот где чуни?

– Чу-уньки... золотуньки... – жалобно позвал Митя. – Ау-у-у-у...

Чуни не отзывались.

«Или куда умотали? Нигде проклятых нетутка!»

Он упарился искать. Сунулся за дверь хватить свежего воздуха – одна на крыльце торчит! Закоченелая, злая. Будто ночь с каким валенком гуляла, вся продрогла, прибежала, а её и не впустили. Так всю ночку и отдрожала под дверью.

Митя с размаху воткнул в неё ногу.

– Чунька! Где твоя подрунька?

Тупо, сердито чунька пялилась на двор. Митя глянул, куда она смотрела, и ахнул. Вторая чуня непристойно валялась на земле. Как пьяная. Лежит перевёрнутой лодчонкой вверх гладким голым пузичком и никакого тебе стыда, никакой тебе совести!

– Чумазики! Распустёшки! Вы почему дома не ночевали? Хорошие девочки все спят до-о-о-ома!

Мите показалось, обиженно, горько зароптали гулёны.

«А как нам быть хорошими, если ты выкинул нас вчера на крыльцо? – пожаловалась правая чуня. – И так сильно, что левая упала аж на землю! Отбила все бока! За ночь её переехали три раза машины, четыре раза арбы! Всё-о боли-ит!..»

«Оха-оха...» – простонала левая чуня, подтвердила, что у неё действительно все болят ниточки.

– Извиняюсь, госпожа Левка. Некогда мне вас по больницам катать. У меня ещё неизвестно где кепка болтается!

Закипают ералашные поиски кепки. Заламываются матрасы на обеих койках, перетряхивается всё в сундуке.

– От так картузик, – шепчет мама. – Загнал в пот. Дела!.. Хучь вседержавный розыск подавай.

Расстроенный Митя столбиком торчит посреди комнаты. Немо пялится вокруг. Где ж ещё искать? Может, плохо проверил под матрасом? Он снова заламывает матрас у изножья так, что спавшие на нём Глеб и Антон почти становятся на головы. Сонным не устоять век на голове. Меньшаки просыпаются.

– Ма! – Глебка угорело впрыгнул в штаны. – И я пойду!

– Пойдёшь. Пойдёшь в свой сад. Какой из тебя, хлопче, горячий работун?

Но Глебке очень хотелось, чтоб что-то и от его рук пошло к отцу.

– Не пустите по-хорошему, обманкой убегу, – предупредил он и на всякий случай вышел.

Митя передвигает сундук. Стал краснее рака. Может, тоскливо думает он, мышцы затащили кепку под сундук на званный ужин? С горячей надеждой заглядывает под сундук. В разочаровании подымается с колен.

Антон убрал фанерную заслонку, и свежий, бодрый Борь-

ка выскочил из-под койки на простор, озоровато просыпал по полу весёлый перестук копытец. Мальчик ликующе наблюдает, как разрядный со вчера Борька перелетает с табуретки на стол, со стола на подоконник и вот уже важно обзирает улицу.

Перед окном солидно совершал утренний моцион бригадиров петух. Увидев Борьку, он в изумлении замер. Поднял одну ногу и забыл её опустить. Борька был весь в бантах. Антон вчера вымолил в саду у девчонок на один день. На шею повесил голубой, а рожки, которые называл стоячими косичками, ухорошил красными.

Не мигая смотрел петух и ждал, что же будет дальше с этим видением в бантах. А дальше ничего не было. Борька гордо погулял туда-сюда по подоконнику, прощально покивал ему бантами и грациозно спланировал на пол.

Мальчик суматошно бухнулся перед ним на четвереньки, навязывая продолжение вчерашнего боя. И этот бой был принят. Борька взвился колом, ужал передние копытца к грудке и со всего лёту ж-жах! в глупо подставленный безрогий лобешник. Мальчик склочно взвизгнул, опрокинулся на ягодки.

А ради правды надо сказать, при ударе вскрикнули оба, у обоих сыпанули искры из глаз. Борька сразу отпрянул прочь, лишь оглянувшись, словно пожаловался:

«Ну и лобина, друже, у тебя. Твёрже кирпича! А рожки мои за ночь хоть и подросли, но не так ещё укрепи, чтоб

не слышали больку».

Тесная боль сморщила мальчиково лицо. Он молодцом удерживает близкий рёв, боязко оглаживает ушиб.

– Ну шо, подвезло, как раку в кипятке? – Улыбка мягко стелется по мамину лицу. – Ужалила пчёлка?

– Аха...

– Пчёлка жалит – медку жаль.

Мальчик недоумеваает.

Какой же у Борькиных рогов мёд?

А Митя уже валится с ног, потерял всякую надежду найти кепку. Посреди комнаты задрал люк в погребницу, в блажи растянулся по полу – не найду, так хоть отдохну! – выжато тарашится в сытую темь погребухи, где зимой живут кабаки, картошка, накиданные на гвозди в стенках венки лука. Всё под тобой, не надо в январскую заварушку выползть на улицу.

Митя смотрел-смотрел, слушал-слушал темноту, угрелся на полу и задремал.

– Ну, не отзывается картуз? – колко спросила мама. Спросила, абы разбудить лодырита.

– Как воды в рот набрал, – лениво ответил Митя. Не понравилось ему, что сон порвали.

Не отпуская рук от ушибленного лба, Антон заметил, что из-за плоской, неглубокой корзинки с наседкой как-то хитровато выглядывал злополучный козырек. Мальчику показалось, что кепка смеялась и пряталась за той корзинкой под

койкой. Он достал её, вежливо возложил Мите на голову.

– Ты где её выколупал? – Митя уныло встал, захлопнул люк. Песец! Крути не крути, а культпоход в Мелекедуры не отменяется! – Так где?

– В новом сундуке! – Антон повёл взгляд на корзинку с насадкой.

Над речкой Скурдумкой, в ложине, сбился такой тугой туман, что хоть режь ножом на громадные глыбы до неба. Сквозила прохлада.

Ради согрева Митя бежал. Вдруг он услышал:

– Аря-ря-ря! Чьи-то скирды горя. И мыши горя. Аря-ря-ря! И пускай горя!

«Что там за хулиганик? Голосок знакомый...»

Остановился. Обернулся.

Из белой кисеи выломился Глебуня. Хэх, следом причёсывает!

– А ты к-куда, бессерёжная Марютка?

– На Кудыкину гору горшки колоть! Я хочу с тобой, Митечка!

– Ну раз хотно, я-то что. Айдаюшки. Теплей будет. Только на мне не кататься, как устанешь. Кто будет орать:

ՏՏՏ, ԹԴԹՏ!

«⁷⁶ Veif!.. А ну налетай, кому работнички? Кому работнички?» Без обиды... В какой, – Митя выставил кулаки, – мозоль зажал?

– В этой.

– Угадал! – Митя в приветствии вскинул руку. В восхищении хлопнул по ней Глебка. Он был отчаянно доволен, что его взяли. Но заставить показать и другую руку, на которой тоже стекленели мозоли, не догадался. Потому и служи. – Кукарекай!

Глеб наставил ладошки скобками ко рту, сторонне потянул:

– F,f-f!.. Ve-e-eif-f!.. Ve-e-eif-f!..

Озлился Митя:

– Что ж ты так дохло пицишь? Не бздишь, не горишь... Ну кто поверит, что ты идёшь наниматься? Нету силов крикнуть – откуда им взяться в деле? Нам грозит сегодня безработье!

Глеб добросовестно набавил крику. Однако из саклей с ровными сизыми гривками дымков не схватывались бежать

ՏՏՏ, ԹԴԹՏ!

навстречу, не распахивали в поклонах перед ними ворота. К юным босым труженичкам никто не посылал даже малейшего любопытства.

– Оя! Да пускай эти гопники⁷⁷ подавятся своим виноградом! – упалённо бормочет Глеб, обводя горькими глазёнками поверх заборов и рясные яблони, и стены виноградных гроздьев, что золотились на молодом солнце. – Пойдём вон к той тетёнке. У ей мы были с мамой, когда ещё менять было чего. Мы менялись, а она не схотела. Так всего дала. Она добрая. Я помню, где она живёт.

– Тогда веди, Поводыркин!

Хозяйка непритворно обрадовалась братьям. Как нельзя кстати наскочили. С дня на день отпихивала она сбор винограда. Да и как собирать не представляла. Помочь ей в том, выкатить из беды было некому. Свои цыплята рвались в сборщики – не подпускала к ольхам, спеленатым лозами-змеями. На той неделе с лестницы сломила у низа три гронки к столу, а на большее нет духу. Выше драться трусит, не громыхнуть бы костями.

И вот сам Господь за руку подвёл ей кротких ангелов-спасителей.

⁷⁷ **Гопник** – куркуль, скупец, жмот.

– Ти ⁷⁸ ходишь на дэрэву? – ласково

спросила Митю, показывая на поднебесно высокую ольху, сплошняком увитую зрелым-перезрелым виноградом, а от того и похожую на громоздкий сизо-чёрный столб, изогнувшийся, казалось, от тяжести в поясе в каком-то изящном поклоне. Чудилось, дерево понимало всю сложность сбора, покаянно склонило перед солдаткой голову, но не настоль, что можно было бы ей дотянуться до винограда с земли.

– О! Не бойтесь, бицола. Я спец лазить. Ловчее неё!

С невозможной, с запредельной лихостью Митя потыкал пальцем в кошку на плече у старшего хозяйкиного мальчишка. За ним, убывая в росте, лесенкой подходили меньшие, друг из-за дружки вперебойку совали руки старому знакомцу Глебке.

– Здрасти, руски! Помогайчик!

Глеб дичился шумного внимания, супился, невесть зачем унёс руки за спину. Со сверстниками он сходиллся конфузно. Левую руку – для близкого друга! – у него все-таки выхватили, степенно, уважительно все тискали по очереди, коротко скидывая её.

– Это rfhubf, хороши малчик! – подхвалила хозяйка Митю. – Ти виноград... – что следовало понимать, ты пойдёшь

рвать виноград, – а ти... – она повернулась к Глебу, но он не дал сказать, что же доручалось ему, навспех вкрикнул:

– ...тоже виноград! – и от её табунка перебежал к Мите, вцепился клещишками в плечо. Мы везде только напару! Нас никто не разлепит. Даже ты, царевна виноградская!

Хозяйку тронул этот неодолимый аппетит к работе.

Она светло улыбнулась протестантику, как можно мягче возразила:

პატარა

– Нэт. Ти не виноград... Ти эст

...79

Падаэш дэрэву... Ти гуляй с мои малчик.

Глеб занозисто мотнул головой:

– Неа! Балбесничать я сюда пёрся? Под-мо-гать!

Он посмотрел на Митю.

Глаза Глебки молили:

«Митечка! Ну вбей хоть ты за меня словко!»

Митя себе на уме молчал.

– Я не возражаи, – шутливо добавила хозяйка. – Помогаи гуляи мои малчик.

Помогать гулять её жердьям? Помогать сшибать баклуши? Ну упаришься, весь упылишься от такой работёхи!

Часто, протестующе завертел Глеб головой.

Хозяйка расстроилась. Ей не хотелось обижать, бить от-

პატარა

казом, но и не могла она позволить ему лезть под небо. Какой риск! Надо придумать что-нибудь попроще. Но что?

На вздохе ветерка щемливо зашелестели кукурузные листья. Початки выщелкнуты. Зябнут под кислым осенним солнцем одни пустые пересохлые будылья.

მზითი მამუბითი

!80

С кукурузной делянки, где рос и виноград (сама делянка вжималась в спину двора), хозяйка пошла в бухару, вынесла два серпа.

– Ти и ти, – ткнула пальцем в Глеба и в своего старшего сына, к нему тоже заодно обратилась по-русски, – будет помало... помало... – Изящно, легко срезала будылку, вторую, пятую. Сложила в снопок. – Понимаем?

– Да уж как не понять? Или мы без понятия? – привяло ответил Глебка Анисиными словами, принимая серп и в зависти косясь на Митю. Не скупясь, щедро, заботисто Митя плевал на ладони, готовился лезть.

Хозяйкин же сын серп не взял, брезгливо отшвырнул в кусты.

– У всякого хитруши, – сочувствующе-насмешливо сказала она ему по-своему, по-грузински, – в голове девять ли-

მზითი მამუბითი

80

(эрти моменты) –

один момент.

сиц вертится, и одна одну хвостом не заденет? Я вижу, чем ты дышишь. Как кидался, так и подберёшь. К ольхам сам не подходи, не пускай и его, – кивнула на Глеба. – Гоги, до тебя всё доехало?

– Наверное... – ненастно пропыхтел он.

С двумя младшими погодками она пошла в угол делянки и дальше, в ложбинку, на плантацию добирать последний, уже погрубелый в осенней утренней прохолоди чай.

Митя всё страшился, что хозяйка поцарапает голову,⁸¹ передумает, ушлёт и его рубить кукурузу, и он с кошачьей прытью подрал на ольху вперегонки с самим собой. За ним шуршала листвой, гналась перевёрнутая царская корона – изящная, высокая и тонкая в виде конуса корзинка кодори. Кодори была на веревке. Другим концом верёвка держалась за Митю, тесно обжала, обняла его в поясе.

В два огляда он на всех парах взлетел в такую высь, что у Глеба закружилась голова.

– Митечка, – заныл Глеб, – убьёс-се! Как убьёс-се – домой не приходи. Mamча заругает!.. Ну, куда ты улез в самую небушку? Ну, куда-а-а?

Митя гордовато приставил ладошку ко лбу. Где там наша хозяйка?.. Уже далеко-раздалеко. Можно дёрнуть и песняка, разве оттуда услышит? И он ералашно завёл:

– З-закудала к-курочка-а,

⁸¹ Поцарапать голову – подумать, поразмыслить.

Выкудакала яичко-ко-о,
Док-кудахталась спасибо-а,
Н-нак-кудахталась в-вволюшку!..

Пение небес подогрело Гоги. С корзинкой на боку он в нетерпении топтался у ольхи, всё бросал звероватые зырки вослед матери. Наконец её вынесло из виду, закрыл бугор. Гоги судорожно пострелял к Мите.

На первом осадистом суку беглый привалишко.

– Руски! Руски! – скрадчиво заторопил к себе рукой Глеба.

Глеб набычился. Чего скакать за этим неслухом? Конечно, рвать виноград кому не в охотку? Но если тебе повелели валить кукурузное чало, так вали! И он с вызовом наживился резать свои будылки.

Рядом в кукурузе деловито греблись куры. И был там занятный цыплок с четырьмя ногами и двумя гузками. Мелекедурское диво! О нём даже по газетам писали.

Глеба не мог на него насмотреться. И, позвав Гоги, указал на цыплёнка. Смотри, какая невидаль!

Но Гоги кисло, тоскливо присвистнул и уже тише, без аппетита покарабкался дальше.

Зудится Глебке подсмотреть, ну как они там на ольхе. Там-то куда интересней, занятней. С ольхи всё видать, а видеть всё вокруг ему первая радость. Он в незнакомое как место идёт, липнет душой ко всякой неизвестной мелочи. От

поворота до поворота летит бегом. Всё обстоятельно обозрел первый, теперь можно и подождать попутчиков. Дождётся и снова вскачь до нового изворота... Там, на верхотище, не надо никуда как машина бегать. Толечко толкай нос во все стороны, глазу доступна всякая даль. Вот где лафа! Да и винограду ешь по полному рту.

Мальчик скользом пустил взор на дерево. Тут же сдёрнул к серпу. А ну подумают подглядливые верхоскоки, что меня завидки скребут? Он угинается, плотно вжимается в работу. Проворно вспархивает серп, весело взблёскивает на солнце белая дужка его зубов.

Ленивый облом сухого сучка заставил вскинуться. Не беда ли? Не свалился ли кто?

Нет, никто не свалился кроме отжитого сучка. Глеб проводил его падение и невесть зачем, будто ему заломили лицо, снова поднял голову и очумело вытарашился, не в силах отодраться от увиденного.

По вымытой сини неба суматошно накатывались одно на другое громоздкие сизо-розовые облака винограда, словно настоящие маленькие красные облачка, комками набросанные как попало при закате на горизонте, суля наутро ведро и ветер. До рези в глазах он ясно видел каждую точёную ягоду, налитую тёмно-красным жидким солнцем. Ягоды ало просвечивало дневное светило. Вот Митя потянул руку; красно-розовое облако качнулось под пальцами и в пленительно-чистой тиши сентябрьского утра Глебка услышал коло-

кольно-хрустальный перезвон коралловых солнц.

– Эшто-о тэ-эк жа-адно-о г-глиди-ишь ты-ы-ы на не-бу-у-у-у-у?.. – скрипуче-ехидно пропел Митя.

Подковыристый вопросец явно адресовался Глебке. Вместе с пилюлей он проглотил и слюнку и, крепясь, отлепил глаза от тех виноградных облаков, размято слетел к своей грешной кукурузе.

«Вы сами по себе. А я сам по себе. Мотал я ваш виноград!»

Он яро навалился рубить. Сквозь ржавый шорох кукурузных листьев ясно слышал, как лопались вверху на зубах ягоды, как сыпались белёсым дождём косточки, дробно остукивали ольховые ветки. Зато не заметил, когда за спиной опустилась кодорка. Из неё выпнулась сияющая, хулиганистая братова рожица.

– Сын мой! – пасторски прохрипел Митя.

Глебка обернулся, срезанно распахнул рот.

– Сын мой, захлопни по просьбе трудящихся рот, а то карета четвернёй въедет... Твой глас дошёл до уха всемилоственного творца. В ответ на твои не видимые миру слёзы и за твоё кукурузное прилежание ниспосылает он с царского стола этот царский виноградио!

Митя сановито подал четыре богатые кисти. Благоговейно чиркнул ладошкой по ладошке.

– Кефир сделал дело. Кефир может удалиться.

Лёжа в корзинке, Митя чинно поклонился, воздел руки,

и кодорка с ним стала возноситься. Поднялась натужно на метр на какой и рухнула наземь. Кодорка похожа на вытянутую юлу с единственной острой ножкой. Попробуй не вертаться устоять. Она ляпнулась сразу на бок, выплеснула Митю.

– Эй, Гоги! – закричал он наверх. – Мы с тобой, зелёная драцена, так не договаривались! Ты эж клялся, подыму. Так подымай. Это не считается, давай понову!

Гоги сжал со лба пот в кулачок, потянул верёвку, перекинутую через толстый сук повыше того, где сидел сам, и кодорка, в которой Митя спустился с *неба*, привстала, воткнулась пикой в землю. Митя вскочил в неё.

– Жми, Виноград Виноградыч!

Обхватив ногами тело ольхи и упершись в него грудкой, Гоги засопел, застарался из последнего. Кодорка на миг оторвалась от земли, юлливо крутнулась в воздухе и снова улеглась на бочок, выронила Митю.

– Сыла нэту. Нэ можно я... – искательно задребезжал Гоги.

– Эйх!.. Сила, сила... Была сила, пока мать носила...

Картинный взлёт обрезало. Митя погрозился кулаком Гоги и без энтузиазма потащился на ольху, змеисто обвитую старой виноградной лозой. Скукой налились глаза. Подумалось, а чего б это стало на свете, слетай ангельчики с неба на крылах, а обратки ползи на то небо на пупке, как вот он сейчас?

Жарко, жадно, как молодые бычки, ворочали пареньки.

Митя и Гоги настрогали полный огорок винограда.

«А я один наносил кучару больша!» – думал Глебка, стаскивая свои аккуратные снопики, повязанные травой. За день-два подсохнут. Хозяйка потом будет брать их за золотые чубчики, будет устанавливать стоймя и чуть внаклонку вокруг ольхи. Голову скирду покроет клеёнкой, как платком, чтоб дождина не засекал в серёдку.

В январе вся зелень на воле примрёт, почасту станет хозяйка навевываться к скирду за кукурузкой своим козам. Интересно, вспомнит его добром? Да и сами козы помянут?

Какие глупости забегают в голову! Вспомнит или не вспомнит хозяйка зимой... Сейчас бы не кольнула отвратной работёхой! А Митечке этого довольно. В другой раз не возьмёт ни за какие слёзы.

Мысли эти подгоняли, настёгивали. Мальчик выклат души, расстарался, так разлетелся в усердии, что к вечеру уже не мог держать серп, неподъёмной колодой он валился из рук.

На закате Митя и Гоги спустились к Глебке. Митя огляделся, хмыкнул. Далеко вокруг кукуруза до пояса срублена. Снесена в громадную золотистую гору.

– Колупаюшка! Это ты всё один насандалил?

– Не. Вдвоём... Вдвоёмушко с серпиком! – В голосе Глебки цвела гордость. – Толечко, – показал ладошки, – немножке болят.

Красными матёрыми шатрами бугрились на ладонках кровавые мозоли.

– Эх ты, дудачок! Тупой серп руку режет пуще острого... Ну, куда ты торопился? Тебя гнал кто, что ли? Русским же языком говорили: гуляй, помогай, кому делать нечего. А ты дорвался до серпа, как Мартын до мыла!

Глеб виновато сник.

– Я думал, ты... Я хотел лучше как... А то...

– А то дед Пихто убежит в кино! – в злости подсолил Митя.

Откуда-то снизу, из ложбины, рвались нарастающие гор-танные детские крики. Митя обернулся. По тропинке, что глянцевито змеилась меж кустами, клубком катились Гоגיע-вы братья.

– А ну, воробьи, живей мигай сюда! – подторопил их Гоги.

Толкаясь, пыхтя, ребятаё услужливо ринулось к старшему своему брату.

– Аба, давай борба. – Гоги показал Глебке на самого маленького.

Глебка смутился, не найдёт речей. Он знал, какие грузины заядлые борцы, и это предложение вбило душу в пятки. В следующий миг испуг разлился в нём оскорблением.

«Неужели я вовсе дохляк, чапля в сам деле, раз он спихивает меня с малявчиком?»

Глебка мучительно думал, соглашаться ли, не соглашаться, как тут и Митя бросил свою щепотку соли в огонь:

– С каким клопушком не разделаешься? Боишься?!

Уязвлённо Глебка вышагнул вперёд.

– Не боюсь. Давай!

Мальчишки сцепились. По привычке Глебка сомкнул глаза. Он делал всегда так, когда совался в возню с крепким удальцом. Закрывая глаза, мальчик смелел, сильнел. Так по крайней мере ему казалось, действовал он уже куда напористее, наверно брал большинство. Не было ещё случая, чтоб продел схватку с закрытыми глазами.

Глебка почувал, что варяжик набежал неуклюжий, слабей мухи. Стоило взять грузинёнка за пояс, поднять, как тот в панике задёргал в воздухе ножками, безотчетно вжимаясь в Глеба. Не бросай! А то мне больно будет, я весь в твоём кулаке! Пощади! «Фи, толечко зазря сожмурился...» Глеб погоревал – никакой борьбы не жди! – и как-то небрежно, лениво и вместе с тем уважительно распял того на лопатках.

Жаркий Гоги втолкнул в кружок середняка.

Хотя этот был поплотней, Глеб и его переважил.

С гиком, как в воду, бросился Митя в кукурузную кучу и, вынырнув, размахивая широко своей кепкой, заорал что было радости:

– Да здравствует Гле-бу-лес-ку! Ур-ря-яя! Ур-ря-яя!

Из бухары выскочила всполошённая хозяйка. Ей сказали, что Глеб уборол целых двоих, оттого тут такой базар. Она тоже засмеялась. Но уже скоро в её чистом смехе, в блаженно-детском выражении лица скользнули тени обиды, смех

стал тише, водянистей, наконец, вовсе завяз.

Ничего не говоря, она решительно показала рукой в тесте на самого Гоги.

Гоги нажил уже лет восемь. Да и так, ростом, выше Глеба на пол-ладошки, разгонистей в плечах, жирный. Глебу десятого вот мая отстучало лишь семь, видом беднее. Худой, тонкий, хоть в щель пролезть. Кожа да кости, одно основанье. А не забоялась мышка копны!

«Ну, – сказал себе, – была не была! Закрывай, Глеба, глазки».

Долго пыхтели парни.

Глеб чувствовал, боровок сильнее. Впролом не сшибить, Значит, поддаться? Не-ет, так дело не пойдёт. А не позвать ли в помощники товарища Хитренкову?⁸²

Держась с Гоги за плечи, Глеб стремительно пятится. Гоги в душе ликует. «Враг» бежит, сейчас я его махом и ущучу! Уверовал до поры в победу, уже слышал сладкие возгласы ликования. Приопала в нём бдительность, размякла. Зато откатывающийся грозный львёнок – лев лишь на то и отступает, чтоб дальше прыгнуть, – слился в кулак, скомандовал себе «Ну!» и, неожиданно, вероломно поднырнув под Гоги, бросил через себя растеряшу.

Стоя на плечах, Гоги сообразил, что допустил непростимую, недозволительную оплошку. Рановато заприздновал удачу! Заполошно дёрнулся встать, но в жилистых руках до-

⁸² Товарищ Хитренкова – хитрость.

стало власти ужать его лопатками к траве.

С Гоги Глебка поднялся большим другом всем хозяйкиным ребятам. В грузинском селении нет, наверное, и не будет почитаемее человека, умеющего не только работать, но и классно бороться. У Гоги хватило мужества вскинуть Глебову руку, как вскидывает судья на ринге руку победителя.

Хозяйка потрепала Глебку по щеке.

– Маладэц! Карашо! Так нада. А тэпэр аба ужин.

За стол усаживались веки вечные и всё потому, что хозяйкины парубки не на шутку меж собой повздорили, даже любезно обменялись купоросными оплеушками вскользь... Каждому лезть было сесть рядышком именно с Глебкой.

Пресно взирал Митя на всю эту петрушенцию. Пожалуй, завидовал, что на место подле него вовсе никакой конкуренции. Больше того. Будто вовсе и нет его, хотя главный сегодня тут работун он.

Наконец в спор втёрлась хозяйка. Великодушно угнездила справа от Глеба Митю, а слева Гоги.

Глеб слышал легенды про пиры-вольницы в селениях, про вольные хлеба с сыром вприкуску. Всё так. Сам убедился, завидев на столе сладко дымящееся лобио,⁸³ горячий ещё кукурузный чурек, сыр. Глаза прямо разлетаются. Боже правый, ну зачем такие всего горы? Не на все ж Мелекедуры готовилось?

Навалились на еду со злым аппетитом. Молча охминали

⁸³ **Лобио** – кушанье из фасоли с гранатом.

на обе щёки, только хрустело за ушами.

Глеб ел, ел, ел и всё боялся, что не нахватается. Но вот уже благополучно заморил коня, вот уже что-то неохота, а перед глазами всего ещё невпроед. Он смятенно думает, не может того быть, что некуда больше пихать. Степенно поводит шейей из стороны в сторону, поталкивает кусок за куском. Похоже, набил в оба конца и зоб на сторону. Ам-бец. С верхом полна тележка! Кусок застрял где-то близко, поди, упрело выглядывает из горла.

Безысходная тоска сдавила его. Что же такое придумать да в запасец воткнуть ещё? Не поворачивает голову, озабоченно наклоняется чуток к Мите. Вшёпот:

– А ремень расстегнуть можно?

Теперь настал черёд задуматься Мите. Он как-то не сразу поймал, к чему этот пикантный вопросишко. «Видал, как работать, так каракушка⁸⁴, а как есть – мужичок!» – рассудил он и кинул своё согласие:

– Расстегай.

Тут опять невезёха. За столом сидели вприжим, тесно. Рук не опустить, не добраться до собственного пупка. Тогда Глеб молчком встал во весь рост, как ни в чём не бывало, сосредоточенно пыхтя, отпустил ремень на две дырочки.

Расшибец!

Все загрохотали. Глеб словно ничего не слышал, так же серьёзно воссел, как и встал, снова пошёл обстоятельно тас-

⁸⁴ **Каракушка** – ползающий ребёнок.

кать куски, не смея со стыда поднять голову.

Вместе со всеми смеялась и хозяйка. Однако смех её вдруг обломило. Она враз покаянно притихла, точно её не было в бухаре. Глебу даже подумалось, что её и взаправду нет, и в проверку своей мысли стрельнул на угол стола, на её место. Их взгляды столкнулись. Мальчик увидел, что глаза её тонули в слезах. Он выпрямился, беспокожно заозирался, ища причину этих слёз.

– Всё rfhub... всё карашо... Кушаэт, дэти, кушаэт... – Хозяйка заплакала навзрыд, уронила лицо в ладони и выбежала из бухары.

Мальчики остановились в еде, но никто не насмелился пойти из-за стола. Они смуро переглядывались и не знали, что делать.

– Почему заплакала мама? – спросил глухим голосом у Гоги Митя. – Чего случилось?

Гоги вздохнул и тихонько, на цыпочках побрёл во двор. За ним гуськом утянулись и остальные.

За дальним княжистым кряжем багрово докипал закат. Бицола стояла на коленях перед виноградной грядой на брезенте, выбирала самые крупные гроздья и бережно укладывала в ребячью кошёлку поверх таких же отборных ядрёных яблок, груш, орехов, которые только что туда насыпала.

– Бицола, ну куда вы кладёте с горой? – сказал Митя. – Всё равно ж потеряем или подавим...

– Потеряи не нада... Дави не нада...

– Ой! Да не слушайте Вы его, тётенька бицола! – встрял Глебка. – Не подавим. Донесём! Я этот виноградик ещё папке повезу!

– Ка-ак? Ти эдэш фронту?

– Аха. А чего удивляться? Папка сейчас в Кобулетах. Мамка поедет на вот будет выходной. И меня возьмёт. Сама говорела. Сама! Понимаете?

– Счастливи ти, Глэба. А у Гоги, – слёзы снова блеснули у неё на глазах, – папа болша нэту...

ԶԹԵՐԿԻ

...⁸⁵ Погибла...

Молчаливые слёзы яростными потоками лились у неё по щекам. Никому ничего не говоря, она ушла в сарай и вернулась с новёхонькой, с ладной бамбуковой корзиночкой. Наложила с верхом дивнопрекрасных сизо-чёрных кистей.

– Ти, – подала корзиночку Глебу, – сама нэси папа... фронт... От я...

– Хорошо, тётенька бицола. Спасибо. Я так и скажу. А это, пап, скажу, виноград от тёти бицолы...

ԶԹԵՐԿԻ

*Обойми, поцелуй,
Приголубь, приласкай,
Еще раз поскорей
Поцелуй горячей.
Что печально глядишь?*

*Что на сердце таишь?
Не тоскуй, не горюй,
Из очей слез не лей;
Мне не надобно их,
Мне не нужно тоски...
Не на смерть я иду,
Не хоронишь меня.*

Поезд на Кобулеты был всего-то раз в сутки, в пять утра. Чтобы успеть к той невозможной рани на вокзал в Махарадзе, куда восемь вёрст, Поля вовсе не ложилась. Пока толклась со сборами, ночь перевалилась на другой бок. К чему теперь разбирать постель, когда уже бежать надо аж кричит?

И весь долгий чёрный путь в ночи до поезда, потом уже в самих Кобулетах от поезда до части Глебка трусил боком. Мама шла безотчётно быстро, торопливо. За руку держала его, боялась потерять. Чувствуя тепло маленькой жизни, она ступала смелей. В другой руке у мальчика неприкаянно бол-

талась корзинка с бицолиным виноградом. Корзинка была зло тяжела, тянула книзу. После первого же летучего привала возле ветхого плетня Тamarочки, за речкой, через которую когда-то переводил маму за руку, он уже не мог идти с нею рядом, корзинка как бы отжимала, оттирала его назад. Из последних сил тащил её за собой.

Бывало, в довоенные стригани ли он в лавчонку за хлебом, слети ли на низ к криничке по воду, кинься ли за охапкой хвороста в сарай, на обратном пути его всегда встречал отец. Выбегал навстречу, брал ношу. Мальчик и теперь привычно так ждал, что вот-вот из-за поворота разнепрременно выйдет отец и поможет, подхватит ещё и самого на руки, как делал частенько встарь. Но поворот кончался, уходил за спину, а отца всё не было. Напрягаясь, мальчик без каприза дотягивался до нового заворота, зорко высматривал отца...

В хатке, слепленной на живую нитку под жёлтым шатром груши, был контрольно-пропускной пункт. Дежурный долго выспрашивал у Поли, к кому она, с чем да зачем, а там и скажи:

– Детсадовские подарки можно оставить у меня. А на свидание с мужем надо разрешение командира. Вас к нему проведут.

– Не обижайтесь, товаришок дежурный... Мне наказали, – Поля приподняла узелок с рукодельем, – передать это командиру из рук в руки.

– Пожалуйста, если так... – Дежурный кивнул подходявшему молодому солдатику. – Веди.

Глебка остался ждать в проходной. Сел на лавку, приник к стене. Клонило в сон. «Не спи. А то проспичь, как мамка с папкой пройдут». Глаза слипались, будто мёдом намазаны. Мальчик отвернулся. Пальцами, как распорками, раздвинул веки. Спать вроде расхотелось. Он опустил руки, вязко огляделся.

Подошёл какой-то солдат и с интересом уставился на Глеба.

Глеб устало глянул на бойца. Лицо его показалось капелюшечку знакомым. Где видал? Когда? С проснувшимся интересом пялился Глеб на солдата, силился разгадать, кто же это.

Пристальный взгляд крохи подживил служивого. Он весело хохотнул:

– Долго думать вредно. Давай лучше поздоровкаемся за руку, – и протянул руку.

Глебка быстро спрятал обе руки за спину.

– Я с чужими не здоровкаюсь!

И пересел на край лавки, подальше от незнакомца. Но уже исподлобья продолжал ещё с бóльшим любопытством смотреть на солдата.

Солдат отшагнул назад. Улыбнулся.

– Раз интересней смотреть сыздаля, сколь хошь смотри и так. Глаза непокупные.

Он достал зажигалку, просяще проговорил ей негромко:
– Царь-огонь, достанься. Не табак курить – кашу варить.
И чиркнул.

Пламя выскочило из зажигалки и зашаталось.

Глебка не удержался на лавке. Подбежал:

– Как же Вы будете варить кашу, если тут у вас нету даже печки?

– Огня тоже не было! Но я добыл. Добуду и печку! Только я не могу сразу два дела делать. На, поддержи пока... Ро-овно держи... Во, во так...

Глебка никогда не видел зажигалку. Какая диковина! Как в этот железный столбик залез огонь? И как ходил с ним дядя и не сгорел?

Мальчик зачарованно смотрел на шаткий на легком ветерке огонёчек и не мог насмотреться.

Солдат деловито одёрнул на себе гимнастёрку, прокашлялся, приставил козырьком ладонь к глазам и стал строго смотреть во все стороны.

– Что-то не видать... Надо повыше встать...

Солдат встал на высокий камень и уже с камня продолжал высматривать свою ненаглядную печку.

– Так где же она!? – в нетерпении крикнул Глебка, ожидавший второго чуда от волшебника незнакомца. – Где Ваша печка?

– Где и Ваша, – ласково буркнул мужчина. – Или она бастует? Ждёт особого присоглашения? Эта печечка слег-

ка недовоспитанная... Задерживается, как все мадамы. Пока наша мадама в пути к нам, давай я расскажу тебе какую-нибудь забавку...

– Да хоть сто! – согласился Глебка, не отпуская восторженных глаз от бойца.

– Правда... Да ну ни шиша путного на дитячий ладох и не знаю. Ни одной баечки. Вот въётся на языке одна. Можно на патефон такую. Жаль, не дитячая... Постой! Ты ж не будешь вечно мальцом? Ты ж вырастешь? А?

– Угу-у...

– Кидаю кусок наперёд. Сгодится в жизни. Вспомняешь под горький момент, как усатый дуреник пел про зятя в приймах. Не ходи, хлопчина, в приимы. В приймаках худо. А ну будут тёща с дочкой себе вареники, а тебе лишь юшку? Такеички кормила одна тёща зятка, чтоб ног на сторону не занашивал. Вот тещенька благополучно подала Боженьке свою душу. Боженька добрый, безотказный, скоренько зачислил в свой штат. Он всякого примаёт... Вот похороны. Зять над гробом тужит: «Ой, тёща, ты ж моя тёща, женщина-мати! Вы ж было вареники едите, а мне юшки дадите. А я ем, ем та ще и напыюся...» А жена и подсоветуй: «Ох, не плачь так, человеце, а то мать не подынешь и сам свалишься в могилу».

С напряжённым недоумением слушал мальчик и лишь вздохнул, когда солдат – он не смеялся, отпуская шуточки, всегда был серьёзный – перестал говорить. Солдат деликат-

но поддержал компанию, тоже вздохнул.

А между тем мальчик внимательно рассматривал солдата и всё крепче убеждался, что знает его.

– А Вы, – насмелился Глеб, – ещё не в усах пели на крыльчке про дождичек...

– Было крыльчко... был дождичек... Был и ты совсем клоп. Я тебя с горшка знаю. Вот такая выплясалась комедийка. Совстрелись однобарачники где!

– Дома Вы не таскали усы. А теперь Вы зачем-то умаскировались усами?

– От холода. В горах холодно, а с усами теплей. Мне их и подпихнули под расписку.

– Неправдушка... Дома зимой тоже холодно. Тогда чего Вам дома не дали?

– Забыли, озорун... Главно, что ты не забыл дядьку Аниса... Вырос как... Молодец, стараешься!.. Через недельку, как сказала твоя мамка, и ко мне нагрянет моя Аниса... Как она там, бедная, одна и крутится?..

Анис всё косил на воду, влюбовинку наблюдал, как его напарники мыли в речке лошадей. Не утерпел, похвалился:

– Лошадушку накорми, искупай – вид даёт. Вид!

– А Вы почему свою не купаете?

– Уже отбанил...

Рядом была конюшня. Из неё послышалось придушенное короткое ржанье.

– Иду! Иду! – откликнул Анис и пояснил Глебу с дежурным: – По голосу всегда узнаю своего Верного. Может, – сказал Анис Глебу, – пойдём познакомлю тебя со своим Верным?

– Пойдём!

Но тут из-за угла вышла мама и позвала к себе Глеба рукой. И, не дожидаясь Глеба, торопливо засеменила к отцу. Он уже расчёсывал своему конику гривку своим гребешком, стоя по щиколотку в речке.

Глеб слышал, как мама окликнула отца. Видел, как они обнялись в реке, и мама выронила свои гостинцы в соломенной кошёлке. Но никто из них и не обратил на это даже внимания.

Видел мальчик и то, как стремительная ясная вода не удержала узелок на своей гладкой спине, зло горбящейся на камнях, вжала в себя и хлопотливо покатила по дну вниз, к морю.

Выронил Глебка корзинку с виноградом, со всей силы побежал к отцу с матерью.

Отец подсёк бегущего Глебку на руки, прижал к себе и – заплакал...

– Спасибо, что приехали, – благодарно зарокотал баском Никита, присаживаясь с Полей тут же на траву и поудобнее пристраивая Глебку у себя на колене. Глебка крепко обнял, венком положил руки ему на плечи...

... Уже перед расставанием Никита спросил Полю:

– А парубки наши слухняные растут?

– Разные... – уклончиво ответила Поля.

– Это как, Глеба? – спросил отец. – Ты слушаешься?

Глебка опустил голову и повинно шепнул:

– Не во все разы...

– Так-то, – сказала мама, – вроде стерпимо, а часом... готова ремешка не пожалеть...

Глебка ещё ниже угнул голову. Ему непонятно, ну зачем мама присочиняет? Да, под ералашный случай она хватается за ремень, только воли особой не забирает с ним. Взмахнуть взмахнёт жарко, зато опускает уже как тряпочку скомканную, без силы. Размах на рубль – удар на копейку! Не подымается душа бить. От её ударов не больно, а щекотно. Она только на словах дерётся. Зачем же сейчас наварила каши на постном масле?

Однако вслух Глеб не стал ей перечить.

– Гле-еб, что это такое? – шатнул Никита мальчика.

– Я, па... с сегодня... исправлюсь...

– Всеконешно, таковски оно способнее, вертушок! – вскинул отец руку с золотыми чубчиками на пальцах. – А словко своё удержишь?

Глеб торопливо покивал.

– Ты и тем казачкам, Мите да Антону, передай моими словами, чтоб крепко слушались маму.

– Я, па, передам... Мы, па, изо всехских сил стараемся

слушать. Да у нас, па, не всегда получается. А так, па, мы слушаемся...

Сыновий щебет мажет душу мёдом.

Отец тесней прижался к Глебке и с его плечика увидел корзинку с виноградом.

– Гостюшки! Дорогушки! А погляньте! Чего сам водяной нам подал! Не было ж секунд назад – теперь вон стоит!

Мама и Глеб посмотрели, куда показывал отец.

– Ну да! – гремел отец. – Подарок товарища водяного! Вынырнул! Ходить по суше не может. Он и выставь корзинку на траву у самой воды. Со спеху свалил на бочок...

Мама и Глеб оторопело уставились друг на дружку.

– Шо ж мы, Глеб, за лахудры? – кисло ворчит мама. – Я свой гостинец в речке втопила. А ты с каких далей тащил, тащил, а два шага до батьки не дотащил?

– Я как бежать к Вам в речку, – покаянно бормочет мальчик, – поставил корзиночку на берегу. А перекувыркнулась это она уже сама...

Глеб вихорьком слетел с отцова колена. Вернулся с виноградом.

– Это, па, – в радости подаёт, – Вам подарок от тётеньки бицолы.

– Ты эти провокаторские подношения брось! Нигде у меня нет/*9+-у никакой тётеньки. У меня на веки вековущие одна-единственная от Бога тётенька – наша мамушка! – Никита весело приобнял Полю.

– Никиша! А мальи́й с правдонькой к тебе, – сказала Поля. – В самушском деле, була и я у той бицолы. Там проста, як трава!.. Ну-к, Глеба, доложь про свои патишества с Митенькой за цим виноградом. В кратких словах...

Коротко не получается. Подробный запальчивый рассказ сына трогает отца. Глядит он на Глеба, видит себя таким же вот в семь лет. Отцово детство было такое же горькое. В ту пору отец отца тоже был на войне, бил того же немца. Дома одна мать с табором малышня, как Поля сейчас.

«Боже мой, – думает Никита, – да выросло на Руси хоть одно поколение без войны? – Подгребают к себе сына, жмётся к худому личику. – Бедная ты моя травинка, какие ветры тебя будят по утрам? Какие дожди умывают? Какие грозы кормят бедами? Какие бури клонят головку твою под германский топор?..»

Сжимаются тонкие губы, взбухают желваки.

В совершенном безмолвии он скорбно вышагивает к своим товарищам, что облепили в молчаливом курении высокий толстый камень на берегу, припали к сиротскому осеннему последнему теплу голыми спинами. Ставит перед ними на камень корзинку, говорит отрывисто, надсадно:

– Смалюки! Кончай травиться! Атакой налетай на витамины... Витаминици! Прислала грузинская вдова. Наказывала: сколько в корзине ягод, столько гадов и должны порешить те, кто виноград этот съест. Ни пули-ягоды на промах! Ешьте и помните о наказе.

Уверенные руки тянутся вверх, к корзинке. Отщипывают по ягодке.

Ненастный Никита возвращается с пустыми руками.

«Шо же ты себе не взял ни гронки? – укоряет его взгляд Поли. – Даже не попробовал?»

Вслух спросить она не решается. Вспомнилось, обнесли гостинцем и Семисынова.

– Глеба, шо ж мы скрутили? – жалостно роняет она. – Мы ж дядьку Аниса даже не угостили виноградом!

– Не суши голову, – подсел к ней Никита. – С Семисыновым мы разойдёмся. Как он говорит, между нами пройдёт. Мы с ним кавказцы. Винограду, этой радости, от пуза попоели в добрую время. А им, – показал за плечо на толкучку вокруг корзинки, – виноград в диковинку. Земляки... С-под Калача... С-под Богучара...

Отец нахмурился и посветлел лицом.

Видимо, что-то вспоминал.

– Сегодня снился Антон, – сказал он, ни к кому не обращаясь. – Вроде я пришёл уже с фронта. Взял его на руки, обнимаю, а он – ножками по лицу меня, ножками да с рёвом от меня... Провожать – ножками по лицу. Встречать – опять теми же ножками по тому же лицу... Наснитя же...

– Правильный сон, па, – сказал Глеб. – Антоха драчливый не только во сне. Но и так... Не во сне. Вечно с козлятами бодается. А набодается, бежит под окно. Там у нас кучара песку. Ух гоняет машину по песку! Кирпичина у него маши-

на...

– Шофёр будет.

– Для шифёра он ещё маленький... На песке мастачит девчонкам дороги, мосты...

– Серьёзный...

– Баловной! И дома, и на площадке я эту малявку в угол ставлю!

– Сам-то давно из угла выскочил? Ещё при мне ты сам сначала все эти углы в саду обживал. Во всех стоял? Ни один не пропустил?

– Ни один, – вяло подтвердил Глеб.

– Господи-и! Как ты вырос... Ка-ак ты вырос...

Никита гордовато обошёл взглядом сына с головы до пят. Ненароком глаза упали на ноги жены.

– Поля! – взбулгачился он. – Да ты вся мокрая! Калоши, чулки, низ юбки! Разуйся, сдёрни чулки. Хай просохнут. Простынешь же!

– Наскажешь! – замахала на него Поля. – Иль я сюда простывать приехала? Рассядусь сушиться? Командир и так дал на свиданку всего пятнадцать минуток. Побегу з малым назад каменюки считать, – она посмотрела на тропинку в мелкой гальке за забором, – покы докачаемся до поезда, так и обсохну, и снова взмокрею вжэ от пота.

– Ну, смотри... Чем вы кормитесь?

– И не спрашуй... Кукурузы осталось трохи. Жарим, толкём, суп варим. То и весь навар, шо пена...

...Никите разрешили проводить дорогих гостей не только за проходную, но и до первого поворота.

Темнело.

С поворота дорога чёрно падала вниз.

Простившись, Никита вскинул руку с пилоткой и тревожно-нежно, цепко смотрел уходившим вслед, словно хотел навсегда наглядеться...

*Соловьём залетным
Юность пролетела,
Волной в непогоду
Радость прошумела.
Целая природа —
В душе человека.*

Поле приснился сон.

Увидела она себя молодую, ещё в девушках. Вся свежая да ладная, бела как сметана. Любо самой поглядеть на себя из-под ручки.

Где-то она была. Вдруг отец проявился. Пришёл за ней. Идут по своему хуторку. Молчат.

Как тоскливая муха, донимало её то, что это за горячая, должно, затея, раз сам прибежал звать. Стараясь по его лицу хоть отдалённо догадаться о деле, временами скашивала на него вопросительные, тревожные глаза и не понимала, что с ним творилось.

Был он в загвазданном обтрепье, но выступал с важностью венецианского дожа, выступал как-то боком, будто интересничал, картинничал перед теми, что кипели сейчас за плетнями, под окнами и до дуру лупились на них, разливали по стеклу носы лепёшками. Какие праздники гуляли в отцовой

душе? Какие музыки играли?

Варяжистая гордыня жарко одела Володышу.

«Как же так сварилось, что только вот, баламут рогатый, доглядел, что дочка у тебя загляденье? А ты: девка, девка – драная коленка! Девка на мойке, а у нас барышня! Писаная красавица! Так чего же не покрасоваться? Так чего ж не погордиться? Любуйтесь, соседуски, на радость! Завидуйте. Мы не пообидимся...»

Щедрая доброта разломила его. Он даже не нахмурился, когда на крыльцо вышел Серёга, даже мысленно не зыкнул, не обложил бордюром, не ругнул ни единым мускулом лица. Напротив. Ещё шире улыбнулся, кинул с ребячливой подначкой:

– Почём, хозяёк, продаёшь шарёнки?

Серёга не растерялся:

– Рупь пара.

– Дешевишь, бедовар.

Владимир Арсеньич подобрался и пошёл-поплыл к своей калитке враспах, преотлично зная, что его провожают въедчивые глаза парубка, которому ещё в канун сам чёрт велел-подбивал шильнуть шилом, уколоть, дать понять, что не по носу берётся табачок нюхать.

– Нарядись, доча, в три листика,⁸⁶ – сказал дома отец, – и лети на все четыре ветра со своим Горбыльком.

– А Никита?

⁸⁶ Нарядиться в трилистика – прифасониться.

– У-у! Певчий – ходить не в чем... Кидай с сердца. Забувай... Шо за богатствия у него? Сады посохли, быки подохли... И дужэ далэко к нему у гости ездить, хоть и тройку с бубенцами подгонял... Дорога погана... Нам шо-нить поближше... Кто ж нам ближе Горбылёва? Всего-то за межой-плетнём... Ты без Горбылёва не могла вроде дышать? Тепере вот дыши на полную отмашку. Будешь жити за ним, як у Бога в кармашке!

Вывел он Полю в подвенечном платье на крыльцо.

У порожек Горбылёв уже ждёт не дождётся.

Батечка прокудливо шепнул дочке:

– Девонька не без женишка, горшок не без покрывки...

И в смиренном поклоне подал Горбылёву руку Поли (в другой у неё был Митя).

– Примить, голуба Вы наш белый Сергей Ваныч, свою судьбу. Она Вам от Бога дадена.

Вихрь подхватил дрожки и понёс.

А народу кругом как водой налито. Свистят сквозь эту гудящую тесноту дрожки, словно сквозь растравленный рой...

От тычка оглоблей в спину Сергей на всём скаку вроде лёпнулся наземь рядом с колесом, в каких пяти сантиметрах от смерти, а то снова как ни в чём не бывало сидит с нею плечо в плечо, и летят они черт те куда. Точкой в кипящей толпе блеснуло Никишино обомлелое лицо с чёрной звездой на пилотке – Поля потвердела рассудком.

«Ты ж чего, девка, дуракуешь? Лише и забот про свои ша-

шеньки? Кто ты? Куда ты? Зачем ты? Ты-то свой страм, може, подолом на чужинке и развеешь... Да як моргать-хлопать батьке-матери? Така стыдобища им жизнь выгрызэ...»

Слабая рука с раскрытыми пальцами потянулась к Сергею, заметалась от лихого бега дрожек перед его грудью. Кажалось, этим предостерегающим жестом она хотела предупредить, уберечь его, не дать перейти черту, за которой спела беда.

– С-сто-ой!..

Сергей с силой взял вожжи на себя, едва не опрокинулся. Вошедший во вкус дикого лёта жеребец заржал от недовольства, изломил шею в дугу, точно норовил увидеть, кто ж это там аноху строит. Сделал ещё прыжка три, размазанных, затухающих, вконец вывалился из того стремительного ритма, когда ретиво перебирал, сверкал белыми носочками, как спицами, и вкопанно стал.

Белее снега Сергей уставился на Полю. Не подымая лица от сына, она заговорила отчуждённо, в пространство, словно рядом никого и не было:

– Разь ты заменишь ему батька?.. А при живом сиротить дитё великий грех... Бач, яка гибель на мне золотых верёвок... А ни тебе, ни мне никакими саблями не посекти. Рази из души петлю вырубашь?.. А связанна жизнь какая?.. Пролитое полно не живёт. Поняй, Серёжа, один в свий Калач... Один...

Прокинулась Поля не в пример раньше обычного. Ещё вялые, сонные сумерки слонялись за окном, можно какую каплю и соснуть, да какой там хозяйшиной бабе сон, раз лупнула глазами – всё, отоспала, отгуляла сонница. Лежит и не поймёт, чего спозаранок пялится в потолок.

Вспоминается сон.

Сон ей не нравится. Если б можно подправить... Она разбирает по косточкам виденное и приободряется. Смелеет. Грозен сон, но милостив Бог. Сон сбывается, да ото сна сбудется ли? Видел мужичок во сне хомут, не видать ему клячи довеку! Уж если даже во сне Горбыль выхлопотал отлуп, так наяву и подавно. И потом, через двадцать лет какие шуры-дуры? Наснитса ерунды, машиной не вывезешь!..

Взгляд зацепился на лавке за горку выглаженных ребячьих рубашек, штанов. Сама до ночи гладила. Суббота... Нет легче дня против субботы.

Сегодня первый послепобедный сентябрь. Женишкам её в школу. Всем! Даже самому меньшенькому.

Сладость разлилась в душе.

Поля подошла босиком к койке, где спали втроём Митрофан, Глеб и Антон, шатнула Антона за плечо.

– Вставай, Антонка.

Мальчик поднырнул под подушку.

– Антон, в школу проспийшь. Вставай! Вставай пришёл! Сам Вставайка пришёл!

– А он, – голос из-под подушки, – спросите, выспался?

Пускай этот Ваш Вставайкин пойдёт доспит. Я разрешаю... Вона Митечка Ваш спит. Чего к нему не пристаёте?

– Митьке в другую смену, – угодливо набежали брехливые слова. Поля застеснялась их, да что делать? Уже сказаны. Сердясь на себя за нечаянную ложь про вторую смену, которой вовсе и нет в совхозной школке, твёрдо подкрикнула: – А ты с Глебом вставай! Вставай!

Мальчик и удивлён, что так рано подыматься, и в восторге. Будят в школу! В школу же! Первый раз!

Он сверлит глазами мутное, нахохленное окно, и ликование тут же смято прокисает:

– На дворе ж ни светинки... Теперь каждый день впотемну вставай?

– Кажный.

– А каникулики скоро?

– Бы-ыстро же ты запросился на каникулы, – хохотнул Глебка. – А на пенсию ещё не хохо?

Глеб с улыбкой поталкивает Антона к краю. Хватит турысы на колёсах разводить. Вставай! А то и столкну, дорого не возьму.

Этого, конечно, он не сделает. Он очень любит младшего брата. Глебке радостно с ним возиться, болтать.

– А что, – серьёзно раздумался Антон, – наперва устроили б каникулы. А потом спокойно и учись, и учись, и учись до сконца света!

– Ну, с тобой оборзеешь, – вздохнул Глебка. – Да канику-

лы ещё заработать надо! Хоть двушек с десяток, тыря-пыря, отгребь!

Антоня в недоумении. Глеб смотрит на него с усмешкой.

– Ты щэ наскажешь! – Поля машет на Глеба, как на лукавца. – Шо это ты двойками дорогу ему выстилаешь? Нашёл чем шутковать...

После завтрака Поля достала из своей уже облезлой собачанской скрини новенькую полотняную сумку.

– Я, Антошенька, загодя сбирала... Аха... – Заглянула в сумку, укоризненно покачала головой. – Э-э, перестаралась девка. Одно яблочко уже червячок выбрал себе. Проголодался. Аха... Так оно хóроше... Червяк не дурак, в плохом не расквартируется...

– Я боюсь червяков! – пискнул Антон.

– В плохом яблоко червяк не зъявится. Этот червячок наш. Не бойся... Чего ото бояться червяков в яблоке? Не страшной ли те, что людей едят?

– А разве есть такие? – сомневается Антон.

– Успокойся, у нас всё есть, – подшпиливает Глеб.

Порченное яблоко Поля отложила на стол, зачем-то вытерла о подол и без того совершенно чистые и сухие руки, закопчённые на солнце, и подала Антону сумку. Было заметно, как руки у неё мелко подрагивали.

– Ты ж учись, сыночек...

Слезинка вылилась у неё из глаза и, пробежав по щеке, упала в сумку.

– Не с грехом напололамки, не як-нибудь... Хóроше учись. Это ж школа!.. У меня, у горемыки, было як-нибудь... Так вышло... Всего один месяц проучилась... Тот-то в получку рисую в ведомости крестики иль другой кто расписуется за меня. Без имени овца баран... Так и неграмотный... Правду старые люди говорили... Не сумеешь шить золотом – бей молотом... Кто ветром служит, тому дымом платять... Темнотою не возмёшь. Надеяться тебе не на кого. Рос без батька... И худо и бедно. Что отщипнешь от жизни выучкой, то и твое. Аха? – спросила утверждающе.

Мальчику прискучило слушать наставления. Взял сумку на плечо. Пожаловался:

– А чего сумка такая тяжелуха? Плечо прям отрезает!

– Это тебе напихали камней, кирпичей и прочего гранита знаний. С сегодня будешь грызть вместо хлеба! – соболезнующе ответил за маму Глеб.

– Фу ты, болтушка! – Поля сердито покосилась на Глеба. – Ну чего сплёл? Там же всё разнужное. Букварик. Тетрадоньки. Карандашики на разный цвет. Яблоки...

– Ма! А можно я ещё яблочков возьму?

– Да вон в углу кошёлка! Бери, какие на тебя глядят.

Мальчик растерянно воззрился на алощёкие яблоки. Разбежались глазыньки. И то бы взял, и то, и то, и то... И то б не оставил...

Поля видит его замешательство, улыбается:

– Не выберешь, какое лучшее?

– Да они все на меня таращатся, – конфузливо шепчет мальчик.

– Если б на тебя ещё все пятерки так смотрели, как яблоки! – съехидничал Глеб и щёлкнул братца пальцем по макушке, выходя из комнаты.

– Отвянь, Чапля! – ворчливо отмахнулся Антон.

Мама наклонилась к столу, зачем-то полезла в его недра, гремя сковородкой.

Другого такого момента не выждать. Никто не видит!

Антон торопливо переплавил из сумки под подушку букварь, тетради, карандаши. И стал основательно рыться в корзинке с яблоками, выдёргивая и перекладывая к себе в сумку наикрупные, с краскобрызгом.

Вернулся с крыльца Глеб:

– Малёха! Ты ещё долго будешь ковыряться в корзинке? А то Юрка Клыков, Вовка Слепков – все первоклашки уже побежали наперегонки за первыми двойками. Смотри, все расхватают, тебе не достанется!

– Ты опять за своё? Опять за кильку гроши? – осаживает мама Глеба. – Нашёл игрушку лобом орехи щёлкать! Охолонь. Шо это ты взялся насмешничать? Брось... Лучше вот Вам на дорожку, – подала каждому по пирожку. – Идите с Богом, хлопцы Вы мои. Хай лэгэсэнька будэ Ваша путь...

Пирожки тут же, ещё в комнате, братья съели.

По старой детсадовской привычке Глеб молча, не глядя кинул назад Антону руку, тот её привычно поймал, и вот так,

держась за руки, они пошли, тихие, чуточку в торжестве ликующие.

Поля постеснялась хоть немножко проводить своих парубков и сразу пожалела, едва дверь за ними со вздохом прикрылась. Вылетать воследки не рука, припала к окну. Каких шагов пять за Сапетино крыльцо видела. А дальше как ты ни выворачивай глаза, как ни дави в блин нос по стеклу, ни грамочки не видать кавалерушков. Стаяли... Пропали, слились из виду. Как будто из жизни ушли!

Она вдруг растерялась, вдруг ощутила какую-то пустоту в себе. Боже правый!.. Созрело, Польшка, десятое твоё зёрнышко – она рожала десять раз, – выпало, ушло в люди. Ушло и унесло частицу её всей понемногу: и сердца, и нервов, и боли, и горя, и редкой куцей радости. Слёз её волна отлилась с новой жизнью, выросла вот эта жизнь, оторвалась, выкатилась из неё, оставив в ней холодящую пустоту.

Какой-то испуганной полоумкой выскочила она из комнаты, хлоп шалыми глазами вдогонку сынам. Они уже проминули всех соседей по дому: Грачика, Простаковых, деда Яшку Борисовского, Карапетянов. Подымались в горку по красному бугру. Внутренне они почувствовали её, обернулись с улыбками. Неясный страх отпустил, ушёл из неё, однако она застыла с протянутыми руками к сыновьям, со светлой тревогой на лице.

Вышла на крыльцо Аниса, всполошилась, увидевши Полю с простёртыми руками вослед парням, которые ушагивали

по бугру уже мимо бетонного бассейна с дождевой водой на пожарный случай.

– Полька! Да на тебе лица нету! Что с тобой?

Сквозь смиренные слёзы Поля посветила улыбкой, будто беду с плеч столкнула.

– Антошик... осеньчук⁸⁷ мой... в школу... пошёл... А!.. Пошёл!..

Повела взглядом к сынам – покачивались в ходьбе, были видимы за бугром лишь верхами.

– Когда-то жил в тебе, тукал ножками под сердцем... А тут те глянь – уже и в школу! Не заметила за слезьми, как вырос хлопец, – сказала Аниса и себе за компанию пустила росу. Без плача у бабы дело не вяжется.

– Кажись, и не плачу, а слеза бежит... – пожаловалась Поля.

Она видела себя такой же маленькой, как Антоня, видела, как первый раз сама шла в школу... То видела себя под венцом, то при первых родах... То видела, как сама принимала вот в этом феврале роды у старой козы Райки. Видела, как коза ела свой послед-рубашку... То видела себя с багром в Заполярье, на лесозаводе... То видела себя на свидании с Никитой за Кобулетами, где стояла на пополнении после жестоких боёв его часть...

За слезами насмотрелась на себя, как в кино. Только то кино больше никто и не увидит...

⁸⁷ **Осеньчук** – петушок, родившийся в сентябре.

Нагло тались бабы вдосталь тихих слёз, всласть отметили первый сентябрь после победный да и побрели с Богом на плантацию добирать стареющий в осень грубый уже чай.

В школу – она была за четыре версты в центре чайного совхоза «Насакиральский» – Антон тащился без аппетита. Остро жгла плечо полная сумка яблок. Мальчик то и дело припадал отдохнуть. Сумка вконец умаяла его, и он сделал поползновение поработить Глеба, попробовав навялить её братцу.

– Не тупи!.. Буду я ещё твоё таскать! – отбоярился Глеб. – Может, ещё захочешь, чтоб я за тебя и уроки отвечал?

Антон не знал, что это за невидаль уроки, а потому не лез в разбор и раз за разом молча усаживался на обочинке на камень покрупней.

Глебу зуделось в этот первый путь хоть как-то потесней сплести братца, – он дичился всех и вся, – с одноклассниками, с кем будет в одном классе. Надо, решил про себя Глеб, идти вместе с Юркой и Вовкой. Может, ещё уговорю по дороге и кто-нибудь из них сядет с Антоном за одну парту.

Глеб набавил шагу и, догнав мальчишек, весело крикнул: – Слава доблестным первокурсникам!

Живогазый, вертоватый Юрка широко улыбнулся, так широко, что, казалось, улыбка тронула и красное родимое пятно на левом виске. Но плотный снулый молчун Вовка никак не ответил. Наверное, он дремал всё время, даже когда

шёл.

– Ребя, – продолжал Глеб, – я что хочу сказать... Вы да Антон... Только вы трое с нашего района будете в первом классе. Всем вам надо держаться кучкой.

– Давайте держаться, – спешко взял за руку Антона сонный Вовка.

– Да не обязательно за ручку, – сказал Глеб. – Просто надо быть в школе всегда вместе... Так всем вам будет лучше. Кстати, никто из вас не хотел бы сидеть за одной партой с Антоном?

И Юрка и Вовка любопытно взглянули на Антона.

Смущение толкнуло его за Глебову спину.

Юрка с Вовкой переглянулись и заулыбались.

Он тихонько вывинтил свои пальцы из Вовкиного прокладного кулачка и пискнул:

– Глеба! Давай сотдохнём!

– На каждом повороте – отдых? – засердился Глеб.

– На каждом. А то пропущенный поворот обидится...

Антон присел на обочинке.

Он уловил, что Юрке с Вовкой не терпелось побыстрее прибежать в школу. Ну и летите! Не хочу я с вами, с такими быструнами, кучковаться! Мне спешить некуда. Глеба меня не бросит, хоть я у каждого камушка отдыхай!

Юрка с Вовкой посмотрели-посмотрели на Антона, махнули разом руками и отлипли, убежали вперёд.

За свои бесконечные привалы Антон был наказан.

Когда они с Глебом вошли в улей-класс, пустых парт во-
все не осталось. Глеб загоревал. Куда же приткнуть своего
дикуна?

На камчатке, у окна, одиноко, как палец, сидел незнако-
мый пузырьрик. Глеб обрадовался его одиночеству, подбежал.

– Ты один?

– Ага.

– А вот я привёл тебе дружка.

Глеб подтащил за руку брата. Спросил незнакомыша:

– Как тебя зовут?

– Каменский.⁸⁸

– Уй! Так это ты весь знаменитый? Это ты учил всех все-
му? В книжке даже писали. На той неделе сам читал!

– Я не вмею ещё писать.

– Жаль... – Глеб скорбно вздохнул. – Не ты, так, может,
твой папанья? Он у тебя Ян? – допытывался с пристрастной
надеждой.

– Не.

– И даже не Амос?

– И даже не Авось.

– И вы даже не из Ам... Ам... Ам?.. – забуксовал Глеб.

– Мы из Плясоватки и у меня папа Костик.

– Ещё жальчей... Мы и эту горю зажуём... Хорошо... За-

⁸⁸ **Ян Амос Коменский** (28.3 1592, Южная Моравия – 15.11.1670, Амстер-
дам) – чешский педагог-гуманист, общественный деятель. В частности, усиленно
занимался разработкой идеи пансофии – обучения всех всему.

мнѐм для ясности... Так вот, – Глеб постно похлопал Антона по плечу, – это мой брат. Садитесь вместе.

– Не хочу я, – засопел Антон. – Не буду я с ним.

– Почему?

– Он чужой. Я его нипочѐм не знаю.

– Садись и дознакомишься ещѐ. Долго ли, как говорит ма, лысому причесаться?

– А зачем с чужим знакомиться? Я тебя ладно знаю. Давай с тобой вместе сидеть.

– Ха! Куда стрельнул! Поцелуй кошку в ножку! Я тебе уже не компания. Третий класс! На две головки выше тебя!

– Не задавайся. Садись, Гле-еб...

– Не хнычь. Третьяки совсем в другом классе, за стенкой... Бастуешь против Неяновича? – Жмись тогда третьим к Юрке с Вовкой. Иди.

Звонок угомонил ребячий водохлѐст, пала чопорная тишина. Все как-то сникли, будто ждали тяжкой участи.

Вошѐл учитель. Весѐлые веснушки смеялись у него на лице, на руках.

Одни ребята встали, другие всё сидели и с любопытством смотрели, зачем это забрѐл сюда дядяйка. По забывке? Здесь же одни малюки! Чего он здесь потерял?

Учитель удивлѐнно остановился у порога.

– Ребята, когда входит учитель, всем надо вставать.

Сидяки торопливо встали. В оправдание тоненький, как лучик, девчачий голосок пропищал:

– А мы не знали, что Вы, дядя, учи-тель. Вы ж нам не сказали заранее.

Учитель прошёл к столу, положил руки на края стола и пристально обвёл щемливым взглядом класс.

– Здравствуйте, ребята!

Класс вразнобой, горячо ответил.

– Садитесь.

Под чинный перестук закрывающихся на партах крышек сели. Учитель внимательно ещё раз обвёл взором класс.

– А теперь, – сказал он, – давайте знакомиться. Я ваш учи-тель. Меня зовут Сергей Данилович... Вы будете по порядку вставать и называть свою фамилию, имя, отчество. Начнём с тебя, – показал на Юрку. Юрка сидел на первой парте справа.

Юрка мигнул Вовке и Антону. Все трое разом поднялись.

– Клыков Юрий Иванович! – заученно прокричал Юра. В его крике были и боязнь забыть что-нибудь, перепутать, и стыд возможного конфуза, и та невыразимая властная сила, когда вразрыв торопятся свалить с души неподъёмный крест.

– Юрий Иванович, значит... – раздумчиво проговорил Сергей Данилович, мелко стуча калачиком указательного пальца по кривоватому столу. – А почему вы втроем сели?

– Мы тут одни с пятого района... Кругом чужие... Хотим чтоб вместюшке...

– Пожалуйста. А зачем все трое опять же встали? Я же говорил – по одному.

– Чего уж по одному? – рассмелел Юра. – Боженька любит трицу. Как все сразу встаём, не так... боязко...

– Может быть, может быть, – одобрительно покивал Сергей Данилович. – А теперь, – наклон к Вова, – представься ты.

Вова также бойко оттараторил своё, только от зубов отскакивало. За этим проснувшимся Ветерком мысленно повторял Антон, и когда подбежала его очередь, быстро, ясно сказал фамилию, сказал про имя.

– Хорошо, – подхвалил Сергей Данилович, уверенный, что мальчик остановился отдохнуть. – А дальше? Что ты ещё не назвал?

В недоумении Антоша молчал.

– Отчество, – мягко подсказал Сергей Данилович.

– От... чес... тво?... – заикаясь, переспросил Антоша.

– Да, правильно. Отчество.

Мальчик вконец смешался. Покраснел:

– А что... такое... от?..

– Отчество от слова *отец*. Как звали твоего отца?.. Имя отца?

В растерянности мальчик задумался, сгоняя морщинки на лоб, сосредоточенно глядя на учителя. Вздохнул, потом остановил выдых посреди дороги, как бы вслушался в себя. Упавше, осипло выложил:

– Н-не-е... з-зна-аю... Погиб он... Давно погиб... Я не знаю... Ни в лицо... ни так... По имени чтоб... Никак не

знаю...

Мальчик смолк, распято свесил голову на грудь.

– Ни в ли-цо, ни по и-ме-ни... – по слогам повторил Сергей Данилович, зачем-то опасно тронул скобку шрама, что глянцевито пробежал по высокому лбу. С первого курса пединститута рядовой Косаховский ушёл на фронт добровольцем. Через полгода вернулся по ранению. Прямое дело вернуться в институт, а он в школке призастрял. Некому было вести уроки. Так и присох в Насакирали. – Мда-а... Садитесь... Все трое садитесь...

Юра с Вовой сели. Но Антон продолжал оторопело стоять. Да как же это так садитесь себе? Неужели такой вот он несчастный сюсюра, что не доведается батькина имени?

Мальчика сковала злая ярость против этого, как ему показалось, безразличного повеления сесть. Раз-де не знаешь, так чего ж с тобой воду лить впустую?

Он совсем не помнил отца, но всегда думал о нём. В неожиданном разговоре об отце он поначалу устыдился, что не знал даже его имени, но скоро внутренне выкреп. Он был наслышан о всезнании, о всемогуществе учителя. Учитель должен знать! Именно сейчас дотюпал, что учитель наверняка скажет всему классу, кто его отец, скажет, каким героем погиб.

Мальчик не успел ещё обрадоваться, он только был на пути к радости узнавания всей правды об отце, в душе засветилась надежда и нá! Садитесь!

В комок обиды сжался мальчик. Всё не садясь, буркнул, наливая голос слезой:

– В-Вы... тоже н-не знаете?..

– Не знаю, – глухо ответил Сергей Данилович.

Сам учитель не знает?! Не может того быть!

Мальчик смотрел учителю прямо в глаза. Ждал. Не верил, что тот не знает. Сергей Данилович не отвёл сострадательного взгляда. Виновато, медленно покачал головой.

Первая же встреча подломила веру во всезнание учителя.

Мальчик совсем опал духом.

– Так Вы а ничегошеньки не знаете про моего отца?.. У меня брат большой... В третьем... Может, он знает что?

В больном нетерпении мальчик рывком вышел из-за парты, будто выпал, и, не спрашивая разрешения, засеменял, срываясь на бег, к двери.

В соседнем классе, куда влетел, он ожёгся о добрую сотню глаз. Старчески скрипнула дверь – ребята оторвались от тетрадей, заулыбались ему. Мальчик смешался, заробел и дальше от порога не посмел шагнуть. Поднялся на пальчики, суматошно запрыгал глазёнками по лицам. Ловил Глеба.

– Эй, канарейка в золотой короне, в ту ли дверку изволил вломиться? – в ладошки рупором гахнул в удивлённой тишине вертушок с хохолком, стоявшим на макушке опрокинутым вытертым веником.

Мельком глянул Антон на спрашивавшего с ближней парты.

Веник подмигнул, ералашно вывалил язык.

Антон не привык в таких случаях оставаться в долгу, не забыл свернуть тому уже кукиш, деликатно предъявленный к обозрению рядом с карманом брюк.

– Че-ётко он тебя посадил! – толкнул хохластого в бок сосед сзади.

По классу пробежался, разминаясь, легкий смешок.

Всё это время учительница стояла с мелом у доски, сбоку наблюдала за вошедшим. Наконец напомнила о себе:

– Молодой человек, вы к кому?

– Тольке не к вам, тётечка! – с досадой отмахнулся непрощеный гость, продолжая глазами искать братчика.

Где-то на задах встал Глеб.

– Марь Ванна, это ко мне, – сказал Глеб и вприбег подошёл к Антону. – Что ещё за номерушка?

– Там, – Антон повёл рукой в сторону своего класса, – учитель спрашивает, как звали отца... А я... а я... а я... а я... н-не з-з-зна-а...

Мальчик уронил лицо на кулачки и горько-пронзительно заплакал во весь голос.

За ужином мама блаженствовала, услужливо подливала Антону в миску с мамалыгой молока.

– Ну, як? Вкусно?

– Да есть можно...

– Ну ешь, ешь, сыночек... Цэ молочко от камолихи Мань-

ки. От комолой козы молочко козлятиной не шибает... Саме лучшее. То я всегда доила сподряд всех в одну банку. А тут, думаю, дай-ка я Манюшку отдельно сдою в литру. Антошику нашему на вечерю...

– Ма, – ересливо отдул губы Глебка, – а чего это Вы так?... Кто говорил про нас, какой палец ни ущеми, всяк болит? Вы-ы... Без обидки всем было одинаково во всём. А сегодня... Он цаца какая иль подвиг какой нечаянно увершил, что Вы его в отдельный колхоз-пуп отсадили, особнячком от нас с Митькой умасливаете молочком от безрогой?

– Да Глеб, да сынок, да нехай один разушко за всю жизнь! – взмолилась мама. – Он у нас меньчий ото всех. Первый раз сходил в школу. Праздник! Эге ж? Так нехай, хлопцы, цэ ему в подарок пойдёт!

– Если так, пускай разок сходит, – отходчиво проворчал Глеб.

Антон покосился на него важно. Ну что, выплакал, плакучка?

– Антоша, – сказала мама, – давай доедай. А в смотрелки посла наиграешься. Лучше проскажи, как там школа.

– А что школа? Стоит... Не качается...

– Хоть одну пятёрку ущипнул? Тебя уже спрашувалы?

– Спра-ашивали...

– Про шо?

– Не про что... Про кого...

– Хай по-твоему... Про кого?

– Про папку.

– А что про батька?

– Как звали.

– Ты сказал?

– Глеб сказал.

– А ты шо ж?

В коротких беглых словах Глеб пояснил, как всё свертелось. И как Антон вошёл к нему в класс на уроке, и как его искал, и как уже вдвоём пошли к Сергею Даниловичу...

Слушала мама, смотрела перед собой и ничего не видела.

– Бач, – тужила она, – бомага щэ колы була... В вивторок⁸⁹ шестнадцатого марта сорок третьего помер в Сочах от ран. В Сочах и сховали чужи люди... Нема по бомаге чоловика, а вин живэ во всех нас, живэ в Ваших именах... – Измученная улыбка шатнулась в её глазах. – Так ты, Антоша, и не знал, як тебя по батушке?.. Да откуда тебе и знать... Був не выше чёбота, из пелёнок тилько выдрался... Уходил батько на хронт рано утром, всё хотел тебя на руки взять... Шоб не застудить, сгрёб с койки вместе с одеялишком. А ты – в крик, ногами как замолотишь батька по лицу... Свое Отчество по лицу... Почему ты не хотел идти к нему? Ты же видел его в последний раз... Не простились... Ты так и не пошёл к нему на руки. Поцеловал он тебя в пятку – на миг глянула из-под одеяла, – и выпустил... Ты убежал, забился под барак наш на коротких, в локоть, столбиках и всё со слезами кричал:

⁸⁹ Вивторок – вторник.

«Айда вместех не пойдём на войну!» Думал, если ты не выйдешь к нему, он и не пойдёт на хронт?.. Ушёл... Сгиб...

Слеза воткнулась в миску и потерялась, утонула в молоке.

– Да Вы, ма, не плачьте, – сказал Глеб. – А то не поймёте, с чем у вас каша. С молоком или со слезами.

– Оно, конечно, зручней жить покойно. А не выходит. За батьковой за спиной був бы спокой... Затишок... А так... Были сами малые – малые заботы. Сами подросли – заботы подросли. Выще меня вжэ те заботы. Вжэ самый малый в школьниках казакуе... Все росли без батька. Без батька оно круто часом. У других як? Толкнул кто – бегом до батьки за защиткой. Заступится иль сам набавит – это посля. Главно, е бежать к кому. А ты вжэ не побежишь. Не до кого Вам бежать...

– А чего бегать? – подал голос молчавший всё время Митрофан. – Чего суетиться? Надо просто самому вежливо, основательно давать не сходя с места сдачу. И точка.

Драчун первой гильдии аккуратно поставил острое, заточенное и стёршееся в боях, рёбрьшко ладони на край стола.

– Той-то весь в первосентябрьских сдачах! – Мама брезгливо поморщилась на его синяк под глазом и на шишку с голубиное яйцо на лбу. – Дорвался... напекли... В школе разжился?

– Где ж ещё... Я ему тоже по-царски слил... Ничего, мам, это учебные, дорогие. На синяках отлично учатся. Новый метод! Не слыхали пока про такой? А жаль... В городе вон на

базаре за одного битого уже трёх небитых дают, да и то не берут!..

Трескотня про новый методишко напомнила маме выходку первоклашки. Она и повернись к нему.

– Антоха, сырая картоха! А ты слыхал, век живи, век учись?

– Да вот слышу...

– Век учись... Сѣдни у тебя завязался этот век. Да с оплоху... Шо ж ты за ученик? Забыл все книжки-тетрадки дома!

«Как же, забыл! Са-ам выложил... Что они пристают? Как уговорились... В школе Сергей Данилович зачем-то попросил показать ему книжки, будто их в жизнь не видел. На столе перед ним лежали точнёхонько такие, какие я дома спопкинул. Сунул нос в мою сумку с яблоками, заперезживал. Ты ж что, говорит, на всю жизнь провиантом запасся? Или голодный год почуял? Пожалуйста, ты в школу ходи учиться, а не обедать».

Так напрямую рубни и мама, было б не лучше? Знает, что не забыл. Книжки с тетрадками с вечера сама клала в сумку. Сами книжки не могли выскочить из полотнянки. Кто-то приделал им ножки. Кто кроме хозяина сумки? Всё это распрекрасно знала. Так на что рисовать вид, что все спеклось не по вине мальчика? Зачем выставлять его несчастной жертвой случая?

Антон круто покраснел. Всё ниже опускал голову, готовый пустить сырость.

Мама заметила это, бросила выражать ему соболезнования по поводу его забывчивости, а сказала легко, поддержала:

– Ну что ж. Невольный грех живёт на всех.

Однако Антоня боялся разоблачения. А вообще разоблачение желанней, чем это каторжное сочувствие.

Иначе считала Поля. Она не кинулась его отчитывать, а заговорила так, что Антон сам понял всю ненужность, всю ложь своего утреннего выбрыка. Окриком да понуждением много ухватишь? А крутни так, чтоб сам человек пережил, пропустил через сердечко сотворённую им же глупость, дотюпал наконец, что эта глупость – только глупость и ничто не большее. Это куда важней.

Признание, раскаяние вздрагивали у него на кончике языка.

Эта новая для Антона кара вовсе не грела маму. Убедившись, что ошибка осознана, осуждена самим же мальчиком, она как-то искренне-ободряюще, поддерживающе улыбнулась ему.

– Ничего. В другой раз, вот завтра, не забудешь? А?

– Неа! – со спасительной готовностью пальнул Антон.

– Ого, – поскутнел Глеб, – как крепко обещает наш Яшарастеряша. Думаете, ма, и станет по-ладному делать? Только начни жучковать... Сегодня забыл книжки. Завтра забудет выучить уроки. А там забудет и в школу пойти... И не троньте. Он один у нас такой забывчивый на весь район!

– И-и! – сердито махнула Поля на Глеба. – Чего гудишь? Чего хаешь на все лопатки парубка нашего? Не забувае той, кому забувать нечего!

Антон глубоко выдохнул, и этим выдохом, казалось, вымел из себя все беды первого школьного дня.

Не ожидал он, что за смирным словом *школа* стояли такие мўки. И всё же, одолев их, почувствовал себя на голову выше мальчика, каким был ещё вчера. Вчера у него не было никакейских заботушек. А нынъ он уже при высоком деле. Учеба!

Он в воображении выстроил в порядок пускай и маленькие на глаз взрослого свои первосентябрьские события. Все они ему нравились. Правдушка, несладко таскать полную сумку яблок. И хошь не хошь, выжми местечко для тетрадок. На яблоках не станешь же писать. Но есть и последняя переменка, когда все, выголодавшись, просят яблочка на зубок. И как жалко, что на всех не хватило сегодня...

Он весело пожмурился своим мыслям.

– Ты чего блестяшь, как намащенный блинец? – спросила мама.

– Это, – Митрофан мрачно раздул ноздри над кашей, – он готовится урадовать Вас первой двойкой.

– А вот и нет! А вот и нет! – Антон крутнулся к окну, шатнул к боку тюлевую занавеску и разлил щёку по стеклу, лупясь в темноту. Растерянность на его лице вытянулась в недоумение.

– Ты что потерял? – шутливо спросила мама.

– Месяц потерял... Вчера ещё был...

– Чего, чего? – Митрофан ядовито надставил лодочку ладони к уху. – Вчера над двором стояла чаша с молоком, а сегодня нету? Молочко выпили, а чашечку кокнули!

– А куда, ма, делся старый месяц? – огорченно спросил Антон. – Вчера он был очень пухлый, толстый, жёлтый. Он что, заболел? А без месяца так темно... Кругом звёздочки, звёздочки, звёздочки... Рассыпался горох у наших у ворот, ни лопатой не сгрести, ни метлой не смести... Звёздочки низкие, прямо пальчиками трогай...

– Чего ж мнёшься у окна? Иди и трогай! – серьёзно под-советовал Глеб.

– Ручки коротковаты! – прыснул Митрофан в ложку.

Поля осуждающе посмотрела на Митрофана, и он конец смеха проглотил, отчего и покраснел.

Антон напомнил про своё:

– Так куда, ма, старый делся месяц вчерашний?

– Старый месяц на звёзды всегда крошат, – ответила Поля тихо, как-то таинственно-властно.

Все безразговорочно поверили.

– А кто крошит? – шепнул Глеб.

Кто крошит, Поля не знала, а только крошит. Она считала, раз родился человек, на небе загорается его крошка месяца – звезда. На небе у каждого сияет-живёт своя звезда, потому как сколько на земле людей, столько на небе и звёзд. Голубое

поле часто серебром усыпано... Ещё про звёзды старые люди сказали: поверх деревьев свечи теплятся. И теплятся до поры, покуда жив человек. Звезда падает, по примете, к ветру. Это для посторонних. Но в одно время умирает человек и падает *его* звезда. Говорят, человек видит, как падает именно *его* звезда, а сказать про это он уже никому не может: увидев падение своей звезды, он с лёгким вздохом перед покоем в облегченности навсегда закрывает глаза... Говорят, видит умирающий падающую свою звезду даже днём. Вот почему умирающие уходят от нас со взглядом на окно...

Придавила жуткая, томительная тишина. Все как-то внутренне ужались, прилипли тягостными глазами к небу, к этой синей шапке в серебряных заплатках. Уже стемнело. Сидели без огня. Было видно в окно, как по небу, суля на завтра ветер, как бы бежали звёзды, эти ночные светляки; одновременно казалось, синие потолочины накрепко приколочены золотыми гвоздями; светящиеся их шляпки мирно, святочно посвечивали на одном и том же месте, вовсе не летели эти белые светляки по синему пологу...

Страх круглил, напрягал ребячьи глаза. Сдавливая в себе панику, Митрофан хорохористо вшепнул Антону в ухо:

– Не пялься в окно – никогда не отдашь чалки! Включи мозги... Намотай кой на что... А то ты слишком горячий любитель камушки считать...⁹⁰

– Больше не буду, – торопливо покаялся Антон.

⁹⁰ Камушки считать – незаметно подсматривать.

А Глебе почему-то пришло, что Маня умерла лицом к окну. Покойников он боялся и ему ли выследить, поймать такую тонкость? Но сейчас казалось, всё было именно так, лицом к окну. И разве на звезду на свою она смотрела? Не могла она видеть свою звезду: раскрытое окно прохладно, таинственно, прочнозелено завешивала яблоня. Тогда только завязалось лето. Нет, то было немного раньше, в конце весны. На яблоне едва свертелись белёдые мохнатые зелепушки.

Было воскресенье. Мама и Митрофан собирали чай. Как велось, на выходной припасались в бригаде лучшие деланки, люди раньше обычного, ещё потемну выскакивали на плантацию. Работали в воскресенье до обеда. А тут обед уже пробежал, а мамы и Мити нет да нет.

Голод ломил, гнул в крюк.

Маня с Антоном ныли напару. Антон бродил по комнате, не забывал ронять редкие слёзы. Глеб отстранённо слушал их и думал, что ж такое дать им хоть на полизушки.

Распаренная зноем яблоня устало жалась к бараку, к его тени. Оперлась ветвями на стену. Отдыхала. Нижние ветви разморенно возлежали, отдыхали даже и на подоконнике.

На правах старшего Глеб взобрался на лавку, отщипнул зелёный катышек. Попробовал и сморщился. Слёзы без спросу покатались по щекам.

Не было еды и это не еда.

А что если... Невесть почему он побрызгал из своего петушка на яблоко. Горечи в нём убавилось вроде. Захлёбисто

сжевал одно, другое... Невыносимо видеть голодному, как едят, да тебе не подносят.

– Жрун! Жрун! Жрун! – взбунтовался Антон. – Всё сам да сам! А нам?

– Вам может не подойти... Малешки ещё. Вот проверю на себе... Если хуже не станет...

– Жадобистый ты! Жаднюга!

– Я? Да слопайте хотько всю дереву! – махнул Глеб на ветки, что свисали к подоконнику. – Всю! С корнями! С листьями! С червяками! С паутиницей!

Однако и в ярости он не упустил оросить яблоко из петушка, отдал Антону. Антон съел, жмурясь, лишь половинку, другую чинным кавалериком поднёс сидевшей на койке Мане.

У Мани не было зубов. Она пососала, пососала огрызок и выплюнула.

«Не могла она от яблока от моего помереть? Не ела... А от росы на яблоке? Да мы с Антохой ели с моей росой и всемушки досе живые!» – спасительно, рассвобождённо подумалось Глебе. Полегоньку страх стал вынимать из него свои коготочки.

Так куда же смотрит человек в последний миг свой? На свою звезду?

Поля обмерла, будто впервые слышала это, хотя и слышала от самой себя. Раньше она как-то не придавала этой примете значения. А тут наплыли со всех сторон, в печальных

подробностях сгрудились лица усопших на её глазах. К ужасу, самой себе подтвердила, что умирали они лицом к свету. Маня так вот отошла, и до Мани так угасали дети её. И дед Арсений, и дед Павел, и дед Андрей тоже так прибрались ещё перед второй германской войной...

– Ма, а там, – Антон показал в окно на небо, – нету теперь папкиной звёздушки?..

– Може, нема, а може, и е... Може, там и сшибка какая похоронку накрыла... Скилько було ошибок... Живые ж люди пишут, долго ле сшибиться? Война замирилась щэ колы... В мае! А вжэ сентябрюха... А чужи батьки с хронта идуть, идуть, идуть. Чужи хлопцы бегают на дорогу встревать с хронта своих батькив. Клыки вон Юрка с Витькой привели своего домой. Катька Семисынова привела Аниса... А вы... какие-то без разницы к батьке к своему. Никто и разу не сходил на дорогу совстретить... Уроде как и рады, что повестка була. А что повестка? Оно пошли бы на дорогу из города... Как стала бы душа душу звать, глядишь, и отозвался б, скорииш наявился бы батько. Невжель для вас он уже помер? Вы что же, посмирились с той похоронкой? Подкорились той брехучке?.. Что же вы первые не ступнёте первый шаг навстречь батьке? Что же?..

Поля беззвучно, стёрто заплакала, вдавив висок в охолодалое перекрестье рамы.

Она размыто почувствовала, что упрёки её несправедливы. Зачем было ватлать, трещать в горячке, что сыны не хо-

дят встречать со станции отца? Ходила она, ходили и они...

Бывало, в воскресенье, после работы на чаю, под вечер, побежит в Махарадзе мацони какую баночку продать да на те копейки взаимовыручно взять картох ли, луку ли; мечется, мечется по базарику, словно под неё угольев махнули, во всякую минуту наводит час. Всё боится не поспеть к батумскому поезду.

А уже наваливается ночь, велики ли торги? И отдаст ту мацонию не за спасибо ли. Выгодней было б не тащить её от ребят сюда, так нет чего на хлеб. А с одного молока, как и с одного мёду, сытости не наскребёшь. Век на одном молоке не пропоёшь. Детская душа и корочку просит...

Пока утоварится, бежать край надо домой, темно уже. Сторона чужая. А ну не дай Бог какой еще хамлюга польстится на молодое, радостное тело, косы до пояса не пожалеет, примет за заблудшую какую пустёху с русской земли да и заломит где в канаве подол?

Держит она все те страхи в себе невпросто. Как-то раз присатанился один нечёсаный, страхолюдный чебурек со шкаф, бородища чёрным, патлатым снопом во всю грудь. Заорала, поди, черти повскакивали со сна у котлов в аду. Как раз машина совхозная из-за поворота вывернулась, чай на фабрику вёз Ванька Познахирин. Спасибо, Ванька и отбил от того скотиняки.

Помнит, помнит всё то она, а все равно подзабыла под момент коза тот чуть было не приключившийся грех. Ей бы

лететь в сумерках назад. Она вроде и бежит домой, только видит, ноги-ослушницы прибежали на станцию. Версту с гаком кинули крюк! Не пожалели её плеч больных, обиженных, при грузе. В чувале и кукуруза вприкуп, и картошки узлина, и пшеница, и соя, и венок луку – набежал тяжёленький мешок.

И больно косточкам, и горько, и дивносладостно. То хорошая боль, то весёлая боль, то наша боль – харчи сыночкам!

К батумскому она опоздала. Люди с поезда уже растеклись, пусто всё кругом. Она потерянно побрела под мешком из угла в угол. То в один зал вошла, то в другой, то к кассе зачем-то шатнулась, то все лавочки прошла обсмотрела. А ну где ранетый лежит ничком, не может своим путём до дому дотолкаться?

Она наткнулась на жирного милиционера. Фараон неладно так, с издёвочкой хохотнул:

ქალბატონო

– Чито,
искай?

,91

Это она-то, в поту, с лошадиным чувалом на плечах, гос-

ქალბატონო

91

(калбатонно)

– форма вежливого обращения к женщине. Буквально – госпожа, барыня.

пожа? Барыня? Она и сказать не скажет, чего тут ищет, и краснеет. Не брякнешь же, что прибежала встречать мужика с фронта. А мужик погиб два года назад.

И не было такого раза, чтоб бегала она в город, да обминула вокзал. Возвращалась всегда ночью, налетала в придорожной канаве на своих старшеньких, на Митрофана с Глебом. То вперебой, то хором докладывали, что сидят встречают её. А однажды и проговорись:

– А мы думали, ма, что Вы не одни...

Поля знала, кого парубки держали в виду. Про это не говорилось в голос.

После замирения, после Победы весь район стал выходить на дорогу целыми семьями. В прогулку не в прогулку, а собьются полной толпой перед сном и идут к станции, и у всякого надежда спеет в душе:

«А вдруг... А вдруг нечаем и совстрену своего?!»

Сначала ходили взрослые, потом это поветрие придавило и детвору. Всю площадку Аниса выводила гулять на городской большак. Именно там всем детсадовским базаром она встретила с Катькой, со своей дочкой, Аниса.

Дети поверили счастью городских походов, но Антон к ним ни ногой. Он дичился сходбищ и на встречу отца всегда тайком один пускался в мёртвый час.

Пожалуй, это было первое, что он ясно помнил в своей жизни, – как бегал встречать отца с войны.

Миновав пятый район, городская дорога змеисто вполза-

ла на гору, вилась дальше к центру совхоза. Наверное, не было дня, чтоб по ней весело не промаячил какой краснопогонник *оттуда*, с фронта. Мальчик не сомневался, что во множестве этих людей отыщет отца.

После обеда в саду укладывали спать.

Для солидной строгости Аниса надевала очки, которые обычно болтались на всякий горячий случай в связке ключей на боку. Очки ей во вред, она в них нипочём не видит. Она ссаживала их на вершинку носа, командно лупилась поверх ободков, наклонив голову, будто собиралась бодаться.

– Иха, ребятыё, кому говорено? Спи́тия на здоровью! Зараз же засыпать! Как я!

Ради наглядности она смеживала глаза, валилась снопиком на одеялишко в проходе на полу, где было прохладней. В агитации за срочный сон она, нянечка, была так убедительна, что уже через минуту и впрямь засыпала сама первая.

Тут же Антон, изображавший мертвецки спящего примерно детсадовца, ловил басовитый Анисин всхрап, на цыпочках с разбегу перепрыгивал через её широкогато разлитое мягкоперинное бедро и, старательно зажмурившись, соскакивал с низкого подоконника в нежную упругость высокой густой мохнатой травы.

Мальчик почему-то считал, что закрытые плотно глаза верное средство от всяких ушибов. Ушибов он и взаправду не наживал и не столько потому, что сигал с закрытыми глазами, сколько потому, что их, ушибов, вовсе не могло быть:

барак где жил детсад, сидел прямо на земле, окно подымалось над нею чуть выше стула. А потом ещё трава такая, похожая на горушку зелёной ваты. Откуда здесь тебе убится?

По углаженному до сверкания просёлку мальчик босиком бежал в майке, в трусах, в чём укладывали в постель, бежал на стрелку, где совхозный грейдер, вертлявый, корявый, в сухих ухабинах, как бы извиваясь в извинениях за свою нищету, боязливо втыкался в вальяжный, в тугощёкий большак, по асфальтному, по гладко-широкому телу которого смерчем прожигали чужедальные машины.

До крайности его тревожило, а ну завезут незнакомые шоферы отца куда? Вот забудь свернуть к нам и потащит дорога совсем в Баиалети, в Джумати,⁹² в Ниношвили, в Мачхварети, поведёт в дикие, в варяжские горы горские, куда чёрно лез за поворот асфальт; и оттого, выждав машину, где были и военные, мальчик спугнутым зайцем выскакивал из канавы, летел следом (именно тут, на подъёме, мятая полуторка брала новую скорость, шла медленно) и сквозь дымный чад, которым, карабкаясь с могильным воем в гору, упалённо дышала машина ему в лицо, кричал, горько показывая на совхозный просёлочный отросток:

– Дяденьки! Вам не сюда? Не в Насакиралики? Хоть одному?.. К нам?..

Люди в пилотках цвели щемливой радостью.

⁹² **Баиалети, Джумати** – селения Махарадзевского района. **Ниношвили, Мачхварети** – селения Ланчхутского района.

– Нет, малыш, мы помним дорогу к своему дому. – С борта свешивалась участливая рука с кулёчком печеньев, липких подушечек. – Подправляйся! А то ты худой, как лучик...

Гостинец не шёл к душе тем, чем обычно бывал – кусочком счастья. Подарок говорил, что и на этот раз вышла сшибка. Смятый восторг ожидаемой встречи с отцом в одночасье растворялся, пропадал. В подарке виделась подачка. Вот-де тебе конфетки, только отвяжись!

Мальчик бросал пластаться за машиной и провожал её укорным взглядом исподлобья.

*Где вы, дни мои,
Дни весенние,
Ночи летние,
Благодатные?
Где ты, жизнь моя,
Радость милая,
Пылкой юности
Заря красная?*

Вчерашние Полины слова про то, что вот они, сыны, совсем безразличны к отцу, не ходят его встречать, так обожгли Антона несправедливостью, что он и сказать ничего не нашёлся, только помрачнел, насупился и лишь наутро подобие кроткого, вязкого смирения качнулось в его глазах, когда мама раздавала задания на после школы.

На обед она домой не придёт. Работала в дальнем углу плантации, там и подхарчится насухомятину одними яблоками да с посоленным куском хлеба.

Митрофану пало бежать за три версты в Ерёмин лес за водянистыми ольхами. Сентябрь к зиме мажется, лишняя вязанка дров не помешает. Глебу напару с серпом идти за мост резать папоротник в компании скрипучей баловливой певички одноколёсной тачки. Привезти и обложить папорот-

ником стены в сарае. Всё козам уютней будет в холода.

А Антону наказ простецкий. Насбирать опадышу, сухих сучьев. В ветер сами валятся с ёлок, что насажены вдоль дорог.

Мальчик еле выждал последний урок, стремглав примчался домой. Посиневший тоскливый соевый суп есть не взялся. Живо-два переделся в приношенные, в подпрелые обноски – до него грели Митрофановы, потом Глебовы молсы – и сразу опять на ту стрелку.

И хотя возле района опадыша внавал под ногами, подбирать вовсе не горелось. Местами сучья вмыло дождями в глину, выгрязнило. Пускай с земли девчошки да старухи метут, а сова-молчун наломает чистенького сушняка на верхах!

Обирая сушенину, он белкой всплывал на самую маковку и, раскачавшись, сноровисто перемахивал на соседнее дерево. Ходебщик по верхушкам ёлок... Ёлкоход!.. Перебираясь с дерева на дерево, он долетал до крайней ёлки у городской дороги.

С гудящей, с шаткой выси то и знай пристально, ждуще глядел из-под руки в сторону города. Удивительно ясно и далеко был виден большак.

Люди в гражданке пропускались мимо внимания. Но едва обозначься на горизонте кто в военном, мальчика прошивал озноб. Он суматошно съезжал с ёлки, вприбег сносил обломьши в вязанку.

А в голове роились стада мыслей. А вдруг он мне отец? А

как я узнаю его? Я его не знаю, не помню... Так пускай он сам узнает меня!

Мальчик держался на видах. Прохожий ещё издали мог в доточности его рассмотреть. Мальчик знал, что весь просвечивался, как под рентгеном, под взглядом незнакомца и впотаях сам следил за ним. Однако человек проходил мимо. Мальчик разбито примирал...

И скольких военных встретил и проводил он щемящим, зыбким взором...

Оставалось самую малость добрать дров.

Он снова полез на ёлку.

Слипались, плотнели сумерки.

Мальчик ватно ссачивал хрусткие сучья, медленно поднимался. Он велел себе больше не смотреть на городскую дорогу, изо всех сил старался не смотреть, но скоро поймал себя на том, что безотрывно смотрит на дорогу и видит военного с крестом ремней на груди.

У мальчика радостно охнуло сердчишко. Он камнем слетел на землю и невесть почему пустился ему навстречу.

На стрелке мальчик стушевался, стал. Удобно ли идти дальше? Сомнение тут же выпало из головы: дяденька военный вывернулся из колена большака. Шагал он, рослый, сильный, широко, спешно. Он сразу заинтересовал собой, своей молодецкой выправкой. Мальчик без стеснения смотрел на него во все глаза, смотрел с изумлением и в то же время ещё вроде как с досадой.

Мужчина подошёл, остановился и улыбнулся так просто, так хорошо, будто они были отец и сын и только вот вчера вечером разошлись.

– Папку с фронта ждёшь?

Мальчик зарделся, неуверенно кивнул.

– Ты не Долговых ли будешь? И у тебя мама Поля?

– Ма-ма По-ля... – по слогам конфузливо подтвердил мальчик.

Военный сражённо отступил шаг назад, как бы собираясь получше рассмотреть мальчика.

В мальчике шевельнулась неясная надежда, кольнула в маленькое сердечко и засмеялась. Мальчику не хотелось, чтоб она пропала, он смотрел мужчине прямо в глаза, ждал ещё вопросов. Но тот странно молчал. Гладковыбритое лицо с кустоватыми морщинками на лбу враз побелело; дрогнули, скривились губы. То ли заплакать хотел, то ли улыбнуться.

– И у тебя ещё два старших брата... Митя... Глебка... Сам ты Антон.

– Откуда Вы всё знаете? – обомлел мальчик.

– Отцу положено хоть по именам знать своих сыновей...

Военный опустил на одно колено перед мальчиком, прижался к нему и поцеловал.

– Вот мы и встретились, сынок... Встретились... Ты чего такой смурый? Или не рад?

– Я весь радый... – нерешительно пробормотал мальчик, глядя в землю.

– Ну, раз радый, поцелуй для начала, что ли?..

Военный ласково потрянул его, ребячливо потянул себя за щёки в разные стороны, подставился. Лицо сделалось уморительное, потешное, как у бурундучка. Наливаясь смело-стью, мальчик со всей сердечной отдачей ткнулся холодным носом в жёсткую щёку.

– Так бы и давно! – Военный весело подхватил его на руки и твёрдо зашагал к посёлку. – Сынок, ты в школу уже бегаешь?

– Вчера первый день ходил. Я ещё поведу Вас к Сергею Даниловичу. Пускай посмотрит, какой у меня папка. А то вчера знакомился он с первоклайчиками...⁹³ Все называли себя правильно. Все знали, как их папков зовут, только я один не знал. Вы ж ушли на войну, я был совсема малюхонький.

– Всё верно. Причина уважительная.

Сколько помнил себя мальчик, он впервые оказался на руках у отца. Это было Бог весть какое счастье. С превеликим торжеством он выпрямлялся, когда накатывался кто навстречу – здесь могли быть лишь свои, из посёлка, лучше собственной ладони знали друг друга – и на всякий вопросительный взор гордевато взглядывал на отца, как бы похвалялся:

«А это мой папка! Поняли! Вот такой хороший. Вот такой сильный у меня папка!»

⁹³ **Первокла́йчик** – первоклассник.

Однако мальчика несколько смутило, что никто из встречаемых не заговорил с отцом. Ну, ладно, сам-то он был головастик, когда уходил отец. Но встречаемые все взрослые, отвечали на пятом век. Они-то уж и должны бы близко знать отца, должны бы заговорить, как это принято при встрече с человеком *оттуда*.

А может, они просто завидуют, что отец такой добрый, такой молодой, такой видный? Конечно, завидки щиплют! Пускай отца я не помню, так зато он меня распрекрасно угадал первый!

– Сынок! А теперь ты знаешь своё отчество?

– А то! Никит...т...т...т...т...

Антон забуксовал. Битый час мог тырчать, так и не выговорив своё крючковатое отчество.

– Никитич, – опало подправил отец. Он пошёл как-то медленней, тяжелей, без желания. Это сразу уловил мальчик. Забеспокоился.

– Вы устали?

Отец с усилием, раздёрганно улыбнулся:

– Хоть ножом режь.⁹⁴

– А по правде? Без смеха?

– Разве по мне видать?

– Очень даже. Устали! Устали!!

Мальчик соскользнул с рук, схватил отца за указательный палец и торопливо потащил по бугру к бараку. Важно толк-

⁹⁴ **Хоть ножом режь** – предельно устал.

нул плечишком свою дверь.

– Ма! Посмотрите, кого я привёл! Целого папку!

Поля – она чистила картошку – выронила и картошину и нож. Нож впился носом в пол, закачался между нею и вошедшими.

– С... Сер... рёга!.. Якими бедами сюда?! – часто моргая, в растерянности пробормотала Поля, занялась вытирать руки о полотенечку у печки. – Иле ты живой, иле то тень твоя?

– Живой... живой... варакушка...

Она неловко подала ему руку, и он долго, крепко её жал; они смотрели друг другу в глаза, полные слёз, и каждый стыдился этих слёз, боялся, что вот-вот прожгут наружу, а потому на миг отворачивался чуть в сторону и тут же снова неверяще, хватко всматривался в святые черты, словно проверял, в самом ли деле перед ним тот, чей голос только что прозвенел золотым колокольцем из юности.

«Что это они трясут друг дружке лапки без конца? Заело, что ли? Иль не могут для разнообразия поцеловаться?» – подумал Антон, и его недоуменный, ненастный взгляд ожёг Полю.

Краска ало мазнула её по щекам. Поля виновато выкрутила свою руку из цепких, липких горбылёвских пальцев, всполошённо засуетилась, запричитала:

– Оё!.. Да чего ж мы стоимó як малые дети?.. С дороги... Надо сготовить... Я печку зараз... Антонька, где твоя вязанка?

Мальчик покаянно плеснул руками.

– Ма! А за папкой я забыл про дрова! Набрал, у стрелки связал под первой ёлкой. А принести забыл...

Горбылёв не знал, куда себя и деть в эту тягостную минуту. Этого ещё не хватало. Из-за него остались без дров!

– Я пойду! – стараясь выпередить всех, пропаше пальнул он.

– Не-ет, – ласково возразила Поля. В её ласковости были власть, необоримая сила. – Ты гостюшка в доме, а гостюшка пленник. Як скаже хозяйка, так и будэ. Передохни с дороги... Я сама пойду. А то кто щэ хапне... Я скорушко, скорушко... А ты, Антон, сидай за уроки, делай начинай...

Поля ушла.

Мальчик достал из сумки тетради. Сел к столу.

– Чудно́ как в этой школе... – Он макнул перо в пузырёк из-под лекарств, чернила сам делал из бузины. – Заданию дали – списать крючочки на полную страницу! Зачемушки так много крючков? Я одну строчку испишу, уже буду знать... И чего мазюкать кусочки буквы? Я и так уже умею писать целую а!.. Во всех книжках её узнаЮ... – К бочоночку он усердно привесил долгий пухлый крюковатый хвостишко. – Вот и первая моя Аюшка!..

Буква явилась уродливая. Но ему она нравилась и такая.

Антон поднял на Горбылёва глаза, полные любопытства, торжества, удивления, досады, повязанные крутой обидой.

– Па! Вы Ник... – Мальчик вздохнул, набрал в себя воз-

духу. Имя отца он ещё ни разу не произнёс с ходу, ни разу не слил единым духом в одно слово. Он останавливался на серёдке. Копил силёнки. – Вы Ни...ки...та?.. Или чужой Серёга?.. Вы папка мне?

– Это выяснится чуток позже... Но сегодня... Всё зависит... от нашей мамушки...

– А от Вас совсем ничего?

– Совсем ничего...

– Не верю, – твёрдо сказал мальчик. – Зачем ма назвала Вас Серёгой? Я думал, Вы обидитесь. Не отзовётесь... А Вы отозвались. Навели вид, что ма вовсе и не оговорила, и не обшиблась... Она вот точно обшиблась! Обшиблась же! Да? Ну скажите – обшиблась!

Кто бы мог понять, что кипело сейчас в бедной солдатской душе? Горбылёв не смел поднять головы, не смел произнести всего единственное одно слово.

За дверью заухали спасительные шаги.

Вошёл Митрофан с ведром воды.

– Здравствуйте, – поклонился слегка незнакомцу.

Горбылёв благодарно кивнул. Спасибо, водоносик, отбил от смертного допроса!

Обеими руками поднял Митрофан перед собой полное ведро, напрягся так, что жилы вспухли на висках, поставил в угол на табуретину.

К Митрофану подбежал Антон. Повис на шею, жарко зашептал в ухо:

– Э! Митюха! А знаешь, кто это? Папка!

Шёпот был громкий. Растерянный Горбылёв отчётливо слышал каждое слово.

Горбылёв весь сжался. Что-то скажет Митенька? Подумай... Тогда, в Новой Криуше, этот первяк лежал у Поли на руках, и Горбылёв пытался умкнуть её вместе с сыном. Теперь этот Митенька был не по плечи ли самому Горбылёву. Горбылёв надставил ухо. Вытянулся в нитку слуха.

– Папка! Не веришь? – долбил своё Антон.

Митрофан брезгливо поморщился.

– Что ты поёшь, дядюня сарай?⁹⁵ Харе балдеть. Харе выступать не по делу.

– Чего это не по делу? Говорю тебе, папка!

– Что, донесение по говорилке⁹⁶ прибежало?

– По громкобрёху разве такое скажут? Я те говорю!

– Хо! Напугал козла капустой! Ну, бесогоник, в твоём кумполе, – калачиком указательного пальца Митрофан тукнул брата по лбу, – все шарики поплавились. Вчера на всю школу ревел – не знаю отчества! Сегодня он уже казакует при живом папаньке! Ты хоть изредка думай, что мелешь, макарка! – Митрофан зачерпнул кружку воды. – На! Напейся и не майся дурию, дурасёк ты с придурью в триллионной степени!

Антон оттолкнул кружку.

⁹⁵ Дядя сарай – разиня.

⁹⁶ Говорилка – настенный репродуктор, громкоговоритель.

– От такого слышу... Нервенная Система!

Нервная Система – прозвище Митрофана. На эту дразнилку он всякий раз вскидывается раненым зверем. Но сейчас, при постороннем, удержал себя.

– Язычок-то к щёчке прижми... Лучше культурненько своё послушай. Слышь, как гремит до сех твой пустой калган? – показал Митрофан пальцем Антону на его голову.

– Не пустей твоего... Не слышу...

Митрофан горестно закачался.

– Яман... дрянцо твоё дело. Ты вдобавку и глухой, как осиновый пень. Ну что ж, мы не гордые, для глухих можем и дважды позвонить к обедне... – Митрофан снова замахнулся, но бить раздумал. Крепко взял протестантика за плечи и, внарошке поддавая киселька, подвёл к увеличенной фотокарточке на стене в картонной оправе. – Не знаешь отца в лицо? Так вот смотри. Запоминай. Не спутай. Слева в платке ма. А это вот, в галстукe, наш папаня, хрусталик ты мой неразменный!⁹⁷

Исподлобья, воровато Горбылёв прикипел к карточке.

– Это они снялись вскоре после свадьбы, – пояснил Митрофан. – Мама говорила...

– Да, похоже... Тут она молодая-размолодая...

Разговор не вязался.

Легло молчание.

Митрофан слышал, негоже оставлять гостей без внима-

⁹⁷ Хрусталик – рубль серебром.

ния. Спросил первое, что вошло на ум:

– А вы из города?

– Оттуда.

– Вы уполномоченный по займу?

– Почему ты так решил?

– У нас подписывались на заём. Мама подписалась не на всю катушеницию. Так бригадир страхи напускал. Вот найду на тебя уполномоченного, подпишешься как миленькая!

– Гм... – глубокомысленно сказал Горбылёв. Больше сказать ему было нечего. Он подумал, повторил: – Гм... гм...

Темнели окна. Густая чернь уже затопила углы. Но мальчишки всё не зажигали каганец. А чего зажигать? Надо экономить. Голоса и без света слышать.

Горбылёв кислогато покосился на Митрофана.

Во встречном взгляде подростка было что-то такое, что не сразу понял Горбылёв, – осуждение, вражда, удивление, – и всю эту кашу чувств покрывал, как показалось гостю, разгульный, неистовый гнев.

Несколько мгновений они безотрывно смотрели друг на друга, будто взгляды их заклинило. Первым не выдержал этот поединок Горбылёв.

– Гм, – буркнул он и, теряясь под холодными, застёгнутыми взорами, машинально попятился к двери.

На крыльце он остановился в замешательстве.

«М-может, вернуться с видом как ни в чём не бывало? Потолковать ещё?.. Об чём?.. И так уже наплёл, пентюх коз-

линой! Зачем было навязливаться в отцы? Как глядеть им в глаза?...»

Он неуверенно потянулся к дверной ручке, однако взяться за неё у него не хватило духу, и он, постояв-постояв с протянутой рукой, разбито сошёл со ступенек.

Торчать колышком у дома и вовсе не рука. Не лучше ль с хозяйшккой сбегать по дрова?

По едва заметной в тугих сумерках тропке, что сливалась с бугра, ударился он догонять Полю.

– Сережа, иле ты тупотишь? – скоро обернулась она на сапожиное уханье.

– Я... Я, Поленька...

Он прикинул.

За то время, что она ушла, она могла уплясать ого-го куда, а она отскреблась от барака всего-то на воробьиный скок. Добрая догадка шевельнулась у него в груди. Верила, ждала, что нагоню! Вот я и весь тут в полной наличности!

Сергей пошёл рядом. На узкой стёжке тесно идти вдвоём. Они цеплялись руками друг за дружку, и предусмотрительный Сергей поймал ненароком её за запястье.

Она не забирала у него свою руку. Значит, не забыла, любила? Значит, всё выходило на благодатную дорогу?

Он сильнее стискивал ей пальцы. Она же растерялась, подивилась, что вот мужчина взял её за руку. Неужели она ещё та, на ком может ожить, отогреться мужской глаз?

Горбылёв заскочил ей наперёд, обнял и дрожаще потянул-

ся к её губам. В ней пропало ощущение удивления собой, она резко отвела от себя стремительно надвигающееся в темноте его лицо.

– Господь тебе навстречку, Серёжа... Отвыкла я от такого баловства...

Он снова взял её за руку.

Она свернула тяжёлую, в трещинках ладонь в желобок и, высверливая его из его руки, вывернула быстро, до неожиданности легко, так что даже сама с укором посмотрела на него, мол, а что ж слабо так держал?

Может, ему поблазнилось, что именно это прочитал у неё на лице, но не занялся, как в жаркой, в лихвой молодости испытывать судьбу, отвял с приставаниями и понуро побрёл рядом.

Ей и в самом деле было неприятно, что в грубости обошлась с ним, хотелось как-то замолить свою резкость. Она то и дело участливо, тоскующе заглядывала ему в лицо, внешне спокойное, озадаченное, и от этой спокойности помалу становилось уверенней у неё на душе.

– Как ты меня нашёл в этой Грузинии? Где прознал, шо я в Насакиралях?

– Проще простого, – отходчиво вздохнул он. – Твои письма бегают за Воронеж к старикам на хутор Собацкий?

– Ну...

– А читает кто их твоим старикам? Пишет под диктовку кто? Моя сестрица... Вот и вся разгадушка... Живёшь-то

как, Поленька?

– Живём... День да ночь и сутки прочь, так и отваливаем!

– А всё же... Как?

– По-всякому... То плохо, то погано...

– Ка-ак!? У тебя ж тут Кавказ!

– А думаешь, твой Кавказ мёдом мазанный?.. На севере было холодно, темно... А тут вечная сырая баня. Малярия...

– Чем ты занимаешься?

– На чаю курортничаю... С севера слетели вниз... Уквартировали нас в бараке на первом районе. Лет с пять там отжили – ан нас перевозют сюда, на пятый район, а посёлок на первом районе весь пошёл под тюрьму. Все бараки, где мы жили, теперь тюрьма. Мы и не подозревали, что роскоествовали в тюремных дворцах... Что тюремщики быются на том чаю, что мы, нетюремщики... Какая между нами разница? Та и разница, шо их посёлушек обнесли колючей проволокой, а наш – штaketником... А так всё остальное то же... Шо у тюремщиков за проволокой и шо у нас, по сю сторону проволоки... Одни дожди нас купают, одно солнце нас выжаривает на чаю... Чай, эта подлюка, какой же он расказпризный! Почти круглый год, зараза, не отпускае. Особенно круто летом, в сезон. День якый перестоял, уже в первый сорт негожий. Поэтому из нас тут все жилушки выдёргивают. С темна до темна сбирай той чай. Ряды тесные. В погожий день утром войдёшь – сразу по сердце мокрый. Роса! И до обеда раком на солнце парисься. Вот тебе и бесплатна

баня. А дождь посыпал – всё та же баня. Не пустяк с плантации, покуда чайнки те проклятые бачишь... Малярийные, гнилые места... А обжились... Обустроили русаки... Обживёшься, Серёж, и в аду хороше... Та шо про меня? Ты б вон чего сказал... Как в Криуше, в сенокос... Когда чуть не увёз меня...

– А, кабы без этого *чуть*... Я тут сбоку напёку... Мне б и ладно было на душе, будь у вас с Никитой всё хорошо. Говорил же я тогда тебе... Как вернулся свёкор из лагеря, надо было с Никитой бежать из Криуши куда глаза глядят.

– Ты мне такого не говорил.

– Верно. Хотел сказать, за тем и наезжал в Криушу... Да не удалось сказать. А вот во сне говорил... И не раз...

– А я и разу не слыхала...

– Уехали б сразу, как дед вернулся из лагеря... Не было б тогда ни заполярного севера, ни этой, – он потукал пяткой сапога в дорогу, – ни этой малярийной Грузинщины. И не было б этого *чуть*...

Он вслушался в сухо выпархивающие у него из-под сапог мелкие камешки и прыгающие попереди них. С устали Сергей еле волочил ноги по боку дороги, отчего зернисто-каменная мелочь весёлым веерком прыскала из-под носков, катилась и летела тенькая. Ему нравилось слушать звон камешков, оживающих у него под ногами.

– Так как ты тогда-то? – спросила она.

– А-а... т о г д а – т о... Что ж тут вспоминать? Как ви-

дишь, цел. Ну и на том спасибо доле. Раз живой, не ищи в мёртвых... Сильно мне тогда угладили криушанские холку. Вернулся в себя уже в ночи... Вот так же темень, прохолодь. Очнулся – звёзды низко. Не пойму сразу, что я, где я. Только потом доехало, что видеть мне те звёзды с белый кулак вон за какое счастье доспело... За Полюшку... Не знаю, когда б я и опомнился, не заслышь как сквозь сон ржанье лёгкое коня... Явственно чую, как ласково оевало, опахивало меня живым духом. Заламываю лицо вбок – мой запряженный буланик печально мотает головушкой. Чисто спрос тебе родительский сымает, докуда я буду вылеживаться...

– Ох... Позверели люди, забили до смертей да и покинули человека одного домирать. А скотиняка разумность, жалость имеет... Ждёт, шагу не отступнёт от хозяина. Имей руки, рази она не унесла б его домой?

– Да-а... Долго ещё надо человеку, хренову царишке природы, учиться у животных добросердечию, человеколюбию... Почернел мне без тебя белый свет. Крест я поставил на комсомольско-пионерской всегдаготовности. Вылез из комсомольской кареты да и мах в председатели. В Скрыпниково. Прямой ведь резон служить мне при земле. У меня ж диплом агронома, непотопляемый поплавок... Колхозишко достался с листок, ладонь у меня пораздольней. Дела вроде путно вязал. Вроде на свою месту набежал. В почётность вошёл. Всяк кулик на своей кочке велик... Затёрся в глушинку, до самой войны день в день отстрелял. Была мне

бронюшка. Мог в председательской норке отсидеться. В начале войны предложили в райком уже партии. Инструктором пошёл. И бронька моя со мною пошла. Но воиница такой горячей вони подпустила, что не усидел. Руки-ноги при мне, чего ж бронькой прикрываться, как фигой? Не самоволью ли сбёг на фронт... Хоть Ницше, немецкий зверюга философ, – на его идеях поднялся Гитлер, – и сказал, что «совесть – это жестокость, направленная против себя», но эта жестокость против себя всегда была по мне...

Сергей смолк.

Поле хотелось всё знать о нём, однако спрашивать не смела. Боялась, а ну примет её расспросы ещё в обидную сторону, за разведывалку, и какое-то время они молча шли в чернеющих сумерках.

Думалось-вспоминалось своё.

Она вспоминала молодые годы свои громкие. Вспоминала скрадчивые встречи с ним. Вспоминала замужество, север, жизнь в Насакирали, жизнь вязкую, отчаянную, армячную.

Лента его воспоминаний лилась без стрекота, без шума, и он уже видел себя, как шёл на фронт... А дальше закрутилось в его фантазии такое кино про себя, чего он и в жизни не видывал, и теперь с интересом для себя и смотрел, и рассказывал Поле...

... Была учёба.

Через шесть месяцев Горбылёв – стрелок-радист прорыв-

ного танкового полка.

Однажды танк, в котором был Горбылёв, проломился сквозь линию огня, зашёл врагу в хвост. Вдруг танк заглох. Водитель кинулся завести – не получается. И тут экипаж заметил, что машина горит.

Команда – покинуть.

Первый толкнулся в десантный люк водитель. Но этот люк был заклинен, выкатился в лобовой. За водителем – остальные.

Выбравшись, ребята шебутились возле, не знали, что делать, зато знали одно: находиться близко опасно. В горящем танке с секунды на секунду начнут рваться снаряды.

Горбылёв дважды жилился вытащить лобовой пулемёт и не смог.

Парни крадко поползли рожью к ближнему лесу. Покачиваясь, тяжёлые колосья бежали за ними вдогонку. По беглецам минометный спустили огонь. У горбылёвского левого сапога оторвало каблук, ногу не тронуло.

У самого леса ребята поднялись в задышливом беге, тут их и схватили.

В лагере вместе со всеми копал окопы, рвы, ставил надолбы. И за всё то куцые пайки, воды лишь на полизушки.

Раз после долгой сухой погоды ударил, воскресно обвалился дождь. Весь лагерь – только что вернулся с окопов – сыпанул во двор.

До боли широко распахнутыми ртами люди ловили белые

зыбкие стрелы капель. Да разве так напьешься? Промокнув насквозь, снимали рубахи, выжимали над собой. Ни одна водинка не пала мимо рта.

К самой проволочной ограде, в глубокую вымоину, реву-че сваливалась с воли жёлто-грязная гривастая вода. К яме пристегнули часового. Ну-ка, кто охоч выдуть сколько душеньке угодно?

И пить вроде можно, потому как часовой, похоже, не сволочара. Повернулся к яме спиной, дескать, меня пристегнули сюда, я и стой. И он стоял, вежливо посмеивался, наблюдая, как взрослые, точно маленькие дети в игре, гонялись за дождинками с открытыми ртами.

Горбылёв видел: русский паренёк с перевязанной рукой, *выпив одну рубаху*, сосредоточенно приглядывался к часовому. Уверовав, что тот *свой*, в два кошачьих прыжка очутился у омутка, занялся пить.

Часовой лениво повернулся и, продолжая светски посмеиваться, поморщился. Бог свидетель, не хотелось бы этого делать, а уж как прикажете поступить? Служба. Он безучастно выстрелил.

Мальчик уронил голову в воду.

Скоро ливень угомонился.

Наутро на месте вымоины вырыли квадратное метровое озерцо, навезли из реки воды. Только пейте!

Белый старик понёс руку с котелком к воде. Так и пристыл.

Укрываясь за убитым, ловчил зачерпнуть кряжеватый запорожский казаче. Зачерпнул лишь смерти.

За день навсегда уходило по воду около пятнадцати человек. Число убитых росло. Гитлерята входили во вкус, играли в игру *кто напьётся и будет жив* всё с большим азартом. Не видеть бы всё это!..

Под леском косили сено.

Горбылёв насадил на вилы полкопёшки, накрылся сеном, и побежала копна к берёзам.

За эту попытку к бегству его умолотили в гроб,⁹⁸ услали на третий этаж казармы, этаж смертников.

В камере он был пятый. Весь вечер, всю ночь молчал. Под утро заговорил:

– Мы можем спуститься на первый этаж... Ко всем... Смеемся со всеми, там нас не найдут. Как спуститься?.. Сейчас часовые задают храпунца. Сымай штаны, рубашки, невыразимые...⁹⁹ Вяжи верёвку.

Связали. Попробовали на крепость и мягко выбросили в оконный простор.

Вся пятерка съехала по ней.

Беглецов и не кинулись. На подходе гремели русские, лагерь спешно грузился в вагоны.

Эшелон с пленными без остановки летел на запад сутками.

⁹⁸ Умолотить в гроб – жестоко избить.

⁹⁹ Невыразимые – кальсоны.

Раз ночью поезд сильно затормозил. Стоявшие в проходах попадали. Скрежет открывающихся дверей. Крики...

Оказывается, уже в Италии эшелон направили в пропасть. Зоркий машинист не дал беде воли.

Раздумывать было некогда. Все брызнули в горы, что нависали со всех сторон мрачными, жестокими громадами. Народ рассеивался кучками.

На ночь возлегли фон баронами на горячих от солнца неохватных камнях. На рассвете пролупил Горбылёв глаза и обомлел. Вокруг ни одной собаки!

Куда идти? К кому?

Днём он отсиживался где в каменной щёлке, а ночью короткими переходами с опаской брёл. Сам не знал, куда и зачем.

Вечер так на третий его вынесло к маленькому домку.

Видит: на скамейке живальёв мужичонка. Глядел-глядел сквозь плетень, отчаялся да и подожди.

Всполохнул тот, в дом забёг и тут же вернулся. Дотумкал, ну какая ж там казнь египетская навернётся от больного да голодного?

Горбылёв был слаб, как былинка. Один ветер не качал его. Заговорил – не понимает хозяйко русского. Потыкал в рот пальцем – доехало.

Завёл в дом, прочно накормил, передел в своё, а с горбылёвской одежиной только то и сотворил, что отдал разогреться да посмеяться огню.

Стал Горбылёв потихоньку выхаживаться вечерами по двору. Стал копить духу.

Как-то уследил, ещё двое наших ползут. Андрей да Мишка. По поезду знал.

– Какими судьбами приявились?! – сияет им масляным коржиком.

– На козе верхом приехали!

И этих чуть тёпленьких приветил хозяйко, занялся отхаживать.

С неделю королевствовали русские у старчика. Он тем временем утаскивался далеко в разведку. Разузнал, где русский отряд, дал еды и проводил с Богом.

– Одно, ребята, худо, – сетовал Горбылёв. – С пустыми руками идём, как в монастырь к девкам холостым. Раздобыть бы какую пистолю не мешало.

Но случай удобный не набегал.

Шли они горными крутиками, приворачивали лишь в те местечки, куда сам хозяйко подсоветовал зайти за провиантом да спросить дальше дорогу к отряду к русскому.

Нечаем заметили: на велосипеде ехал чернорубашечник при пистолете, при двух гранатах.

– Беру фашистика под расписку, – сказал Горбылёв. – Махну не глядя.

Он притворился пьяным в лоск. Растянулся поперёк дороги лицом вниз.

Подъехал велосипедист. Остановился.

Горбылёв ца-а-п его за ноги да хлоп об асфальт. Тот и готов. А не будь готов, соколки помогли б дожать. На то и выскочили из-за камня.

Оружие сняли. Самого ездока метнули, как куль с опилками, в ущелье.

На двенадцатые сутки дотащились они до большой реки. Течением спесива, крутонравна. Так и роет, так и рвёт берега. Переплыть не переплывёшь, сунулись на мост.

А там охрана.

А ну спросят документишки? Что подавать?

Уговорились.

Если спросят, Андрей с Михаилом бросают в немцев гранаты. Если не прорвутся, Горбылёв убивает Андрея и Мишку, потом себя. Пистолет всё-таки у него.

Но всё крутнулось как нельзя лучше. Караульные даже внимания на них не положили. Да мало ль туземцев тут путается? (Наши парни были одеты во всё местное.)

Заступала ночь.

Путники постучали в дверь. Открыл хозяин. Языка не знал, а сразу ухватил, что к чему. Горбылёв потыкал пальцем в рот, свёл ладони вместе, поднёс под устало склонённую голову. Накорми, дай сначевать, мил синьор!

Синьор не против, хоть и беден, не за что рук зацепить. У него своё горе. Сын в чернорубашечниках! Прибитый на цвету фашистёнок... Научился кнуты вить да собак бить. А туда же, в гнусь. В пристяжные... Застигнет у себя дома рус-

ских – лиха не обобрать!

Потужил-потужил мужичок, вылил душу да и в сарай, где за хворостяной городушкой сыро вздыхала корова, щедро приплавил еды, закрыл на замок.

После пихнул в выбитое оконешко три пустые бутылки под малую надобность.

– Не хитро поссать в ведро, – бубенчиково шушукал, засыпая, Горбылёв. – Ты впотемну попади в бутылку! Иля он нас ставит на одну доску с той Паранькой?.. Мать всё докладала у нас дома в хуторке: «Наша Паранька на двор пайде – абы где не сядя: либо на оглобли конце, либо на дуге, на кольце».

– Нашего Горбыля все кобели не перебрешут! – пыхнул Андрей. – Бить бы бить, да бить тебя некому, а мне некогда. Застёгивай роток! Знай давай спи!

Ночь отошла без приключений.

На первом свету хозяин принес свежих харчей. Подробно рассказал, как вернее пройти к местечку Чиваго, отсюда километрах в семидесяти.

– Непременно наведайтесь к попу.

– Это ещё зачем? Что за нужда?

– Ответ получите у него.

Выяснилось, отряд держал связь с внешним миром через попа.

Поп надёжно укрыл парней, а сам на ишаке пустился в отряд. Позже свёл туда Андрея и Мишку.

Ещё неделю Горбылёв провалялся у попа. Болел. Ноги хоть собакам отдай.

До того онемели, сторели от утомления.

Долгое время Горбылёв воевал в итальянском партизанском отряде у Барбароссы. Уже потом попал в Русский ударный батальон к Переладову, к Виктору Яковлевичу, партизанская кличка Руссо.

...Перед глазами мелькали сцены боёв, налётов, отступлений, всего того, что сливалось в будни войны на земле Италии.

Вот его ранили.

Вот он в горной хижине. Выхаживала одинокая ветхая старушица. Мужа, всех её детей убили.

Налет на казарму чернорубашечников.

Засада на движущиеся по автостраде грузовики.

Уличная схватка в деревушке. Название не помнит. Зато ясно всё так видит...

В отряд пришёл крестьянин, умолял выбить из их деревнюшки палачей. На рассвете русские окружили селение. Немцы в панике удрали.

Заметил Горбылёв, как по пшенице кто-то пополз. Нагнал «убегающие колосья» – немецкий офицер. Тот отчаянно отстреливался. Наверное, расстрелял все патроны. Вскочил и побежал.

Горбылёв взял его живым. Нагнал, тукнул прикладом ав-

томата по голове. Немец потерял сознание.

Этот офицеришка зверем куражился над крестьянами. Со слезами целовали они Горбылёву руки, что не дал гаду уйти от кары...

Горбылёв шёл в темноте и видел первое *своё* немое, неklubное кино. Видел свою войну, свой Собацкий, свою криницу, свою рощу и Полю в ней, шла из Криуши... Он так прилип к *своему* кино на ходу, что даже вздрогнул от неожиданности, услышав Полин голос.

– Серёжа...

Поля осеклась.

Больше всего не выносила она молчания, когда рядом был кто. Это молчание ей острее ножа. Голос её прозвучал как-то неловко, просительно. Пожалуй, она не знала, про что сказать, но одно в её тоне было ясно: мольба не покидать её вниманием.

– Серёжа... – машинально повторил Горбылёв, без охоты отпихиваясь от своих воспоминаний. – Я, Поленька, тридцать семь лет уже Сергунёк с шальной башкой.

– Какая ни шальная, а бач, Бог миловал, вывернулась с-под пуль, – раздумчиво потянулась Поля к слову.

– Значит, судьба отстрочку подписала... Только не сунула под пулю, а остального как и всем до горла насыпала. С ве-ерхом навалила шапку, навалила да и прибила тяжёлой рукой. Утоптала. Плен... Лагерь... Чужбина... Ранения... А

и на чужбинушке партизанничал в итальянских горах. Бил немчуру до последней до поры.

– Это ж какая последняя пора? Девятый Май?

– Не-ет. Про Победу не сразу мы дознались в горах. Целую неделю всё ещё жались по ущельям, словам не верили, не кланялись. А вдруг это выманивают нас на простор, горячо желают поскорейше нас перекокать? Официальные доплескались до нас сведения уже позже...

– Шо тут деялось на той День Победы!.. Среда, середка недели. Сонце играет! С утра не на работу – в город в Махарадзе весь район на митинг! Там миру, там миру посвезли! Сколько страху и – замирились! Каждый день головы тыщами клались и на – замирились!.. Замирился-то замирились, а почтарик в ту божью среду пук извещений по домам разнёс. Там кричат... там кричат... На митинг хóроше как подгадали. Выдали семьям погибшим помощь. Мне дали два кустюмчика. Глебке да Антохе. Хорошие кустюмчики. В будень жалко во всякий след таскать. А праздников у нас нема... Аха, взяла я кустюмчики со слезами да в ларёк. Хлоп-хлоп себя по карманах... Иду не нарадуюсь на кустюмчики. Защитного цвета, с петличками. На левом рукаве синий кружок, птичка. На погонках по три палочки... Хлоп-хлоп себя по кармашках, скинула мелочину в горсть да и ували за первый во всю войнищу кулёк копеечных яблочных конфет хлопцам своим. Гулять так гулять, сказал казак и разбил последнее яйцо в борщ. Расщедрилась наша девка...

Там той куль не выше мизинца, а всё праздник. А всё хорошо. А всё и мы люди. А всё и у нас е кой-шо от Победы... Нема батька... Так е куль конфетов... Е два кустюмчика. Е ще к ним две гарни фуражки с кокардами, высоченькие фуражечки... Вот и вся ему цена вышла по усатым меркам. Задёшево сценили батька... В бою ранили... В госпитале помер от истощения. Больного не кормили?.. За то, шо був сын кулака?.. Задёшево сценили... Уроде и не человек був, а так, прозвание одно...

– Не твой первый, не твой последний отдал голову. Таких мильон мильонов... Зря ты так про цену.

– Про цину, можь, и не права Полька... Обида сосёт... Кого я знаю, все повертались. Той же Анис Семисынов. Той же Ванька Клык. Той же почтарь Федька Лещёв... Федька без одной руки. Как умываться, мылит столб на крыльце. Потом со столба намыливает здоровую руку, пустой рукав за пояс подоткнут. А всё живой. А всё мужичий дух. А всё мужиком в хате воняе. И то бабе уже подспорье, и то уже бабе защита... Повертались Алёшик Половинкин, Андрюха Уткин, Федька Солёный, Тёмка Простаков, дед Борисовский, Иван Гавриленко, Ванёк Мамонтов, Иван Шкиря, дед Скобликов... Вязников... Гринька Мироненко... Всё на мандолинке наρίζει... Квиросий Дарчия... Васильченко... Ванька Бочар без ноги вон. Пристучал на колстылях. По само некуда оттяпали. А всё одно желанник в доме. Хозяйко!.. Дашка за им как за каменной горой. Не нарадуется... Это сторон-

нему он глазу калека. А ей-то... Мой мужилка худ, без ноги, а завалюсь за него, не боюсь никого!.. А ей-то он крепость. А ей-то он остался разудалым Ванютушкой, каким в женихах царевал, с каким в молодые, в огнёвые вёсны сама цвела сладким цветком... А чем же хужей я? Чего же со мной не по чести война разочлась? Лежит в Сочах... В братской могиле... А где саме не знаю... И разу ж не була. Нуждонька всё за полу держе, не пускае... Могильным камнем со мной война разочлась?.. *Туда* героика бежал, да *оттуда* иль до рогу с-под ног скрали? Всю цену Полькиной доли впихнули в два детских кустюмчика да в слёзы в мои? Невже то и вся красна цена?..

При этих словах Поля жёстко, удушливо глянула на Сергея, будто он был сама война, потому с него и прямой спрос.

Сергей ничего не нашёлся сказать. Лишь качнул плечьми, несколько утишил шаг. Он не знал, что отвечать.

Его молчание подкольнуло её, ввело в злость.

– Какими ветрами тебя сюда прибило? – глухо бросила она.

– Неумытыми руками, Поленька, тут духом туман не раскидаешь...

Сиропная фразистость полоснула его, и он, теряясь, замолк. Он не мог понять, что снесло его на фальшь. Ложь? В чём? В любви?

Как только и надумалось такое?

Во всю жизнь он никогда и никого не любил кроме Поли.

Через всю жизнь, через всю войну шёл к ней. Пока ехал с войны, всё пытал себя, а как объяснишь, подтоптаный же- нишок, чего это ты почти двадцать лет упустишь валишься сно- ва к ней на порог?

Ответы самому себе казались картонными, кривыми и чем ближе, плотней налезал час встречи, тем страшней ста- новилось ему. Позывало вернуться назад. Но в море не по- вернёшь. Плыть в свою страну хоть так, хоть эдак надо.

И когда в Батуме подсел в летний махарадзевский ваго- нишко, по бокам наполовину поверху открытый, без стен, без окон, похожий на шатко, на скрипуче бегущую вытяну- тую веранду, один голос порывисто, непоседливо заподска- зывал непременно сойти в Натанеби, на узловой станции, где ходил московский поезд, и оттуда ехать к матери в Собац- кий.

Впереводкой другой голос ободрительно укорял:

«Толктись в тридцати верстах от своей древней присухи да обежать? Мимоездом не наведаться? Переплыть три мо- ря и утонуть на берегу? Стыдись, муже!.. Другой случай Бо- женька может позабыть подать. Лови свою тёплую удачку!.. Главню – встретить. Там что-нибудь да варакнешь. А потом по первому слову уже правься, как тот пройдоха, что гово- рил: мне абы вмазаться в драку, а там видно будет, кто кому чуприну надёргает».

Зачем он приехал?

Разговор об этом следовало бы начать самому. Но он всё

не решался. Были на то и причины. При сынах разве кинешься на шею с объяснениями?

Уже то, что она сама спросила о главном, сняло с него камень. В её тоне он уловил поощрительность, надежду, какое-то смутное обещание благополучия. Его хмельно качнуло, стало ликующе хорошо и он косым каблуком, стоптавшим неизмеримые, лютые вёрсты войны, медово притукнул:

– Куда не правишь, там не будешь... С первого свидания я не переставал думать про тебя... Даже когда были мы друг от дружечки за тыщи земель, я всё-всё-всё знал про тебя!

– Ох! Распустые слова... Иль тебя кто повещал?

– Да уж... Я тебе уже говорил... Все ваши посланьица твоим неписьмённым старикам читала Анюта, доблестная сестрица моя. Она и ответы стариков под диктовку гнала вам. Соображалистая!.. Как нанялась... Как какое изменение у вас в ту далёкую довоенную пору, тут и шепнёт мне, рот не зашьёшь. Каждый же день только и ждёшь вестоньки, что ты там, как ты там?.. Карточку вашу одну показывала... Тайком брала, тайком и подложила назад в стопку писем старикам... Так что видел я вашу карточку. То-то я с первых глаз узнал сегодня твоего меньшенького чапаёнка... Мне казалось, ты тоже думала про меня... После *той* истории с побегом поджигало написать тебе.

– Иль ты младенская ударила?

– Не закипай... Я от сплюбови... Вот стала дурь в башке колом! Понимаю, писать тебе – только рану солить. Чи-

тать не умеешь, попадёт цидуля к благоверному. Тарарам! А с другого боку... Всё мерещилось, тиранит тебя неизвестность про меня. Всё думаешь, живой я, не живой. А получишь вестушку, успокоишься...

– Ну-ну! – подстегнула Поля, уже кое о чём догадываясь.

– Не подговаривай под руку... Раз Аня нацарапала вам с Никитой курьей лапкой тарабарскую грамотку, сам архиерей не разберёт. Приобещала старикам, что сама снесёт на почту, как раз налаживалась туда бечь. Твои и оставь ей письмо... Сестрица за чем-то выскочила из хаты. Не утерпел я, раздёрнул треугольник. Поперёк, на поле, крючкова-тисто пририсовал: «А я, курилка, жив!!! С.». Что-то ещё и под Анютиной датой начеркал, уже не помню. И снова аккуратно сложил треугольничек... Я так решил. Никиток не дотумкает, кто такой там С. А ты, может, угадаешь мой подчерк, узнаешь, что я живой и заспокоишься. Мне большего праздника не подавай...

– Зас-по-ко-о-ил!.. Зас-по-ко-о-ил!.. – срезанно, с пристонном выдохнула Поля. – Из-за тэбэ, выходэ, шмыгнули мы с края севера аж в Насакирали!?

Не умея читать, Поля любила подолгу рассматривать письма. Пока Никита соберётся читать, она до буковки изучит письмо. Прочитав, Никита обычно кидал его на комод. Это же, с припиской поперёк, он кое-как отмолотил и хмуро швырнул в печку. Кажется, он-то и всё его не прочитал вслух, а так, куски кой-какие похватал...

Недели три, смутно припоминала Поля, ходил Никита как потерянный. Заговорил о переезде. Забоялся горбылёвского преследования?

– Вот и отгадка, – вслух упало подумала она. – Теперь и я знаю, чего мы очутились туточки. Выкурил нас курилка с моря на море?..

– С подлецким подмесом оказался курилка? – бормотнул Сергей.

– Шо с подмесом, то с подмесом... В полном количестве... Ума не дам...

Поля растерянно заозиралась. Она не знала, что и делать, что его и сворочать в отместку. Разругаться? Прогнать?

Но странно.

У неё не поворачивалась на то душа. Да и поправишь ли всё это сейчас? И лез ли т о г д а Сергей не в свои сани?

Может, это она не в свои санушки кинулась? Обрадовалась, что богатики поманили, как кошку, и в чужих санях вовсе выключила из головы Серёгу, выключила всё то, чем жила, чем дышала? Всё ли в этом её шаге было по правде? Может, это она сама вершила все эти долгие годы не свои дела? Не оказался ли Сергей верней неё в любви?

Не всякая любовь начинается в час венчания, не всякая любовь кончается при видимом разрыве.

На жестоком разрывном ветру его чувство возжглось ещё ярче, окрепло, уматерело. Именно сильная, непостижимая любовь удерживала его, не пускала впрямую вломиться в

прохладную, в дырявую жизнь молодых.

Всё это Поля угадывала чисто бабьим чутьём, и липкая жалость к этому страдалику одолевала её.

Ей пало на ум, что Никита был весь нараспашку. Той же открытости требовал и ото всех. Но вот почему слетел к югам, пряча следы от Горбылёва, и ни словечушка не проронил Поле об истинной причинности переезда? Он долгие годы носил обиду в себе на Полю за ту приписку, ни разу не проговорился, ушёл с той обидой на фронт, погиб с той обидой. Она представила, как в сочинском госпитале он умирает от ран, от голода, от истощения, язвенные губы в предсмертьях шепчут-хрипят: «А курилка жив!.. А курилка жив!!.. А курилка жив!!!»

– Так чего же, парубоче, добился ты той курячей припиской? Это край надо? Взarez надо? Удумал, сляпал шо!..

Тут ей вспомнился разговор с комендантом заполярной высылки, и она поняла, что Сергей вовсе ни при чём. Не Сергей, не Сергей, а во-он кто скинул нас с края на край страны...

Она повинно затихла.

«По колено я в грехе перед тобой, богоравная Поленька,» – терпко подумал он. А вслух раскаянно сказал:

– Желторотик был... С простинкой... Разве молодой дурри прикажешь? Одначе... Плюсы есть и у ошибок. Их можно подправить... Даже через время... Что бы ты ответила, намекни я, что приехал к тебе навсегда?

– Навсегда? – отстранённо переспросила она, как сквозь полусон, плохо соображая, про что же здесь речь.

– Навсегда, – подтвердел он.

Она неодобрительно покачала головой.

– То вжэ будэ стара дурь... Бедовый... В секунд всё вы-
решил...

– В секунду, если не считать двадцати наших лет.

– То-то и лихо... Года...

– А такая уж это напасть? Просто жених за это время... –
Сергей тускло припечалился, – выскочил в люди, всю раз-
богател годами...

– Женишок ловкий, слова зря шелушить нечего. Да и невеста под пару. Край как богатая. Своих трёх ухажёров уже подняла... Я на лето младше тебя, а ты ще семьёй и не жил. Я ж изжила свою жизнь до пепла. Зараз я не я, это зябкая тенька моя. А вся я в своих хлопцах... Вроде не уркаганы. Боюсь, як бы уркаганами не выросли... Прихвалюсь, хай и не к случаю... Побежишь, бывало, у школу на родителево сходбище, станет Сергей Данилович, завуч, выкликать, так примирае душа. Хвалит моих. Другие, говорит, нипочём не хотят учиться. Вон Талаквадзе... Это кассир у нас. Жинка не робэ. Он один наворовал на домяку, як контора. Так про ихних детей Сергей Данилович... При отце-матери, говорит, едут на двойках. Весь день на велосипедах гоняют. День в школе, два мимо школы. Учиться не хотят. Тянут, тянут их за уши – все уши оборвут, ель тепленькие троечки

к концу четверти вытянут с грехом пополам из тех беспутных ушей. А моих никто не тянет. Ни за руки, ни за волосы, ни за уши... Ни за что. Они и так... Митюша отличник не только по физкультуре да по пению. Круглый пятёрочник! Как начал пятёрками круглыми первый класс, так вот зараз в шестом, а каждый божий год по похвальной грамотке за каждый класс отхватывает. Глеб на учёбу жиже, крутей ученье ему даётся, так старается как!.. На собраниях Сергей Данилович гарно подхваляюе моих. Смотрите, говорит, в какой нужде-бедности быются. Отец погиб. Мать одна, без хозяина выходила трёх сыновей. А смотри, ни один не пошёл в хулиганье. Людьми будут! Ни один не курит. Учиться – передовые по школе идут, поведением отличники. Работать выйдут на чай – и тут первые. Во-он с кого примерность надо рисовать!.. Как это слушать? Я, може, заради таких слов на собрании и живу? Заради них и качаю беду-нуждоньку? Бедность производит людей из детей. Складно пока всё бежит... Вот вспомню себя в детские лета. Проучилась по чернотропу до первого снега, большъ батько не пустили в школу. А тута одна троих тяну! Хиба цэ погано?

– Что сравнивать? Ты в школу пошла когда? В шестнадцатом? Время одно было. Сейчас другое... Сравнения сравнениями, только мы в сторону заехали. Кому что, а курице просьцо... Я без подходов-переходов... Надо нам, Полюшка, прибиваться друг к дружке... к одному островку...

– Э-э, – кисло усмехнулась Поля, – ума у тебя полна сума

да ещё в горсти трошки... Стрянулся монах, когда повно в штанях. Про островок надо было думать до венца!

– А что я мог поделывать, если твои старики всё гудили меня? Мол, гол, как сокол, зато востёр, как бритва! И не хотели меня в зятя.

– Може, того и не хотели, шо ты не очень-то и разбегался?

– Поля! – с какой-то перегорелой, с отлежавшейся, с домашней отчаянностью воскликнул Сергей. – Побойся Бога! Я ли не любил? Я ли не увозил тебя?

– Надо было увозить девку. А не бабу.

– Да ну куда бы я тебя увёз?

– Всего-то за межу... Хаты ж стоять рядом! И не померла б... А зараз в пустой след чего слова кидать?

– В пустой? Что, нам по сто лет? Мне тридцать семь, тебе в октябре вот, седьмого, будет тридцать шесть. Какие наши годы?! Гуляй, как вольная утка на воде. Ещё жить, жить... До нашего вечера далече...

– Уж так и далёко? Рядом вот зараз идэмо, а одно одного не бачим.

– Я шире... Про вечер жизни... Сыны твои, все тяготы твои – отноне и мои. Наши!

– Нет, Серёжа, не толкай всё в мала кучу. Оттого, шо ты назовёшь хлопцев своими, рази станут они твоими? Они вжэ возросли, знают, помнять ридного батька.

– Да! Да! – навспех согласился Горбылёв, вспомнив разговор с ребятами. Вспомнил про уполномоченного. Вспомнил,

как Митрофан показывал меньшенькому на портрете отца. – Знаешь, мне совестно перед ними... Извини, что напрямую ломлю... Свои... Секретов нету... Когда я узнал, что Никиты не стало, наладился я... буду им отцом. Хоть стой, хоть падай... Меньшаку – я встрел его первым – с лёту папанькой представился. Вот дурёка да ещё внасыпочку. А старшойка раскокал меня. Всё поставил на свои места. Подпихнул Антонёнка к увеличенной карточке на стене, где ты с Никишей. «Во-он, – кажет пальцем, – твой законкин батенечка. А этот...» – И пропаще махнул на меня. Мол, э-э, так... Какой-то приبلудный чувяк болотный... С пинка началось знакомство...

– А ты чего послаще ждал?.. Без мене нарешил?.. Без них?.. Всё сам?.. Ридным батечком назвався. Ну кто ж делае первый шаг брехливый?

– Глупо крутнулось... Прости... Голова пустая, как кошёлка, всюду продувает... Поджалеть хотелось... Наверно, можно всё объяснить парням? Неужели не поймут?

– Гляди, и поймут. Тилько ридного батьку ты им заменишь? Можь, я тебе и нужна. Ты всё это молотишь натошачка по бабьей сладости. Да... Кто наелся, разве не отходит от стола? Не спеши с клятвами. Не спеши с божбой. Я одна тебе, гляди, и нужна. Без них.

Он посмотрел на неё особенно долгим внимательным взглядом и не увидел её ясно в плотной тьме.

– Ну почему ты всё знаешь за меня?! – на нервах подкрик-

нул он. – Дети вырастут... Выучим! Людьми станут!

– Грузчиками... Отцы приходят и уходят, а детьё остаётся... Чужи кому нужны? Писля попомнишь... Скажешь, правду Польша лила... Подумай... Мои года тебе уроды. Невеселое приданое. На шо тебе этот барыш? На шо тебе мой омут? Уж я сама буду в ём кулюкать... А ты видный собой парубец, найдэшь красуню без хвоста... Ра-адый будёшь увэсь до беспамятства...

– И тут у тебя всё расписано как по нотам! – надорванно вскозырился Сергей. – А не хватит?! На нет и ответа нет!

Он споткнулся. На спине в вещмешке жалостно звякнули консервные банки.

«Всё моё всё со мной? – деревянно подумал о вещмешке. – Хорошо, что по забывчивости не рассупонился конишка... Как чуял, овсеца не подадут... Ну... Обьелся мыла, побегу щёлоку хлебну в вокзальном буфете...»

Горбылёв вмельк покинуто прикоснулся губами к её находалой шелковистой щеке и быстро, перебоисто пошёл задом наперёд, щемливо примахивая в прощанье отяжелелой рукой.

Его фигура слилась в единый чёрный столб. Скрежеща, чиркая железными подковками об камни, столб отдалялся, быстро таял.

«Ну, Сергуха, ты и брехло-о! – ругнул себя Горбылёв. – Набросал пыли в глаза... Наплёл – в три короба не втопчешь. Ну зачем ты выхвалялся бабе, что у тебя агрономический

диплом? А она в простоте и поверь... А я ж того диплома и в глаза не видывал... Да что диплом? Кому он нужен? Вон земля Шолохов... Конечно, он родом не из нашего хутора Собацкого. Зато в нашем же уезде, в Богучаре, свалил в гимназии целых четыре класса. И – ша! На «Тихий Дон» четырёх хватило классов! Мне «Тихий Дон», слава Богу, не писать. Уже написан. Мне и трёх хуторских классов за глаза доvole. Убедился, когда переводили в райком партии. Ну... Сели мы с первым рисовать мою анкету. Он интересничает, сколько у меня мешков образованки. Я ему так горячо сунул под нос растопырку из трёх пальцев. Полнющих три класса! Он не удивился. Но зачем-то поскрёб свою лысинку и сказал: «Сойдётся! У меня тож без перебора грамотенции». И в этом я утвердился, не вставая со стулки. В нужной графке он написал: «низсшее». Я и то додул, что что-то лишняку он всадил. Ёбласть, говорю, может тормознуть. Он говорит: «Если написать неначатое низсшее, то наточняшку и вовсе не пропустит». И успокоились мы на незаконченном высшем. Со словарём написали. И бегаю я петушком с незаконченным высшим. Нигде ни у кого вопросов!.. Ну и Серёня! Ну и Серрёнчик!.. А зачем ты наплёл ей про стрелка-радиста прорывного танкового полка? Про лагерь? Про побег? Про Италию? Ты ж в Италию и во сне не заскакивал! Доробгой из Румынии с тоски сочинил про себя красивую сказоньку?.. Вонравиться разбежался... А ей всё это, как видишь, ну по сараю... Набрядла тебе крысиная... норковая житуха политрука мино-

мётной роты и агитатора при армейском фронтовом госпитале? Ты ж многостаночник... Рвался между агитатором и политруком. Оч-чень хотелось послужить дорогой Софье Вла-сьевне. И служил вперемежку то политруком, то агитатором. Сил не жалел. Всё служил... Водил политрукой... А между прочим, хлебное негорячее местечко политрука-агитато-ра, может, и спасло мне жизнь. Отсиделся в политруковско-агитаторской норке. Я был на войне. Но я не нюхал войны... Дор-рогая Софьюшка оч-чень любит свои руководящие сов-кадры. Бережёт. И я, бережённый, всю войну честно и даже горячо политрукой водил. На агитаторстве дымился... И за-чем мне было нюхать войну? Пускай нюхают другие... Ни-киток нанюхался. Где он теперь? Червячков *там* кормит... Кормить-то кормит... А местынько в сердце Полюшки так и не ослобонил...»

На чёрной дороге Поля осталась одна.

Страх связал ей душу, связал всю её. Она растерянно при-стыла на месте.

Где-то далеко, от города, машина то ли несла в ночи вы-сокую охапку весёлого света, то ли с пристоном гналась за своим огнём.

Поля стояла и смятенно думала, что же делать.

Кинуться вслед за гложущими, за умирающими звуками горбылёвских шагов или взять опадыши и идти домой раз-водить печку?

Так что же?

Что же?

Что?

*Суббота, 8 февраля 1964, —
четверг, 28 апреля 1988 года.*

Примечания

Роман «Поленька» опубликовал всероссийский литературный журнал «Подъём» в № 8 за 2016 год.

Отрывок из романа «Отчество» напечатал старейший российский журнал «Сибирские огни» (5 за 2020 год).